Это мы, Господи!

Повести и рассказы писателей-фронтовиков

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р15–501-0007

От издательства

> Не от множества войска бывает победа на войне,
> но с неба приходит сила.
> 1 Мак. 3:19

Эта книга посвящена 70-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне. Книга суровая — для взрослых, подарочное издание с замечательными иллюстрациями выдающегося книжного графика Игоря Олейникова.

Все авторы, произведения которых вошли в ее состав, — писатели-фронтовики: Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Эти имена в литературе и жизни стали символом мужества, честности, достоинства. Произведения этих писателей открывают пронзительную, неприкрытую и страшную правду, часто не совпадающую с отлакированной картинкой войны — с громкими подвигами, заседаниями в Ставке и победными маршами. Здесь — дошедшие до нас голоса солдат из окопов, их личный фронтовой опыт. Им веришь, они — свидетели суровой правды о войне, неприкрытой, многим неизвестной. Честная и бескомпромиссная позиция писателей, прошедших испытание войной, полностью соответствует призыву А. И. Солженицына: «Жить не по лжи!» Их произведения о войне, документально достоверные, точные в описании географии и времени действия, не стали публицистикой — они среди шедевров русской классической художественной литературы.

Все повести и рассказы этой книги — о человеке в бесчеловечных обстоятельствах войны, о жажде выжить, преодолеть все испытания и уцелеть, остаться в живых и победить — не только врага, но и самого себя. По свидетельству участников войны, в самые страшные фронтовые минуты солдаты вспоминали о Боге и чувствовали Его присутствие. Когда человек остается один на один со смертью, тогда даже неверующие души вспоминают своего Творца и взывают к Нему.

Даниил Гранин тоже пережил такое чувство и написал об этом в повести «Мой лейтенант», главы из которой открывают этот сборник: «Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим

новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй! Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных — Господи… помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил — Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого… Бог был здесь…»

Сокровенные переживания и личные впечатления автора, которыми он делится с нами со страниц своих произведений, вызывают у читателя рефлексию — человек переносит переживания героев со страниц книги на самого себя, происходит переосмысление своей жизни или судьбы своих близких. И об этом ярко свидетельствуют читательские письма, например о повести Даниила Гранина «Мой лейтенант»: «Читая эту книгу, я будто встретилась со своим дедом, который погиб в самом начале войны при бомбардировке эшелона, когда он еще только ехал на фронт. И вот я прочитала про это — бомбежка эшелона, идущего на фронт. В чистом поле, где негде спрятаться, неожиданно, самолетами с неба, непуганых новобранцев, у которых и оружия-то никакого еще нет… Ей-богу, это я вжималась в землю от ужаса, переставая дышать и уже заранее умирая от страха. Я встретилась со своим дедом через много лет и поняла, что он испытал в последние минуты своей жизни!..»

В повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» — начало войны, гибнут кремлевские курсанты, весь мир рушится под бомбами, и из грязи, из отчаяния, из смерти возникает первозданное чувство таинственного Замысла о человеке. Курсанты держат оборону в большой и когда-то богатой деревне, и деревенская церковь становится для них и спасительным оплотом, и ориентиром, а в повести — важной метафорой присутствия Божия. И хотя люди отверглись Бога — креста на церкви давно уже нет, но Бог, как Отец, — рядом и ждет своих заблудших сыновей, которые «избрали новых богов, оттого война у ворот» (Суд. 5: 8).

Константин Воробьев зимой 1941 года сражался на фронте в составе роты кремлевских курсантов, попал в плен. Ему было тогда 22 года. Прошел через тюрьмы и лагеря на территории Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую группу, влившуюся в литовский партизанский отряд. Повесть «Это мы, Господи!» он написал в тылу врага. Тридцать дней, не отрываясь, писал он о плене, откуда бежал. Пытки, расстрелы, каторжный труд, болезни,

голод, побеги… «Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне — от руки меча» (Иов 5: 20). Пройдя ад фашистского плена, Воробьев не скрывал своей веры, описывая обнаженное зло войны. Повесть «Это мы, Господи!» была опубликована только в начале перестройки, через десять лет после смерти автора.

Произведения писателя-фронтовика Василя Быкова вызывают горячие споры и очень глубокие размышления. Повесть «Мертвым не больно» была опубликована в белорусском журнале «Молодость» (1965) и в центральном российском журнале «Новый мир» (1966), и хотя оба раза повесть выходила с большой цензурной правкой и сокращениями, в журнале «Огонек» и других появились разгромные статьи о ней. На V съезде Союза писателей Белорусской ССР (1966) повесть подверглась резкой критике как «литературная диверсия». После первой публикации книгу не печатали по-белорусски 17 лет, в русском переводе она не выходила 23 года.

Исследователь творчества Василя Быкова журналист Сергей Шапран восстановил более двухсот правок в тексте повести «Мертвым не больно» и подготовил ее издание без купюр — на белорусском языке, спустя 50 лет после ее написания. И хотя советской цензуры давно уже нет, произведения о войне и по сей день печатаются в подцензурном варианте. Восстановление авторского текста произведений — кропотливая работа, и она все еще ждет своего часа.

Повесть Быкова «Сотников» затрагивает вечные вопросы бытия. Жизнь или смерть — третьего война не дает, — но какой ценой? Что заставляло многих делать слишком страшный выбор, становиться в иной лагерь борьбы? Можно ли быть уверенным, что в схожей ситуации сам не поступил бы еще хуже, не пал бы еще ниже? На многие вопросы действительно трудно ответить, и остается надеяться, что выбор между жизнью и честью нам делать не придется. Повесть «Сотников», несущая свет Евангельской истины, вызвала культурный резонанс: по ее мотивам режиссер Лариса Шепитько сняла художественный фильм «Восхождение» (1976). Сценарист Юрий Клепиков писал после прочтения повести: «Обжигающе философская притча, которая сталкивает высокое духовное начало человека с его понятным стремлением сохранить тело как вместилище духа». Фильм сразу попал под запрет, хотя история о том, как один предает другого, стара как мир.

В эту книгу вошла также повесть Александра Солженицына «Адлиг Швенкиттен». Русский поэт, публицист, искусствовед Юрий Кублановский высоко оценил это произведение: «Маленькая повесть „Адлиг Швенкиттен“ — о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го — настоящий шедевр позднего Солженицына… Бессмысленное, стратегически не мотивированное выдвижение бригады в прусскую

ночь, когда штабные отключили от себя связь, расслабившись за горячим ужином, бессмысленная гибель множества лучших солдат и офицеров, сформировавшихся именно в годы войны во всей своей внутренней мужественной самостоятельности, — таков сюжет повести. Но у нее — мнится — гораздо большая глубина. И она — в ощущении обреченности лучшего перед худшим. Чистое проигрывает нечистому, сильное проигрывает корыстному, крупное — мелкому, храброе — опасливому».

Двадцать лет назад, к 50-летию Победы, Александр Солженицын рассказывал в интервью на телевидении: «День Победы в сорок пятом году я, свежевырванный с фронта, арестованный офицер, встречал в тюрьме, в тюрьме Большая Лубянка. И сквозь тюремные решетки наблюдал московский салют Победы. Было гордостно, радостно и горько. Горько — потому что я понимал уже тогда, чего стоила нам эта война.

…Война ведь по-разному видится в истории: для участников и современников — и отдалясь. Нынешнему поколению невозможно себе представить, как не неделями, не месяцами, — четыре года подряд армия шла по минным полям, под пулеметным обстрелом, на колючую проволоку, под бомбежкой сверху, под артиллерийскими и минными разрывами, через переправы, пожары, на плацдармы, и удерживала эти плацдармы. Этого — представить нельзя». В 1952 году в Экибастузском лагере Александр Солженицын написал стихотворение:

Да когда ж я так допуста, дочиста
Все развеял из зерен благих?
Ведь провел же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились — постижными,
Жребий жизни — податлив как воск.
Кровь бурлила — и каждый выполоск
Иноцветно сверкал впереди, —
И без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещен ее каждый излом —
Смысла Вышнего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь возвращенною мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной…

Жизненный путь писателя «между быти и небыти» — это в том числе и война, когда Бог особенно близко: «Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня» (Пс. 17: 40).

Сборник завершает рассказ Виктора Астафьева «Мелодия Чайковского» — одно из последних произведений писателя. Молодой солдат-телефонист доведен до полного физического и морального истощения и отчаяния. «„Кто украл мое детство? Кто съел мою юность? Кто гробит и гложет мою молодость?“ — захлебываясь слезами, спрашиваю я, неведомо к кому обращаясь». Финал рассказа Астафьева — «про воскресение, про другой, прекрасный мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей, над всеми нами, все вытерпевшими и перестрадавшими».

Александр Солженицын говорил: «Наша Церковь постановила, что навеки день Девятого мая будет днем скорби, днем Памяти погибших за веру и Отечество. Как это правильно, и как это наконец нужно!» А Виктор Астафьев написал в одном из писем: «Я в День Победы пойду в церковь — молиться за убиенных и погубленных во время войны. И Вам советую сделать то же».

Эта книга — о войне. Она — для тех, кто помнит, и тех, кто не хочет забыть. О войне такой, какая она была на самом деле. Книга настолько правдивая, жесткая и пронзительная, что не стоит больше ничего говорить. Ее надо просто читать, чтобы узнать, а как же все это было на самом деле. И не забывать.

Даниил Гранин
(род. 1919)

Мой лейтенант
(Главы из повести)

— Вы пишете про себя?

— Что вы, этого человека уже давно нет.

Первая бомбежка

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтораста от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит — есть секундная передышка. Чтобы отереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в

Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: «Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу Тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй!» Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных: «Господи… помилуй!..» В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил: «Господи, защити меня, молю Тебя, ради всего святого…» От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек…

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

…Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.

Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг

обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог — ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка…

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец, мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы, ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней, против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «окружили!» — и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику.

Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае, изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

...Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

Жара

В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета, с земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шпарил еще треск пулеметов, пули взвизгивали о металл, дырявили землю, я молился, обещал Боженьке верить в Него, всегда и везде, ничего другого я не имел и протягивал Ему свой жалкий дар.

Не стоит осуждать меня, я ничего постыдного не совершил, но в моей жизни эти минуты запомнились презрением к себе, я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня.

Тогда, на станции Батецкой, вся моя двадцатилетняя жизнь стала вдруг небывшей, от нее осталось лишь то, что не состоялось, неосуществленность.

А я думал, что воевать будет легко. В Летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти, кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная, ничего не успел, а меня уже превратили в ничтожество, ничего не осталось, никаких иллюзий, мечтаний, планов, все сгорело. И мое самомнение… Передо мной всегда будет смрад моей трусости. Война воняет мочой.

— Вста-а-ать!..

Меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии.

Губы мои дрожали, по грязному лицу текли слезы.

— Ну что? Живем? — сказал Подрезов.

И оттого, что он сказал это дружески, участливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве: я весь сотрясался, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал.

— Молчать! — крикнул ротный и со всего размаха влепил мне затрещину.

— Товарищ командир! — Подрезов покачал головой.

— Что с ними делать? Что? — закричал Авдеев. — Возись, твою мать! Дерьмо и сопли! На что мне такие? — Он закрыл глаза, задышал глубоко.

Подрезов, высокий, костлявый, приобнял меня, заговорил глухим мерным голосом:

— Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался, тоже ведь впервые.

Обыкновенные слова, запах свежей гимнастерки и свежей кожаной портупеи успокаивали.

— Вы на ротного не обижайтесь. У него четверых убило. Ему роту собирать надо.

Небо, украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно неповрежденное небо. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи, но летний полдень возвращался к своим делам. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать, привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяется, будто ничего не случилось, как женщина — губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день — он обновился, и в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же:

— Ой, возьмите меня! Возьмите меня!

Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним, не отпуская.

— Я не трус, вот увидите.

Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева. Первое, что я получил на войне… Где наши самолеты? Хоть бы один! Шинельная

скатка, вещмешок, ремень брезентовый — все перекрутилось, рубаха вылезла, счастье, что я себя не видел, никогда бы не мог забыть это жалкое зрелище. И как я тащился за Подрезовым, лепеча свои оправдания.

Дойдя до машины, Подрезов остановился, его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня, они требовали ответа — откуда немец знал о прибытии эшелона, ведь знал, знал минута в минуту!

— Следили, может, по воздуху, — сказал Подрезов.

— Предатели — вот откуда! Ясное дело. Шпионы... Сколько перестреляли, все мало.

Никто не сомневался: враги народа, измена — понятия известные, ярость повернулась и на органы, — говнюки, каратели, сажали, казнили, а что толку? Не тех стреляли.

— Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят! — По имени-отчеству было привычнее.

На заводе все знали его историю: как посадили в тридцать седьмом, как хлопотали за него, председателя завкома, настойчиво, не считаясь с запретами, и добились — его освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то ли желая доказать (кому? что? — в те дни это понимали), то ли полагая, что в ополчении он нужнее, дивизии-то фактически еще не было, был порыв, гнев, желание проучить немца.

Ему они могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, а на деле все — брехня!

Отмолчав, Подрезов спросил:

— Будем шпионов искать или будем воевать?

Предательства не отрицал — да, врали, да, обманывали.

— Ничего, разберемся. Сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков, надо драться тем, что есть, — кулаками, зубами, выхода нет. Одолеем, если не оробеем.

Он медленно прошелся взглядом по лицам.

— Другие предложения есть?.. Нет. Вот то-то и оно.

Сел в машину и уехал.

Убитых оказалось немного. Хоронили в братской могиле. По-быстрому — один ров на всех. Туда же — двух железнодорожников. Воткнули жердину, прибили к ней доску. Писать поручили мне.

«Пали в боях за Родину. 1941. Июль. 1 ДНО», и фамилии.

Каких боях, думал я, слюнявя химический карандаш.

В могилу положили чью-то ногу. Оторванную ногу нашли на платформе. Говорили, что это Христофорова, плановика из мартена, его самого не нашли.

Весь день шли проселками сквозь густую желтую пыль. Командиры подгоняли, не говорили, куда идем. Вокруг расстилались

поля клевера, серебрился овес. Травы зрели, окутанные сладкопахучей жарой, лениво шевелились.

Рядом со мной Витя Трубников, инженер из транспортного. Захлебываясь, повторял, как рухнула на него железная крыша. Черничные глазки его безумно блестели. Снова показывал вещмешок, пробитый осколком.

Привала не было. Гимнастерка липла, мокрая от пота. Я задыхался. Скатка тяжелела. Пить не позволяли. Стали выбрасывать противогазы. Оставляли только брезентовые сумки. После полудня я выбросил пухлый свитер. В мешке у меня лежали пачка сахара, банки консервов, торбочка с лекарствами, собранная матерью, бритва, нож, кружка, мыло, трусы, фляга, носки, две книги стихов… С каждым часом это имущество тянуло сильнее к земле.

Ночи настоящей не было, она не принесла прохлады. Наутро стало еще жарче. Трубников вышел из строя, повалился на откос, стащил ботинок, нога была растерта до крови. Я высмотрел подорожник, облепил Трубникову пятку. К нам подсел Новосильцев, журналист многотиражки, перемотать портянки. Никак у него не получалось. Я обмотал ему одну, а потом вторую ногу, чтоб без морщинок, разглаживал пятки, подошву, как когда-то делал мне отец.

— Ловко ты, — сказал Новосильцев, — точно чулок. Вот чему надо было учить, а то — все на политчас! Мудаки! Господи, всему верили.

Колонна растягивалась, ползла, оставляя за собой длинный хвост пыли. Ничего не стоило расстрелять ее сверху.

Адова жарища никак не походила на обычное наше северное лето. Погода и та ополчилась на нас. Чтобы прилечь на песчаную обочину, приходилось расстилать шинель, так все раскалилось… Пыль и та была горячей. Она забивалась в нас, мы выплевывали ее длинным, горьким плевком.

Ротный подбадривал: молодые должны пример показывать, запели бы походную, что-нибудь боевое. Вдруг Трубников запел, тоненько, с вызовом:

День-ночь, день-ночь мы идем по Африке,
День-ночь, день-ночь все по той же Африке.
И только пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.

— Что за песня? — спросил Авдеев. — Такой не знаю.

— Это Киплинг, — сказал я.

Про Киплинга Авдеев не слыхал, Новосильцев охотно пояснил: певец английского империализма.

— При чем тут империализм? — сказал я. — Ты «Маугли» читал?

— Чего там дальше? Давай пой, — сказал ротный.

Дальше Трубников не помнил, а я, удивляясь своей памяти, стал читать хрипло, запершенным голосом:

Я шел сквозь ад шесть недель. И я клянусь:
Там нет ни тьмы, ни жаровен, ни чертей,
Но только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.

Когда ж это было, полвека назад, думалось мне, и ничего не изменилось, та же пыль, та же солдатчина.

— Отдыха нет, это верно, — сказал Авдеев, — война у всех одинакова.

Значит, и Авдеев думал о том же.

Когда Авдеев ушел вперед, Новосильцев сказал Трубникову, что английский империализм тоже воюет, и, между прочим, против немцев.

— Может, ты объяснишь такой поворот? — спросил он у меня.

Мой друг, можешь ты меня не ждать...
— отвечал я в такт своим шагам. —
Я забыл здесь, как зовут родную мать.
Здесь только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.

Деревня называлась Самокража. Странное это название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей, командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась, рыли ее так и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти.

Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало, ротный заставлял копать хоть ложками. Новосильцев смотался в деревню, принес несколько больших лопат. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса, откуда силы брались?! Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь.

К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курево, выменивали на водку остатки своего оружия. Солдат, у которого я за махру сторговал семизарядную винтовку, сунул мои три желтенькие пачки в сумку, набитую морковкой, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. Тут же бесцеремонно заглянул мне в вещмешок, цапнул оттуда синюю жестянку, открыл, расхохотался: зубной порошок! Я покраснел, вспомнив свою привычку чистить утром зубы. В отместку я принялся с ехидцей спрашивать, как они, кадровые, драпали, — от самой границы? Оказывается, красноармеец и немцев по-настоящему не видел. Вояки! Слушая его, я исполнился пренебрежением к его кадровой бригаде, ныне скорее похожей на

толпу беженцев, кожаные свои ремни и те они сменили на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик.

Солдат закрутил махру в длинную цигарку, поджег, блаженно затянулся и пояснил по-отечески, что невозможно воевать без отступа, — соображение, которое не приходило мне в голову. «Ни шагу назад» — только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя, бежать — он догонит, он на машинах, с ним маневр необходим, в маневре надо где зацепиться, где в сторонке схорониться, можно и поспешать, только чтобы своих не терять.

— Оружие мы не побросали, видишь, вашего брата обеспечили…

Ополченцы обзавелись гранатами, выменяли пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог.

Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают? «На переформирование, убыль большая». Выходит, теперь весь удар примет на себя ополчение.

Вечером ротный ходил по взводам, повторяя, что вся надежда на нас, впереди никого. Я не преминул спросить: как так? «Красная армия всех сильней», так пусть же Красная сжимает властно свой штык…

— Спеть все можно, — сказал Авдеев, — кончай подъелдыкивать.

Сам ротный приобрел пистолет, кое у кого появились автоматы и даже один превосходный бинокль, который был реквизирован для командира полка.

Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала, как будто что-то катилось со всех мест, весь горизонт, вся впереди лежащая даль скрежетала, ухая и рыча, приближалась к ротным порядкам. Там, впереди, еще золотились ржаные поля, стояла роща, скользили тени облаков…

Невидимое сражение близилось, это была война, которую я еще не видел, беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться.

Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали взахлеб пулеметным огнем, загибали все круче, в сторону, не обращая внимания на авдеевскую роту.

«Обходят!» — этот крик покатился по окопам. Я, не целясь, выстрелил. Кто первый побежал — неизвестно, я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона: оказывается, там тянулся неглубокий ров, превращенный в окопы.

Мы пробежали почти километр. Ротный пытался остановить нас, матерился, размахивал гранатой. Заставил вынести два станковых пулемета, главное стрелковое имущество роты. Один

пулемет тащил на себе Виктор. Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогло мне, так это то, что так вели себя кругом другие: бежал я вместе со всеми, как и другие, не поднимая головы при бомбежке.

Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: «Под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее приготовленные позиции». От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле, мчался, словно по пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся, смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного за другим. Помнится, передо мной появился начштаба батальона, схватил кого-то за гимнастерку, боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом, и кто-то другой толкнул меня так, что я свалился.

К вечеру выяснилось, что три немецких броневика удалось подорвать, оказывается, третья рота остановила немца, там завязался настоящий бой. Но потом затрещали автоматчики, слух об окружении заставил роту отступить. Отходили, отстреливаясь, у них были ручные пулеметы, а главное, с ними был командир полка майор Семибратов.

Разведчик

В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.

Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.

Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянная затея, но подначил, и мы с ним зашагали в хвосте колонны. Бескончин послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы следуем за ними… Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швырял. Вперед и по бокам. Немцы никак не разберутся. Суета началась. Раздалась команда. Побросали они свои пулеметы, рацию — и бегом. Мы все это в кучу, подожгли. Вернулись, Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он пожалел Чернякова, стал темнить. Мол, сообщил

комбату так: «Смотря по обстоятельствам, можешь, поддержи, не можешь — отходи». Чтоб его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, все же они с одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя, говорит, давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет — поговорили. Устыдил ты его?

А как же, морду набил, искровянил всего так, чтобы закаялся.

Жаль, что мы не видели.

При вас, говорит, нельзя, все же командир он, не положено.

Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.

В упор

Полк отходил. Вообще-то приказано было уйти из деревни на рассвете. В суматохе замешкались, покидали уже под обстрелом. Я тащил на телегу ящик с патронами, когда меня остановил старшина из штаба, приказал бежать на КП первой роты. Связь прервалась, пусть отходят за церковь. А патроны? Хрен с ними, и за винтовкой не успел сбегать, она в телеге осталась, сунул мне свой автомат, толкнул в спину. Я помчался.

Вход в землянку загораживали двое, они смотрели туда, внутрь. Что-то тормознуло меня, я не сразу понял, много позже сообразил, что это было что-то непривычное. Их задницы, обтянутые не нашими синими галифе, и не защитный цвет наших брюк, то было СИЗОЕ! Никогда еще мысль не работала так быстро, это была даже не работа, это вспыхнуло одновременно с мгновенным движением руки к затвору и нажатием крючка. Автомат затрясся, очередь веером в обе задницы, я жал, не отпуская, шел сплошной поток свинца. Глаз заметил всплески крови, самое начало, вскрик, но это вдогонку. Очередь захлебнулась, я уже несся назад, сквозь горящую деревню по единственной ее прямой улице, перепрыгнул через раненую лошадь, она лежала, дергая ногами, что-то попалось еще на дороге. Снаряд ударил в белую церковную колокольню, кирпично-красное облачко — все это всплывало потом, много позже. Я мчался и мчался, гонимый ужасом.

Я догнал своих далеко за деревней. Прислонился к дереву. Стало тошнить. Вывернуло наизнанку, был весь в поту, меня трясло и трясло, никак не мог унять дрожь. Кое-как добрался до старшины, доложил про немцев. То, что они там, ничего другого у меня не получалось.

— На машинах? — спросил старшина.

Он не замечал, что со мной, повел к ротному. Меня стали спрашивать, с какой стороны двигались в деревню немцы, на чем,

сколько их. Что-то я бормотал, добиться от меня ничего не могли. Про тех двоих, то, что там было, я ни слова не сказал. Я никому не признался, старался не вспоминать. Почему?

На нашем фронте главной обязанностью было убивать. У нас работали снайперы, и у немцев они работали. Мы знали их время обеда, завтрака и палили туда из минометов и прочего оружия. В оптический прицел иногда попадало лицо немца. Он не знал, что угодил в перекрестье и сейчас в него полетит пуля. Однажды я увидел старого немца с бородой. Не положенной ни у них, ни у нас. Я не стал стрелять в него. Мы иногда толком не знали, попали или нет, убили, ранили, промахнулись. Немец исчезал в окопе, примерно как в тире падают фигурки. Крики к нам почти не доносились. Однако происходило знакомство. Мы узнавали — они перешли на зимнюю форму, они поют песни — чего-то они празднуют. Бывало, ветер приносил запах жареного мяса. Мы знали, куда они ходят за водой. Летом они нахально вешали сушиться над окопами выстиранные трусы и подштанники…

— Вам пришлось стрелять в немцев в упор?

— Вы убивали на войне, так — лицом к лицу?

— Были у вас рукопашные схватки?

Всем хотелось про ту войну, которую показывали в кино, как она на самом деле. За все послевоенные годы я ни разу не рассказал об этой сцене в деревне Петровке, кажется, так она звалась. Не вникал. Откуда был тот ужас? Ведь я воевал уже два месяца. Стрелял много, след был на плече, из пулемета и миномета стрелял. Рассказывал об этом преспокойно, не отказывался, на то и война, чтобы стрелять. И в Германии, на встречах с немцами, не отказывался.

Первые послевоенные годы мне снилось, как я бегу, белая церковь под синим, свистящим от пуль небом, и бегу, бегу. Снился ужас, два зада, мягкий толчок, с каким входили в мясо пули… Просыпался в поту. Мои танки уже не снились. Потом и этот ужас перестал сниться.

Константин Воробьев
(1919–1975)

Убиты под Москвой

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые,
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт.

В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо — гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкерсы». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана — четкой и торжественно-напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полегшим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеком, потому что каждый — еще в ту, мирную, пору — ходил в увольнительную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт. Он

рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов…

Снег пошел в полдень — легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота — тоже как по команде — принялась добивать на ходу остатки галет — личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал «Отставить!» в тот момент, когда двести сорок ртов уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

— Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса — пять скирдов, — и из угла крайнего и ближнего к роте на волю крадучись пробивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, устланных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

— Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распущенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стек, нарочито заметным движением пальцев расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде.

— Товарищ майор, там…

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло немного времени. Из дыры выпрыгнул человек в коротком полом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат — рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку, — наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

— Отставить! — угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. — Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции — «прячут удостоверения» — и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду у курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило бы и поставило его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка:

— Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

— Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! — указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

— А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?!

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком…

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький, измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

— Двести сорок человек? И все одного роста? — спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

— Рост сто восемьдесят три, — сказал капитан.

— Черт возьми! Вооружение?

— Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

— У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью.

Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

— Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? — тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, зажмурился и почти закричал:

— Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Кособрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг — в бескрайние, чуть заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве, так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

— Ну что у вас? — недовольно сказал капитан.

— Разрешите обратиться… Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась

тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

— Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

— Окоп отрыть к шести ноль-ноль! — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы — прямой, высокий и в талии, как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал: — Лейтенант!

Алексей подбежал.

— Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы — от хрена с соской до лопат и кирок, — и горючая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

— Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого — утомительный поход, самолеты, — все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило, — он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось: пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве… Это было, конечно, правдой, потому что… потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, — об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей — воспитанник Красной армии — знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны. Душа и сердце были заняты давно для него привычным, нужным и очень дорогим…

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище, — снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал…»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами. «Правление колхоза „Рассвет“». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

— Это на левом фланге, — вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: — А ваш правый, товарищ лейтенант…

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуемное, притаившееся счастье — радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти и идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели — «как наш капитан!» — радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине,

но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатом и длинном, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве — неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и нескольких курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

— Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному, — старшина тоже, — и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

— Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей, — когда-то тут был сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку судака в томатном соусе.

— И пуля попэ-эрла по каналу ствола! — остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах. — Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

— Ясно, — солидно отозвался Гуляев. — Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

— При отступлении тоже?

— Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще — солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

— Самолеты! — сказал Гуляев. — Видишь? На четыре пальца правее леса гляди… Ну?

— Это галки там, — не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба.

Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

— Заходят на нас! — почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

— Пошли по взводам? — спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым.

Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

— На Клин пошли…

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

— Ну, я пойду к себе, Сашк.

— Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: деревню населяли молчаливые женщины да дети и нужно было попрятать их в убежища. Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальные взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш — все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно-мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

— Товарищ лейтенант! Видите? — тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. — Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал

своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки.

— Это наши, славяне! — разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него: откуда это они так?

На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного — не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было срыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

— Разрешите помочь, товарищ капитан! — сказал Алексей.

Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

— Ногами работай, друг! Ногами! — посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

— Он ранен?

— Нет, — сквозь зубы сказал капитан.

— А что же?

— Ну… не может… Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды они торопливо построились на краю рва и остались стоять

там, переговариваясь полушепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его, — решил Алексей, — мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски!..» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

— Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

— Мы вышли из окружения! — озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров. — И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

— Почему вы сюда... Где фронт? — торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

— А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? — не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом.

Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

— Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

— Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! — тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». — Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его

глазах полностью и совершенно — в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом… Не сходя с места, Алексей, крикнул через плечо:

— Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану!

— Сам пойдешь! — сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам.

Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

— Предъявите ваши документы!

— Я попрошу не здесь, — увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

— Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться… Ваше место во взводе, лейтенант!

4

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

— Всех в обход! — сказал капитан. — В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи — в погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

— Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене… Кстати, что вам говорил о фронте… красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

— Курсанты все слышали?

— Все, — сказал Алексей. — Генерал-майор…

— Хорошо, — перебил капитан. — Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец… Контуженый. Установил это я сам. Понимаешь?

— Я все понял, — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

— Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, — неожиданно и просто сказал капитан. — Кажется, на нашем направлении прорван фронт…

И все тем же, немного не своим и немного не военным тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему — он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексею и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса, мимо деревни прошли два батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и, когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно…

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, — тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все

пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы — украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

— Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

— Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-ахх! — И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, — наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке — один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

— Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер-пер по этой вашей канаве, а тут гляжу — маковка церковная...

Он выглядел за сорок — возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним — до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

— Прикроешь шапкой — и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

— Перевязать надо, — морщась, сказал Алексей. — Чем это вас?

— Осколком. Как перепел: фрр — и ни его, ни уха. Даже не почуял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

— У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

— Этого не знаю, брат, — ответил боец. — С начальством я знаком мало. А что?

— Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут, — баском сказал кто-то из курсантов.

— Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается, — назидательно рассудил боец. — Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха…

— Он в красноармейской пилотке… и в шинели без петлиц, — опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

— Да ну? — бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: — Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит… Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь… А он вроде того мужика — воз под горой лежит, зато вожжи в руках…

— Ну, вот что, нечего тут, — растерянно сказал Алексей. — Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

— Тут горе вот какое, товарищ командир, — виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. — Ведь танку в лоб не проймешь такой пол-литрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе… Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты… Что делать-то будем, а?

— Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении, — строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

— А может, мне у вас остаться? — спросил боец. — Ухо мое и без докторов присохнет.

— Давайте в госпиталь! — повторил Алексей. — У нас вам оставаться нельзя. Мы… — И не сказал, что хотел.

Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

— Ну что ж… Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! — стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В девятом часу к четвертому взводу — тоже, видать, на церковную маковку — от леса петляючи и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, — броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал — безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому...»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить — раз по одному броневику, раз — по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

— Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? — У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

— Сейчас нам капитан не так за это врежет, — сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. — Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

— Ну и черт с ними! Пускай знают!

— Что «знают»? — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

— А все! — вызывающе сказал помкомвзвода. — Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

— Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов — тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее,

когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

— Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило — сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

— Задымил один, товарищ политрук...

— Ага! Вы их бронебойно-зажигательными?

— Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.

— Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки — деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному — то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо, — далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать, — обиженно подумал Алексей, — а это „значение“ до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколеблемо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чохом образовались еще два дегтярных пятна.

— Это шрапнель? — спросил Алексей.

Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же,

еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все — мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно-властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа — над ними близко взвыло, — Анисимов торопливо сказал:

— Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки. Покорежит ведь.

То было первое боевое распоряжение Алексея, и, хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов — испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растерянно-смущенно, одними углами губ — точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром, — до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал — а может, только хотел того, — что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается

что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой не слыханным голосом Алексей пропел:

— Взво-о-од! Поодиночке-е…

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным — резким и испуганно-злым — Алексей крикнул: «Отставить!» — и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только… Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я… трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда…»

Впереди увязающе-глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик:

— Я-астре-ебо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и, когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

— Отре-ежь… Ну, пожалуйста, отре-ежь… — Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову.

Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели: они всегда мешают ползти… Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова — на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого… «Это, они…» — понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отводя глаза:

— Подожди тут! Подожди тут. Я сейчас…

Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

— Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками, и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод — «они сами ушли… по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то» — «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки — «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

— По местам! Бегом! — отчужденно и властно крикнул он. — И без моего приказа ни шагу.

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду…

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых — все в спину — оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

— Дойти до КП могут? Где они? — спросил наконец Алексей.

— В коровнике. Лежачий только один. Воронков.

— Его надо отнести к санинструктору… И политрука тоже… Я пойду сам… А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица — курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

— Быстрее! — исступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком.

Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах — начиналось все сначала.

— Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его

обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

— Кладите туда — и за мной! — приказал Алексей и побежал назад — в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

— Прекрати-ить! Прекрати-ить! — на бегу закричал Алексей.

Помощник с лету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы… Я первым или последним? Наверно, надо первым… это ж все равно что при атаке… А может, последним? Как при временном отступлении?..» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и, когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти… Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог — они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам…

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом, без запинки:

— За коровником — бывший погреб, а может, другое что… ямка такая под яблоней — они все там, шестеро… Четверо допрежь раненых и двое, что я послал…

— Ну?

— Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника…

«Я не пойду… Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так… без меня. Ну что я теперь им…» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет…

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

— Попьют кофе и опять начнут, — сказал помкомвзвода, глядя через поле.

Алексей промолчал.

— Я говорю, опять начнут! — повторил помощник.

— Ну и что? — отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение.

— Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

— А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

— В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы… Может, выбить его оттудова?

— Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алексей. — Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

— У нас бронебойно-зажигательные патроны есть, — все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

— Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

— А пуля летит семь!

— Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал… Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке… А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

— Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило…

— Так что? — удивился Алексей.

— Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится…

— Он же, наверно, контужен!

— Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним…

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

— А у вас богато?

— Убиты шестеро курсантов и политрук, — вызывающе ответил Алексей. — Раненых нет!

— Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать, — обрадовался санинструктор. — Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых…

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему телу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этих нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать. Мы бы „их“ пошшупали!..»

Он так и подумал: «Пошшупали» — и повторил это слово вслух.

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступать.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду, — он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики — разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, неспособным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое положение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых

курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... «Атаки с тыла мы не выдержим, — думал Рюмин. — Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой — это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устрашился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

...Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо-устремленно, как паровик, нетронуто стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» — с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

— Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глазами по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать.

Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, — негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов — сам он тоже — не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у не знавших ее…

По тем же самым причинам — вблизи обращенные на него глаза живых — Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека.

— Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ… — Рюмин замолчал и что-то подумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть, — приказ командования уничтожить мото-мехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть… По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил вскоре взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

— Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты, — доложил он Рюмину. — А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо… Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тесом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел

его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты… И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, а верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

— Вы… москвич? — негромко спросил Рюмин.

— Не понял вас, товарищ капитан, — сказал санинструктор и поправил сумку.

— Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь, — мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенцах возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил из рук огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это, — поспешно подумал Рюмин, — хозяин теперь всему война. Всему!» Но осматривать комнату и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

— А кормить раненых вы сами будете?

— Да, — сказал Рюмин. — С ними остается и наш доктор.

— А вы все… никак уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, и Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

— А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

— Мы вернемся через три дня! — вдруг таинственно сказал он, вглядываясь в стариковы глаза. — И тогда заплатим вам за помощь Красной армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение — стремительным броском

вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим.

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное — дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь…

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра — он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта — своя тоже — вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины: смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

— Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал — голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением — как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издалека — темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой

настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином — у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором — волновался — сказал: «Внимание!» — и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени…

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности — они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания, и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно-согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

— Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавлявшей волю

машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завыли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку…

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

— Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услыхал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно-недоуменный крик:

— Отдай, проститутка! Кому говорю!

Как в детстве камень с обрыва Устиньина лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услыхал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» — и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно-страстном заклятье.

— Lassen sie es doch, Herr Offizir. Um Gottes willen! (Оставьте, господин офицер. Ради Бога!)

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро пронзительном взрыве ярости и

отвращения, которое он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

— Стреляй скорей в него! Ну?! — стонуще крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло, как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочь забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью — «Меня не убьют! Не убьют!» — хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, — это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом.

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять, почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарнобело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая, с округлой конечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту — почему сапог стоит?!

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клекотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не

вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог — для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипло к голенищам и носкам сапог. «Это он… облевал», — со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы…

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих, — бой затихал. Обессиленный, смятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю… Загляну в лицо — и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице, в свете пожара, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

— Куда вы их?

— В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! — строго ответил курсант и властно повысил голос: — Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо, — у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты

повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красночерного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив на бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку блестела лакированная кобура парабеллума.

— Ну, Лешк! — закричал Гуляев, увидев Алексея. — В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом — невнятно, сквозь сжатые зубы — сказал окружавшим его курсантам:

— Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

— В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят… Видал? Вконец охамели…

Ожидающе вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

— В том конце, возле школы, — сказал Гуляев. — Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоем взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро…

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

…Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых, — спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом — рукоятки в животы — курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования — «как из мешка!». Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось немного времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властностью курсанты приказывали им потерпеть.

— Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

— Это точно! Там их не меньше батальона сыграло…

— Одних автобусов штук сорок было!..

— Да шесть броневиков…

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди…

8

Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным — сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете — узенький, серый и плоский: небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них, — туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не останавливался.

Все эти пять или шесть километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносок неба — день! О если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи!! Загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте!

Рюмин повел роту в глубину леса — чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним: он мог быть значительно гуще, запущенней, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пугано тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось наизволок серое поле, сливавшееся с серым небом…

…Такие сигареты можно было не курить — хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло,

и есть после этого хотелось еще больше. Но потому что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круглой обороне, курсанты курили их молчаливо, изучающе-въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга, — может, им легче так было, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились разновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километрах в двух отсюда, виден красный купол водонапорной башни. Наверное, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем! Командир третьего взвода лейтенант Рыжков с тремя курсантами принес ведро с водой и четыре ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются Красными Двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в тридцати семи километрах западнее Клина.

Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов.

День разгуливался — небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В одиннадцатом часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченное черно-желтыми крестами.

Кто-то из невесело-раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик «костылем», вложив в это слово презрение и горькую обиду: его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и, искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступало жестокое лихо бомбежки. Курсанты впервые видели «костыль». Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять: до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов — и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.

— Вверх не смотреть! Не шевелиться! — застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, исподтишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил:

— Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его… Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!

Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал.

На пятом залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным, но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к отсыревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет, они не возьмут листовки, — подумал Рюмин. — Они боятся. Кого? Меня или друг друга?»

Озлобленно и хватко Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее к глазам. И сразу же листовки взяли все — Рюмин хорошо это видел, — и кто-то из раненых стонуще спросил:

— Ребята… что там написано, а?

Ему никто не ответил — читали, и Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился.

— Что там, а? — снова простонал раненый.

— Да ни хрена тут нету! — с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант. — В плен Гитлер кличет… А пропуск такой: «Бей жида — политрука, рожа просит кирпича!» Ясно?

— Как Пу-ушкин! — протянул раненый.

— П… юшкин! — окончательно сбился на басы курсант, и Рюмин засмеялся первым и повторил то, что сказал курсант…

Решение…

Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту, днем, в тылу у немцев на восток двигается колонна из ста шестидесяти трех курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и двадцати восьми «санитаров», несущих четырнадцать раненых… Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток, — там ведь свои! В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое — разгром. Лучше было

встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов.

Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу — оно ждало врага только с запада, и отсюда ему на целых двести метров было ближе к своим...

Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода — там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил:

— Кушать просят.

— А можно им? — зачем-то спросил Алексей.

— Не все, — значительно сказал Гвозденко.

— А что можно?

— Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты. Воды тоже нету.

Он побежал к Красным Дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес к глазам ладонь, задрав голову, и бросился назад.

— Самолеты сюда... Много! — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро.

— Ты давай к себе, — сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку, а Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты.

Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно-тонко и чисто запело ведро. Острый ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба и чем-то далеким и полузабытым больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньках и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался — из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе», — мелькнуло в его мозгу, и он крикнул: «Внимание!» — и услыхал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее,

и Алексей мысленно крикнул: «Внимание!» — и непостижимо резким рывком кинулся вперед, в глубь леса. Он упал возле сосны и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках — далекие силуэты хат и над ними несколько штук завалившихся на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на Дворики «юнкерсов» уколол его сердце надеждой — «может, они все перекинутся туда», и одновременно он подумал, что раненых переносить в хаты было нельзя… Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. «Что ж он… его мать, завел, а теперь…» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы, но, как только эти паузы исчезли и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал — тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти; видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то не выразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные винтовки… Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле, и дважды возвращался в лес — в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи…

Наконец для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва земли: бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно-ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом — накатно-тяжком, медлительном и густом.

Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника…

9

…Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и, полузасыпанный, он казался мертвым. В падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.

— Больше тебе некуда, да? — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды. — Наложил или ранен? — уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз.

— М…к! — выдохнул Алексей. — Лежи тихо! Танковый десант!..

Тот одним рывком перевернулся на бок и подтянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова — к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и неприближающимся.

«Может, это тоже пройдет… Как-нибудь пройдет и кончится», — подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! — внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. — Там бой, а он…»

Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал и послышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Алексей всем телом подался к курсанту, затаенно молясь корню, осыпавшемуся на него песком и глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчанье от живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик.

— Где твоя СВТ? — свистящим шепотом спросил он курсанта.

— Тут! — к чему-то готово отозвался курсант. — И немецкий автомат тоже… А твоя?

У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще круче выгнул спину и сказал:

— Вот же сволочь! Ему хоть бы что…

В буреломном грохоте леса неожиданно явственно — и совсем недалеко — вспыхнула раздерганная ружейная пальба и раздались крики, потом несколько раз — знакомо по учебному полигону — звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче.

— Тихо! Цыц, в душу твою!.. — обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея. — Ты что… —

Он осекся, с писком сглотнул слюну и отнял руку. — Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь! Нас тут не найдут… Вот увидите! — зашептал он в глаз Алексею.

— Вставай! — крикнул Алексей. — Там… Там все гибнут, а ты… Вставай! Пошли! Ну?!

— Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем… Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех… Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью! — исступленно просил курсант и медленно, заклинающе нес ладонь ко рту Алексея.

Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.

— Стреляй тогда! — тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт. — Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас… раненых… в плен…

И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант — Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно подавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели, — курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. «Что это, страх или инстинктивное сознание пользы жертвы? — мелькнуло у Алексея. — Лучше это самим, чем они нас… раненых… в плен». «Мы их потом всех, как вчера ночью!..»

Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта — самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: «А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было бы неправдой! Я ни о чем не думал!.. Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине… И больше всего о себе… Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..» Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет.

— Психический! — измученно прошептал курсант и лег.

Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и скоро все стихло. Ушли.

Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми маслеными пятнами, а по земле синим томленым чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади с

винтовкой на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно-смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить, и все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг — ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «дон-дон», а через десять шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север.

— Так и дурак кашу съест, была бы ложка, — сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь.

Алексей промолчал.

— Воюют-то они чем, — подождав, снова начал курсант, — минометами, пикировщиками да танками?

— Это ты кому следует скажешь, чем они воюют... А как мы с тобой воевали нынче... тоже доложишь! — озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь.

— Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! — угрюмо сообщил курсант. — И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке...

— Один? А я где был? — парализованно остановился Алексей.

— Не знаю. Мало ли... Там кто-то все время стрелял из пистолета по «юнкерсам». Кажется, сбил одного... Может, это вы были?

— Вот гад! — изумленно, самому себе сказал Алексей. — Рота погибла, а он... Вот же гад.

— Да кому это нужно, чтоб мы тоже там погибли? — так же изумленно, шепотом спросил курсант. — Немцам?

— Ты знаешь, о чем я говорю!

— Может, и знаю. Об НКВД, наверно?

— Вот-вот. И о своей и твоей совести...

— Ну, моя совесть чиста! — сказал курсант. — Я вчера ночью честно, один на один, троих подсадил, как миленьких... А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего...

Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело:

— А вы как... многих вчера, товарищ лейтенант?

— Одного, — не сразу, устало сказал Алексей. — Худой, как скелет...

Курсант удивленно и немного насмешливо посмотрел на него сбоку.

— Щупали, что ли?

— Документы проверял... Он офицер был, — солгал Алексей и рукавом отер лицо.

— А я, дурак, и не подумал насчет трофеев! — сокрушенно сказал курсант. — Один вот только автомат прихватил...

Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав цигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул:

— Немцы! Над самыми верхушками... Четверо!..

Было все сразу — волна горячего испуга («Он сошел с ума!»), вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестевшими касками («Я тоже?»), и голос капитана Рюмина:

— Свои! Подходите!

Лес был шагах в двадцати, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно...

10

Это оказались те самые скирды, где четыре дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали, с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял — сам ли он замедлил шаг или же курсанты с Алексеем настигли его и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к ним, и сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать и хочется единственного — упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно и опасливо оглядел скирды, лес, светлеющее небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова:

— Все? Больше никого?

Алексей ничего не ответил — это было сказано в десятый раз, — и тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес:

— Тогда обождем здесь.

Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда, и, когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал:

— Не нужно туда! Сделаем сами…

Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив в горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и с неестественно пристальным, почти тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирда круглые охапки слежавшегося клевера и тимофеевки.

— Все. Давайте, товарищ капитан, — сказал Алексей.

— Что? — непонимающе спросил Рюмин.

— Заходите, а я свяжу затычку.

Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустился на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хотя влезть в дыру можно и нужно было иначе — задом, уперев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. Он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка сухо и громко сглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши и пахло сокровенным, очень давним и полузабытым, и от всего этого томительнобольно замирало сердце, и в нем росла запуганно-тайная радость сознания, что можно еще заснуть.

Было светло и спросонок зябко, потому что затычка валялась в стороне, — видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака. Он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладони, глядел в небо. Там, над лесом, метались три фиалково-голубых «ястребка», а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре «мессершмитта». Алексей впервые видел воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, кургузые «ястребки», зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а «мессершмитты» разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот «ястребок», который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял.

— Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? — возбужденно спросил Алексей.

Рюмин не обернулся: на лес убито падал, медленно перевертываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый «мессершмитт».

— Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! — прошептал Рюмин. — Негодяй! — убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит.

Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся «ястребка» — один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.

— Все, — старчески сказал он. — Все... За это нас нельзя простить. Никогда!

У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы — плачет?! — Алексей, встав на четвереньки и забыв сесть, одним дыханием выкрикнул в грудь Рюмину все то, что ему самому сказал курсант:

— Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью! Мы их... Пускай только... Они еще не так заблюют!.. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!..

Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение — невидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей, но он сидел теперь затаенно-тихий, как бы во что-то вслушиваясь или силясь постигнуть ускользающую от него мысль, и, как только это удалось ему, черты лица его сразу же обмякли, и он как-то сожалеюще-любовно посмотрел в глаза Алексею.

— Покурить бы, — виновато сказал он.

— Это я сейчас, — вырвалось у Алексея. — У ребят есть, я знаю!..

Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охапке клевера перед ними стояла расковырянная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели, может, потому, что не решили — чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидев банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя, и он спросил, как они отдохнули.

— Как у тещи, — с мрачной иронией сказал кто-то, и оттого, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить.

— Ну ладно, — торопливо проговорил он, — я зайду после...

Его догнал тот самый курсант из третьего взвода и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку.

— Ну-ка, берите с капитаном! — строго и загодя возмущенно на предполагаемое неповиновение сказал он. — И под низ давайте, а то разольете к такой матери!..

Бессознательно подчиняясь приказному тону, Алексей машинально снял с его ладоней банку и тут же протянул ее назад, но курсант, на отлете поддерживая руки, побежал к своим и на пол пути обернулся и напутственно кивнул Алексею.

— Я же только так… Закурить хотел! — слабо крикнул Алексей.

— Потом принесу! — отозвался курсант, но уже не оглянулся.

Рюмин встретил Алексея вопрошающе-длинным взглядом, и, когда Алексей, приемом курсанта, поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил:

— Что это?

— Консервы… Ничего нельзя было сделать, — растерянно проговорил Алексей. — А табак, сказали, принесут после…

— Сказали? — переспросил Рюмин. — Зачем? Черт знает… Как же ты не понимаешь всего этого! — И, побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул: — Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они не этим должны нас… Не этим!..

Все того же курсанта и Алексея, бежавших со своими ношами навстречу друг другу, разделяли шага три или четыре, когда в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший выстрел. Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полушепотом ругался в Бога…

Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и, когда он позвал капитана и подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.

Это было впервые, когда Алексей не устрашился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость и согласность к той таинственно-неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызывало у Алексея ни протеста, ни жалости. Как в полусне и с выражением просветленной оцепенелости он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощущая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В проходе дыры молча стояли курсанты, и, когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил:

— Куда он попал, товарищ лейтенант?

Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал: «Какая разница!» — и выругался в Бога.

Все, что делал потом Алексей — снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет, — все это он совершал внимательно-прочно, медленно и почти торжественно. То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это — бывшее, настоящее и грядущее — требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня-нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство, дед Матвей, Бешеная лощина… По очереди разглядывая лица курсантов, он раздельно и бесстрастно сказал:

— Надо его на опушке, под кленом.

— Как теперь узнаешь клен? Листьев-то нету, — сказал кто-то, но Алексей повторил с тупым упрямством:

— Чтоб небольшой клен… Разлатый.

Он сам нашел его метрах в ста от скирдов. Молча ходившие сзади него курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и курсанты, но шинели свои сложили поодаль от лейтенантской.

— Дай мне свой штык, — сказал Алексей курсанту из третьего взвода.

— Да полно вам, мы сами выроем! — с досадой взглянул на него тот.

— Дай, говорю, ну? — прошептал Алексей.

Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею.

Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырея — жесткого и неподатливого, как проволока. «Пырей растет по всей, наверно, России… Бывало, пока нарежешь дерна, иступишь лопату… А земляные плитки назывались в Шел ковке корветами. После дождя ребятишки запруживали ими ручьи на проулках села…»

Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало: первая корвета самая трудная... Трое курсантов, дробивших до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода.

— Потом выложим ими верх, — сказал он Алексею.

Под черноземным слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше показался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмяклорыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнувшие к рукам.

...Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, что шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один — курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински — чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина — головой на север или юг, — Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином и все это не сбросил, а сложил в углу могилы.

Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом орудия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы, у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров, — Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц и, снова болезненноостро ощутив присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:

— Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз...

Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни.

— Ага, матери твоей черт! Ага!..

Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей…

Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантами в лесу: на боку, подогнув к животу колени…

Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, болью отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать, и он продолжал захлебно сосать из шинелей воздух, пропахший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло все сразу — память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с такой силой рванулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшихся вниз откуда-то сверху, от затылка. Теперь он опирался грудью на локти, как на колышки. Они тряслись и вот-вот должны были переломиться, но вокруг них была пустота и воздух, и, захватывая его ртом, Алексей по-прежнему утробно выл — иначе он не мог, боялся дышать. Он повторил рывок и очутился поверх комьев земли и глины. Привалясь к обвалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя за тем, как из носа на подол гимнастерки размеренно стекали веские капли крови.

— Это только так, — гнусаво сказал Алексей. — Зараз пройдет…

Он лег, вытянувшись во весь рост, зажмурился и раскрыл рот. Падали крупные, лохматые и теплые снежинки. Они липли к бровям, наскоро превращаясь в щекочущую влагу, заполнявшую глазные впадины, и Алексею казалось, что это плачут глаза одни, без него…

Сначала он отрыл свою шинель и рукавом гимнастерки старательно очистил петлицы от налипшего песка и глины. Кубари были целы. Не вставая с коленей, Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно-приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.

— Стерва, — вяло, всхлипывающе сказал Алексей. — Худая…

По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он отрыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие. Винтовки он повесил на плечи — по две на каждом, пистолет спрятал в карман брюк, а бутылку взял в руки. Не глядя в сторону скирдов, он пошел от могилы по опушке леса, постепенно забирая вправо, на северо-восток.

Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе, — оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость оттого, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк…

Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипывающе шептал:

— Стерва… Худая…

Так было легче идти.

1963

Константин Воробьев
(1919–1975)

Это мы, Господи!

Луце жъ бы потяту быти,
неже полонену быти.
(Лучше быть убиту от мечей,
чем от рук поганых полонену.)
«Слово о полку Игореве» Поэтическое переложение Н. А. Заболотского

Глава первая

Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обежали высокую, статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня.

— Официр? Актив официр? — удивленно уставился он в переносицу Сергея.

— Лейтенант.

— Зо? Их аух лейтнант! (Вот как? Я тоже лейтенант!)

— Ну и черт с тобой! — обозлился Сергей.

— Вас?

— Што ви хофорийт? — помог переводчик.

— Говорю, пусть есть дадут... за три дня некогда было разу пожрать...

...Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровоточа, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках. У другого он просто болтался на животе.

— Хальт! — простуженным голосом прохрипел немец.

Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади, у памятника Ленину, прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро со стекающей из него какой-то жидкостью.

Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить.

— Комт, менш! (Идем, человек!)

Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную.

«Вот они где хотят меня...» — подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки.

Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь.

«Я буду лежать мертвый, а они прикурят... А где политрук Гриша?.. Целых шесть годов не видел мать!.. Это одиннадцатая?

Нет, тринадцатая... если переступлю — жив...»

— Нах линкс! (Налево!)

Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины кромешной тьмы слышались голоса, стоны, ругань.

«Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал: остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца...

Привыкнув, глаза различили груду тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжелораненые поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высясь в полутьме.

— Гра-а-ждане-е-е! Ми-и-лаи-и... не дайте-е по-мере-е-еть!.. О-ой, о-о-ох, а-а-ай! — тягуче жаловался кто-то голосом, полным смертельной тоски.

— Това-а-рищи-и! 0-ох, дороги-ия-а... один глоточек воды-и... хоть ка-а-пельку-у... роди-и-имаи-и!

— Прими, говорят тебе, ноги, сволочь, ну!

— Эй, кому сухарь за закурку?..

— ...и до одного посек, значит... вот вдвоем мы только и того... без рук... попали к «ему»...

— Хто взял тут палатку?

— В кровь... мать!..

— Земляк, оставь разок потянуть, а?

Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом.

Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую цигарку.

«Ну-с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни!» — с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью: почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии! Пленный… когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть… Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце… Смерть есть смерть!

«Значит, просто струсил?!»

В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять дэзсовских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали.

Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин.

Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона.

— Без трех минут девять, — взглянул на часы политрук, — фрицы и францы допивают кофе. В девять ноль-ноль начнется минопускание по нашей вотчине…

Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин.

Ии-июю-у-юю… Гахх! Гахх! Ии-юю-уу-юю…

— Пожалуй, укроемся, лейтенант?

Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей, в давно заброшенном погребе, сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад.

— Бац, телеграммы! — воскликнул писарь, наклоняясь к полу погреба.

То же самое как-то невольно проделали Сергей и политрук.

— Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине, — пошутил Сергей.

Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись: по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин.

— Потренируем нервишки, а?

Пи-и-июю-у-ю! — вдруг слишком близко завыло в воздухе.

Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея, крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них.

— Мина залетела в яму, — проговорил Сергей, — писарь убит, — указал он политруку глазами на ветви груши…

По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин.

— А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант! — удивился политрук.

— Да-да, — отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что, в сущности, не боится ее, только… только умереть хотелось красиво!

Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.

«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» — решил он, сидя на куче угля…

Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движение среди пленных.

— Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу. — Прячь, братва, что у кого есть!..

Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.

— Комагерр! (Ко мне!) — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея.

— Мантиль ап! Ап, шнелль! (Шинель снимай! Снимай, быстрей!)

Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.

— Вас ист дас? О, гут, прима! (Что такое? О, хорошо, красиво!) — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия

Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.

Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.

— Это же память!

— Вас бамат?

— Память, знаешь, скотина?!

В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея...

Глава вторая

Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани.

Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях... В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окурок на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не

дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны — в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!..

...Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.

«Где это я?» — подумал он.

Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» — обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.

— Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запамятовал, где ты? — урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. — Портсигар пожалел... велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как...

Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.

— Полежи, я схожу погляжу — снег растаял ли. Попьешь водички...

«Да Горький так говорил! В кинокартине „Ленин в 1918 году“», — вспомнил Сергей.

— Как зовут-то тебя, мил человек? — подавая Сергею консервную банку с полурастаявшим снегом, спрашивал бородач.

— Серегой, стало быть...

— Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит... Ярославский я, из Данилова, может, слыхал?

Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился поэтому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.

— Помогает, слышь, крепко при побоях, — объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья.

Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях», — решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:

— Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе... — А помолчав, добавил: — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь...

На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.

— Лос! Лос! (Давай! Давай!) — торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию.

Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов — то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком… Контуженная левая часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.

— Держись крепче, Серег, не то убьют! — посоветовал Никифорыч. — Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость, — продолжал он, невозмутимо шагая вперед.

Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.

— Братцы, ну как жа оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных.

— Ай вчера от грудей? Снимай штаны — и дуй! — поучали его из строя.

— Не умею, родненькие, на ходу, я жа не жеребец…

— Пройдешь верст пять и сумеешь, — обещали несчастному.

— Ишь, чего захотел! Знать, не голодный…

— Черт плюгавый!..

Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.

К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.

— Журавель, ребята, виден, попьем водички!

— Эти напоят… захлебнешься…

— Ан, слава Богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью… Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши…

— Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!

— Ишь, сука паршивая, камрата заимел…

Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.

— Тетя, вынеси хоть картошку сырую…

— Пить…

— Корочку…

— Окурок…

— Да-а… Сюда-аа… Аа-я-оо-а-яя!..

Двести голосов просящих, умоляющих, требующих наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой и ветхой избенки старуха, кряхтя, тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына-фронтовика, что и ее Ванюша, может быть, шагает где-нибудь вот так, умоляя о глотке воды и единственной мерзлой картошке. И вынесла бы старуха мать ковригу хлеба и кринку молока, да живет она, горемычная, на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили погреб от картошки, съели рожь и пшеницу… Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом.

Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения.

Как бы вторя очереди первого автомата, застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку.

— Ложись, Серег, — предложил Никифорыч, но, сразу побледнев, схватился руками за грудь.

— Что такое? Что? — бросился к нему Сергей.

— Убили-таки, ироды! — хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину. — Вот… тебя тоже убьют, Серег… беги, — хрипел он. — Володька похож на тебя… сын. На фронте он… Ну, возьми мешок… Иди!

Выстрелы так же внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнув шинель и фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь, пенясь, сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром.

Вновь, построенные по пять, двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развевающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.

Глава третья

Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает холод, проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижется в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?

Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные…

…Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной буханки в восемьсот граммов на двенадцать человек. Диким и жадным огнем загорались дотоле равнодушно-покорные глаза человека при виде серенького кирпичика.

— Ххле-леб! — со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!

Сергей видел, как курносый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.

— Айда, ребята, к третьему бараку, — почему-то шепотом проговорил он. — Разделим хлебушко…

Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:

— Эй, ты…. в рот, отдай буханку!

Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой

массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба.

Не так-то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером в конопляное зерно, должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на двенадцать частей.

Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб…

— Ну как, братва, ровна? — спросил парень, закончив раскладку крошек.

— Вон там от горбушки надоть…

— Добавить суды…

— Ну, будя, будя! — проговорил парень. — Теперя становитесь по одному, чтоб номера помнить.

Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: «Кому?» — называл тот или другой номер.

Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку…

С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей.

Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его…

Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая

душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг… Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава Богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба… Личико не шевелилось.

— Давно здесь? — стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.

— Месяц… нет, меньше, — тоненьким голоском пропищало личико. — Болен я… Пальцы отваливаются, — продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела.

— Как отваливаются?

— Гнали нас… на дороге танкист-немец… снял с меня валенки… пять верст босой… ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились… Теперь только три… завтра, наверное, тоже отвалятся… И ноги гниют тоже… Тут нас много таких…

В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно!.. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.

— Шесть верст до дому… Знала б мама… принесла бы картошки вареной, хлеба тоже… На шоссе мы живем… деревню Аксеновку знаете? Колей меня зовут… И как сообщить маме, вы не знаете?

Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: «Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной… и хлеба тоже… Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватись руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным…»

— Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме, — ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: — Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!

— Э, нет! Поглядите-ка вот…

Ухватись одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не

удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.

— Как же я дойду? — повторил он, печально глядя на свою ногу.

Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.

— Вот я какой теперь! — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью…

В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться «баланда». Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки.

Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой.

«Но что же в нем все-таки есть?»

Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка — предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.

— Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! — обрадовался искренне Сергей. — Только вот котелка у меня нет…

Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.

— На черпак баланды хватает, — пояснил он.

Третий барак выстроился за получением баланды.

— Сказывают, гуща имеется в баланде…

— Потому наш барак последний, так она на дне…

— Не напирай, не напирай!

— Люди добрые, и сделайте Божескую милость, получить на на двоих… посудинки нету…

Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекочущий нос запах варева.

— Ну, добавь… ради Христа, добавь!..

И полицейский «добавлял». Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утоптанный тысячью ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды…

Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:

— Больше нету баланды?!

— Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря…

— Р-расходись в б-барак! — кричали полицейские, крутя дубинками.

Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча.

— Какой-то мешок не давал малец полицаям… ну, и того — сбросили с нар. В четвертый понесли… помер, стало быть, — пояснил сосед.

Глава четвертая

Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глотают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.

Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть… Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг:

— Ххле-епп, ххле-еп… хле-е…

На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся

гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых…

…В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях.

«Тиф», — спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.

Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос… Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:

— Пи-и-ить… ии-ить…

А потом вновь затихает — иногда навеки, иногда до следующего «ии-ить».

Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. «Чаво гадить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: «Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью — Тося».

До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: «Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтобы не убили меня… Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет…»

Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх вповалку лежащих там людей. Где же ему место, как не под нижними нарами, куда скатываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука…

Да, крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.

— Слезь… с моего… места, — прошептал он занявшему его «жилплощадь».

На хрип этого привидения удивленно уставилась стриженая дынеобразная голова.

— Ты што, из четвертого появился?

— Слазь…

— Откуда этот хлюст взялся?

— Место, слышь, требует…

— В чем дело? В чем дело, почему голый, а?

Сергей медленно повернул голову по направлению голоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.

— Где твоя гимнастерка, а? — протискиваясь к Сергею, спрашивал он.

По петлицам Сергей догадался, что это доктор. «Неужели тут есть доктора?» — мелькнула мысль.

— Я болен… видимо, тиф.

— Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?

— Раздели полицейские… обмундирование комсоставское… трудно не взять…

— Вы командир?

— Лейтенант… Помогите же, доктор… я потерял силы… Это вот мое место… сбросили, лежал там…

— Идите за мной.

В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга.

Перед вечерними сумерками пришел доктор.

— Как живем, лейтенант? — спросил он, взобравшись к Сергею. — Правая нога? Гм… явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать… как-нибудь, да!

— Резать не дам! — упрямо выговорил Сергей. — Я еще буду драться!..

— Дерутся здоровые, лейтенант… конечно, и в моральном смысле, да! Но… одну минуту! — Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. — Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у меня последний… И вот — баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!..

Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки.

«Я не нужен себе калекой, нет», — думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом.

— Отлично! Будет толк. Боль — не что иное, как представление о боли, да! — отчеканил доктор. — Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется…

И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу.

Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишащие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал:

— Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и… доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?..

Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.

— И, — продолжал Сергей, — я поэтому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого.

— Следовательно?

— Я люблю мою Родину!

— И?

— Вы ведь немного старше меня!..

— Вставайте. Учитесь ходить, да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим, да…

Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал

себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал «в доску своих», приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие...

Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в «амбулаторию». На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский «санинструктор». Он выслушивал трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского.

— Та-ак, ничего серьезного. Помажем...

Навернув грязную тряпку на палочку, «санинструктор» быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.

— Чрезвычайно полезно. Иди!

— Дело в том, — объяснил Лучин Сергею, — что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели... Так-то, товарищ лейтенант, да!..

Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля близкую весну и охапку надежд. Толковали одни:

— Весной должна кончиться война. Попомните мое слово! Потому што пропали мы тут...

Думали другие: «Зелень, лес... Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать».

Март принес частозвон утренних капель с крыш бараков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей бараков зловоние оттаявших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда и почти поллитровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел-отступился от бараков тиф, переваляв почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из бараков, садятся с подветренной стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровавятся от них ногти больших пальцев, а «пройдено» только полрубца плечевого! Расстилается на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! Прижал ее руками да и покатил по шинели — и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей...

Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней — пленные.

— Стучат, доктор, а?

— Зовут, лейтенант, да! Вот подтает снежок — обстановка улучшится. Махнем, да!..

Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождавшему его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест.

На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.

Глава пятая

Клейка и непролазна вяземская грязь. Словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешена грязь тысячью ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают-чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры по грязи босые ноги…

За городом, на незасеянном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роют пленные ямки-овражки; часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из вяземских лазаретов. И, уложив двадцать, тридцать гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Ну кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять! Об этом говорят кресты…

В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате; огнем жжет ладони шершавая ручка; раскис-расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты… Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот?

— Лос, лос, менш! — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами…

…Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатой мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных «бычок», бросились на него со

всех ног двадцать человек. И поднимет торжественно пистолю фашист, и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец! Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел…

Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось двести человек. Там от шести часов утра до восьми вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные в оврагах и буераках близ станции. Целыми охапками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы! Согласно немецкому «закону», пленному полагалось 0,75 литра «варева»…

За городом, в дымке утренних паров, встало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания — майоры и равные им, капитаны и равные им — и, окруженные автоматчиками, уныло и молча шли на работу.

Вот уже третий день Сергей с партией в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто — двести хлеба и «великая возможность смыться», как говорил новый приятель Сергея капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров — Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая: авось отвернется конвоир…

Как-то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок.

— Подозрительна эта штука, — указал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок. — Спирт у них в таких бывает…

— И что?

— Как что? Фляга есть у меня, понял?

— Ну?

— На носу баранки гну!.. Полицейским отдадим — килограмм хлеба получим в побег.

Немец-старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку.

— Задушить бы — и айда! — кивнул на него капитан.

— Закричит гад, немцы за стеной…

— Вот что, — предложил Николаев, — захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке...

Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и ворча поплелся за Сергеем, оставив капитана в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца.

— Шнелль, менш! — наконец не выдержал тот.

— Не лезет, дедушка!

— Вас ист дас, гедюшка?

— Трудно, говорю. Запеклось к черту все!

— Лос, сакрамент! (Давай, проклятый!) — разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного!

— Ду люгст. Вильст нихт арбайтен?! (Ты врешь. Не хочешь работать?!)

Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекатывать бочки.

— Готово! — пояснил он Сергею. — Древесный только...

Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь: пойманных убивали тут же.

Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на «подкалымить жратву», у других гибли надежды на скорый побег.

— Вот тебе и смылись! — сокрушался капитан.

— Опытнее будем! — злился Сергей.

...В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба — буханки на четверых. Шли нескончаемой вереницей люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей: ребятишек двенадцати лет и стариков — семидесяти и выше.

В семь часов вечера вновь вырастала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях поспевала баланда. Ходуном прыгает черпак — раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженой голове, и зазвенит-запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак, пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился...

А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос:

— Ии-и ты-и-и жа-а, мой родненьки-и-й сыно-о-чиик, ясненьки-и-ий све-е-етик ни-на-гля-а-дный! За-а што-о тебе-е-е доста-а-а-лась до-о-ля го-рькая, го-о-оло-ву-шка ты-и моя-а ни-щасна-ая!..

Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет:

— Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокеть...

Выходят послушать соло и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни, не знают они, как рождаются такие звуки-стоны! Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения...

Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания...

Глава шестая

Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов. Все той же колючей проволокой забиты-опутаны окна, и задумай шальной воробей пролететь в окно — повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки колючки.

Сорок семь тел распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это — смерть для всех! Съедены еще в лагере «дорожные продукты» — две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоит поезд?..

Жестокой дизентерией мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане: «Съешь нас!» Нет сил отогнать эту мысль. Тянется невольно рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. «Корку лучше!» — мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносят украдкой от глаз ко рту.

«Нельзя, подохнешь!» — шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виновато и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком: «Чего уж там, бери и ешь…»

— Нельзя, понимаешь, сволочь?! — громко шепчет Сергей.

Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает:

— Болит?

А сам думает: «Уже бредит, помрет…»

— Я не сошел с ума, капитан, — говорит Сергей, — но я до смерти хочу есть… противное желание!

— У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя.

— Есть «не есть»! — пробует шутить Сергей.

Стоит поезд. Вторая ночь! Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру, так лучше наевшись», — решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись — Бог весть! Вытащил из-за голенища ржавую корявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал:

— Разевай рот!

Полностью засадил Сергей ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок.

— Больше в тебе нет ничего, — успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось… Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то» можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое… Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! «Терпи и береги меня! — приказывает оно. — Мы еще дадим себя почувствовать!..»

— Нет, капитан, во мне осталось все, что было! — со злобой отвечает Сергей.

— Да вот оно, что было в тебе! — указывает на кучку сероватой массы Николаев.

— Ты одурел, мой друг, от голода, — уже спокойней проговорил Сергей, — возьми мою пайку и съешь…

На четвертый день пути пленных выгрузили в Смоленске. Большая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупами, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостно истерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и казалось, не было в городе хоть единственного непострадавшего здания.

На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву «П» гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве «П» решено было приделать букву «Г», отчего виселица преобразилась в перевернутую «Ш». Если на букве «П» можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря. Состояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории: командиры, политсостав, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями — под строгим наблюдением густой своры немцев.

Командиры, политсостав и евреи не допускались до работы. Сидели эти люди на строгом пайке, томились без курева. По вечерам, когда пленные группами возвращались с работ, в самой большой секции, где были красноармейцы, открывался базар. Было там все — начиная с корки хлеба и кончая пуговицей, ножиком, ремнем, обрывком шпагата и ржавым гвоздем. Делалось и добывалось это так: напрягая всю мочь, вскидывает тяжелую кирку пленный, ковыряя мостовую. Так и кажется: вот взмахнет еще разок — да и завалится в грязь, вконец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко.

— Съешь, родимый, помяни грешную душу рабы Божьей Апросиньи…

А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих.

— Штой-то у тебя?

— Ицо.

— Сколько?

— Пайка.

— Дай погляжу… какой-то она таво… желтая.

— От породистой курицы потому…

— А ты што, курицу то…?

— Выходит же счастье вот таким тухтарям!

— И хто ему дал ицо, черти его возьми…

Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей булдыжки. Плюхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги, и бормочет в полузабытьи:

— Кому трусятины? Кому трусятины?

Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнущий мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается «покупателям».

— Да съешь ты сам свою трусятину! Помрешь ить, пока продашь.

— Эй, кому загнать по дешевке?

— Што-о?

— Душа лубезный, купи котелок баланды! Свежий, вкусный, красивый!

— Кому ножик за понкрутку?

— У кого кусок резины есть?..

Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре.

— А знаешь, — предложил Николаев, — не мешало бы сходить на эту черную биржу.

— Пайку перепродать?

— Нет, кальсоны; покурить бы малость…

Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры.

— По направлению виселицы — шагом марш! — скомандовали полицейские.

Туда же шли и другие секции.

— Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстучек, — шепнул Николаев.

Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев.

Кроваво-красным шаром закатывалось в полоску сизой тучи солнце на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом.

— Дай проход! Разойдись в стороны! — послышались голоса.

В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понуро шагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке.

— Военно-полевой суд… — начал переводчик; и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки…

— А много мучки-то взяли? — послышался голос из толпы.

Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения. Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он всхрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки.

Второй, лет под тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и на читавших ему смертный приговор.

Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратно сколоченные козлы.

— Дорогие, век не забуду… не надо! — заколотил себя кулаками в грудь «скворец». — Не буду… с голоду это я… Родимые, ненаглядные мои, — бредил он, упав на колени.

— Подымись, дура бловая! — спокойным басом загорланил его одновисельник. — Разя это люди? Это жа анчихристы! Увстань жа, ну!..

И, неторопливо взяв за плечо коленопреклоненного, он легко поставил его на ноги.

Живчиком бился чернявый в цепких руках немцев. Брыкался и кусался, не давая просунуть голову в петлю веревки. Все так же не торопясь и деловито влез на козлы белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись, грузным мешком повис прежде чернявого, уродливо скривив голову…

…В голубени июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки, разогревают смолу толевых крыш бараков, и сочатся блестящие черные сосульки каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолгу ведутся в темноте разговоры-воспоминания — кто, когда и как ел.

— Ну, встаешь это себе, делаешь, понятно, зарядку, а на кухне уже слышишь: ттччщщщии-и!.. Пара поджаренных яичек, два-три

ломтика ветчинки… Да-а! Запивал все это я стаканчиком холодненького молочка… знаете такое? А в обед…

— Это што-о! Я вот, так я кушал так: утром не ел ничего!

— Ну, это уж вы напрасно! Почему же?

— А понимаете, не хотел. Привык!

— Как так можно! Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец в сливочном маслице… румяненький, горяченький… с сахарцом, понимаете?

— Да, конечно, но… рацион, так сказать…

— Ах, что там! Это вы просто… извините, дурак были, что не кушали!..

Это в углу, где спали «старички» по чину и годам. Во втором же:

— Заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш — ббабахх! А в двенадцать — в столовую. Опять берешь: солянку, пожарские, кисель и пять пива. Шарахнешь — и до семи!..

Это вспоминали свое житье-бытье те, кому не могла жена «поджарить в сливочном маслице». Это были холостяки…

…В самую последнюю очередь получали командиры баланду. Поблескивают в их руках котелочки, баночки из-под консервов, а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски.

— У вас, капитан, губа не дура! Посудинку-то себе вы подыскали вместительную!

— Скажите, товарищ подполковник, вы… если не ошибаюсь?

— Да, я армянин.

— Встречали ли вы там, у себя, более роскошную пиалу, чем вот эта ваша?

— Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?..

Так доходили до кухни. Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлип губ, сосущих баланду.

— Товарищ военинженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?

Молодежь была неутомимей. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, воспоминания.

— Повторяю, внешность не показатель внутреннего достоинства человека, — горячился лейтенант Воронов. — Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пискунов. Фамилия его говорила за все: он был похож на цыпленка-

заморыша. Учился плохо. Как-то спрашивает его тактический руководитель: «Вот вы, курсант Пискунов, ведете взвод. Наблюдатель подал знак — „воздух“. Ваше решение?» А Пискунов стоял-стоял, да и решил: «Я, — говорит, — подаю команду „спасайся кто как может“!» Ну, понятно, хохот в аудитории, плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. Пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И заметьте: единственный из всего училища тогда!..

Глава седьмая

В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, командиры были выстроены, чтобы получить «дорожные продукты». Путь, видимо, предстоял долгий: была выдана каждому целая буханка хлеба из опилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму.

— В Германию везут. Надо бежать в пути, — пояснил Сергей.

Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять, за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых грузов и братские гробы для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жестью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающие малейшую возможность побега.

— Кажется, все! — покачал головой Николаев.

— Нет. Остановки.

— Не выпустят…

— Тогда… тогда останется последняя возможность — вот! — указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли.

Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас. Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать стало несколько легче. Когда в узкие, словно прорезанные осокой, щели дверей вагона просочилась молочная сыворотка рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третьи. Утро

четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов.

А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

— Раус, раус! (Вон, вон!) — вопили немцы.

От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать — шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв. «Каунас», — разобрал Сергей.

По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно пялили лорнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно видеть толпы гуляющих людей и еще непонятней воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая когда им вздумается, что они вдосталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов… Странным казался и этот город с узенькими уличками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков.

Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным уличкам предместья Каунаса. Из приусадебных садиков пахло прелой морковью и увядшими лопухами.

— Яаки! — не закрывая губ, произнес Николаев.

Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледнорозовым гирляндам яблок.

— Да, яблоки…

Каунасский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых «благоустройств», свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные… железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое «боевое оружие». Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь

огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

...После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивей липла мысль о «последней возможности».

«Разогнаться и об острый угол барака... самому», — думал Сергей.

На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющей долиной, сплошь усеянной огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там — было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили пятидесятипудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывал на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук.

— А ну, братцы, бежим! — предложил своей тройке Сергей.

— Как?

— Подкатим валун к кустам, а там — врассыпную!..

— Побьют... День, видно...

Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое же трусили.

— Ну, малыш! — чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него. — Держись!.. А вы — как знаете! — бросил он оставшимся у валуна.

К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли, Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты; мнется под животом сухой, звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик — не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю!..

Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса.

«Девяносто восемь человек остались в долине и с ними лишь пять конвоиров! Если б они сыпанули в стороны… Не больше сорока убитых, а остальные и мы…» — думал Сергей, чувствуя приближение смерти.

Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят «порядок». Сто человек должны быть живыми сданы в лагерь — беглецы будут наказаны в комендатуре…

…Прикушенный язык разбух во рту мочалкой: не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта не переставая слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.

— Аакх ыие аукх?

— Не понимаю, — качает головой тот.

Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки. Не скоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос. Написал на стене: «Как тебя зовут?»

— Ванюшкой… Иваном.

— А-а-о. А ыая — Ыйэяв.

— Что вы говорите?

«Хорошо. А меня — Сергеем», — написал Сергей.

— Ойкхяо ы-е эыхк?

— Восемнадцать, — понял Ванюшка.

— А-а-о.

— Да хорошего-то мало!

Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если бы сейчас была вчерашняя возможность — ты бы вновь бежал? Только говори правду!»

— Немедленно! — с неразгаданным до того в нем упрямством ответил Ванюшка.

«Будем друзьями!» — размашисто начертил Сергей.

После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, «сухими», как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря «Г» в неизвестном направлении…

...Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана...

Штрафников было двенадцать человек. Их собрали с разных каунасских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде «найтить хоть одну махорчинку», как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет:

— Завел он всех в лес — а ить нас батальон полный! — и говорит: «Сымай шинели!» Ладно, сняли. Он опять говорит: «Примыкай штыки!» Примкнули. «Неожиданным ударом, — говорит, — отбить Петровскую!» Ну, и пошли мы, значит. К деревне этой по лошшине итить надо было, а ветер — спасу нима, нояберь потому был... Хрицы, знать, спали ишшо, не рассвело как надоть, и не видали нас. Эх, как закричали все «ура» — аш земля загудела — и пошли!.. Винтовка у меня об десяти патрон была, штык ишшо на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да-а. И вот аказия какая! Спят, черти, они в подштанниках! У нас ба, к примеру, за спанье в подштанниках на передовой — трибунал! А им — хоть ба хны!.. Я себе тоже бегу и «ура» кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу: из машины, што стояла под поветью хаты, выпрыгнул хворменно одетый, при хвурашке, и то туда, то суда обкружится, а не бегит. Оробел вконец, знать, дурак... Я эта к ему, а он бултых на коленки! И так мне было желательно кольнуть его — ну хоть ты што тут! Кольнул... Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречихой, ишшо потрескивает штой-то внутрях. Ну, и када штычок залез примерно по дулу вот тут, пониже сисек, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой — цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь! Бросил эта я «савате» свою, да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит... Задушил эта я его, взял «савате», как положено, и думаю: дай, думаю, загляну в автанабил, потому интересна. Полез. Гляжу — кулечки, коробочки какие-то... Разорвал одну — баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем питаке. Да-а... Перервал пополам — цыгареты! Э, думаю: стоп!

Ну, понятна, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно што казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. «Горшков, — говорит, — возьми винтовку свою, да на вот мешок, иди соломы набей в его и ко мне явись». Ну, думаю, в анбар

запрет, потому доказал хто-нибудь, што я во время бою на цыгареты трахвейные позарился…

Пока солому набивал в мешок — баночки в голянищу попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому на ем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу! «Пойдем», — говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю: обыск ба не сделал в голянище!.. Идем эта мы, и вижу, што не к анбару. Он на огород — и я. Он через тын — и я. Залезли в сад. Што, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. «Привяжи, — говорит, — мешок к сливине». Привязал. «А теперь, — говорит, — примкни штык и покажи мне, как ты хвашиста утром колол». Э-э, думаю, пронес Илья-пророк тучу! Не то! Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком — аш с дулом нырнул. «Вот, — говорит комбат, — так нельзя пырять. Я, — говорит, — видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо, — говорит, — у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе!» И целый час учил меня штыком пырять, пока солома не вывалилась из мешка… Ну, назад когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата — потому не посадил в анбар. Я и говорю: товарищ капитан, погодите. «Што такое?» — говорит. Сапог сниму, говорю, и сел на улице. Скинул эта я сапог, да второпях не тот. Скинул другой — баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» — спрашивает капитан и смеется. Ну я, понятно, сказал, што струхнул, думал, в анбар, и говорю: возьмите, товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек…

…Часов в двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день, в тяжелых деревянных колодках на ногах, Сергей и Ванюшка шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в восемнадцати километрах.

Глава восьмая

Саласпилсский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли высятся мотки проволоки-путанки «бруно». Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок; выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки…

Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями бродящих по протоптанным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка, к ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть.

— Это, наверное, из барака больных, — вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы «Долины смерти».

— Идите, ребята, в третий барак, вон там! — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички.

«Странно, — думал Сергей, — моя жизнь пленного началась в третьем бараке. Оканчивается она тоже в третьем... Но это же невозможно!.. Так умереть страшно...»

В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы — жирные, злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти — двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки...

Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга, два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то, только пленным ведомая, «питательная» трава «березка». Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали... На нарах, в изголовье каждого пленного, покачиваются маленькие примитивные «весы». Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в сто пятьдесят граммов разрезается на сто, двести долек.

Раскладываются потом эти крошки на дощечки и, наколотые на иглу, подносятся ко рту. Смакуется хлеб! Растягивается блаженная минута еды... Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз — полежу, полюбуюсь, — да так и останется лежать навеки. В «Долине смерти» создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять — дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день...

Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза-васильки.

— Мы тоже умрем? — просто спросил он Сергея.

— Нет.

— А как же? Мне уже трудно залезать на нары... а только пятый день тут...

В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову.

— Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем... Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба... Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда...

Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея.

— Нас шестьсот человек, — продолжал тот. — И если мы со всех сторон полезем на проволоку, то... человек сто останется, может быть, в живых...

— Нет. Я думал... Идите.

— Но почему же нет?

— В одну минуту... четыре пулемета выбрасывают... четыре тысячи восемьсот пуль... Восемь пуль на каждого... Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки... Каждый метр — три ступеньки... В минуту — шесть ступенек... значит — пятнадцать минут... Следовательно, сто двадцать пуль... на каждого. Идите...

Как-то вечером, перед тем как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный.

— Мы теперь живем, — зашептал он, — вот, глядите! — И опасливо, чтоб не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. — Ассенизатор мой земляк оказался... возит бочки за лагерь. Каждый день он будет давать нам по столько!..

По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни. Силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезилась смерть...

...Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Сучат в небо черными ветвями мрачные дерева, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятье. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, нижет его иголками прохлада вечеров. Редко выползают из бараков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы!

— Ты хочешь умереть, лежа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку.

— Как все, — тихо ответил тот.

— Но можно иначе… Хочешь?

— Да.

— Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас…

— Но лицо у тебя… и борода.

— Все равно ведь!..

На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два.

— Все бараки, за исключением пятого, — строиться! — прокричал полицейский.

Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону.

— Капитан Андреев!

— Я.

— Подполковник Полуянов!

— Умер вчера.

— Старший лейтенант Михайлюк!

— В пятом… умирает.

— Лейтенант Костров!

— Я.

— Воентехник Рябцев!

— Я, — отозвался Ванюшка.

— Умер.

— В пятом.

— Умер.

— Умер…

А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию…

Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да, им было теперь все равно, решительно все! Но — хлеба, ради Бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя, гауптфельдфебель, внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем.

— ...и будь в вагоне хоть маленькая дырка, проковырянная гвоздем, — все из вагона будут расстреляны.

Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку…

Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона.

— У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка, — под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке. — Больше в мешке ничего не должно быть!

— Понятно! — ответил тот.

Скрипели, покачивались вагоны, аукал паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.

— Гра-аждане, да што же это вы заду-умали? — послышался вдруг слабый стон. — Нельзя этого делать, расстреляют всех…

В вагоне поднялся испуганный шепот: угрозы, просьбы, одобрения.

— Хоть один останется в живых!

— Давай, давай, товарищ!

Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько. Мотнул головой — и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.

— А-а, дрянь! — короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом:

— Кто помешает — убью!.. Открою дверь — уйдете все… кто хочет и может!

Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням.

— Обмотку дай! — бросил Сергей Ванюшке.

За петлю над окном быстро привязал обмотку. Потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал:

— Одной рукой держись… Открывай вагон…

Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана.

Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.

— Никак! — слышится его голос, срываемый встречным ветром. — Тяжело… упаду сейчас!..

— Отталкивайся ногами! Сильней, ну! — кричит ему Сергей.

Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипеньем бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни.

«Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней. Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея.

— Давай, давай, парень, не задерживай! — слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину.

— Даю, ребята! — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке.

Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок, мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялится видавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц… Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат:

— Не надо! В окно вылезем!..

Цапнул Сергей второй рукой обмотку, лягнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос…

Глава девятая

Сергей долго лежал не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза — войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук.

«Может быть, это жизнь мертвого?»

Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу — скребанул ею сыпучее, корявистое.

«В земле я… зарыт!..»

Сидя выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку.

«Да ведь прыгнул из вагона!.. Пленный я!..»

Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее.

«А-а, ботва сахарной свеклы!»

Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия.

Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю.

«Я должен идти… где-то Ванюшка?..»

Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к «Долине смерти». Через двадцать, тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидать темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел-прополз Сергей. Ведь договорились: ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги; Сергей же — ему навстречу.

«Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон… но тогда будут пятна крови на шпалах и песке…»

Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, до рези в глазах вглядывался в запесчаненные спины шпал.

«Где же Иван?!»

Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни.

«Где же Иван?..»

Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно.

«А хороша, должно быть, свинина?.. И брюква тоже…» Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана.

Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея.

— Я… я не слабенький, Сергей… Это я… ну потому что… Ты же знаешь!..

— Ничего! От радости плакать можно… И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник! — в успокоение произнес Сергей.

…Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток.

Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в ста от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина…

Спит усадьба. Лениво жует жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают с сосен сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка: в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их — защищаться до смерти. Вот и нужны голыши… А тут еще усадьба помещика! О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши!..

Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны.

— Сорвать бы головочку, а? — шепчет Ванюшка.

— Попросим. Не дадут — тогда!..

Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюжка-занавеска.

Тук-тук-тук!

Тихо.

Тук-тук-тук-тук!

— Кас тен?[1]— доносится голос женщины на непонятном языке.

— Будьте любезны, — стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка, — вы понимаете по-русски?

---

[1] Кто там? — лит.

В комнате завозились, скрипнула половица.

— Кас ира?[2]

— По-русски, по-русски понимаете?

— Немного.

Дерюжка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки.

— Как... что... вы? — испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями.

— Дайте, пожалуйста, нам хлеба... немного.

— Вы... пленники? Только тише... хозяин там, — указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь.

— Да.

— Как же вам... Я не хозяйка. Работаю у них...

— Как жаль!

— Обождите, — оживилась девушка, — видите там... ну, я не знаю, как по-русски... вон она!..

— Кадка?! — подсказал Сергей.

— Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее... каткю... опрокиньте — и в сторону...

— Есть!

Приоткрыв крышку кадки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок кадку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца.

— Спасибо, милая девушка! Дай Бог тебе советского жениха! — обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей.

Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетаньем торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь.

— Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна — наш проводник. Она должна быть все время справа, — говорил Сергей.

Самое страшное в лесу — встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты

[2] Кто это? — лит.

по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла.

…Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы! Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд! Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд илистой реки… Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки… Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом, тинистом болоте.

К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жнивье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку-хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится за ними. Поле вскоре кончилось. Ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «тппрру». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду.

— Останавливаться не надо, — прошептал Сергей. — Это крестьянин пасет лошадей…

Из-за крупа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом.

— Здравствуй, хозяин! — приветствовали его беглецы.

— Аш не супранту русишкай. Мано жмона шек тэк…[3]

Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе.

— А ты, дядя, не полицейский? — серьезно спросил Сергей.

— О, Езус Мария, не, не! — поняв, замотал головой крестьянин. — На эйнаме! — настаивал он.

— Можно пойти, — сказал, подумав, Сергей. — Ведь в доме не знают, что он встретил нас… не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади — ты. В случае чего — вот! — мигнул на карманы с голышами…

---

[3] Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит. — лит.

Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать; подвешенная на веревке, болталась зыбка, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина.

— Тут, знаешь ли, свои, — буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана.

— Русские товарищи? — улыбнулась женщина.

— Вы нас извините, пожалуйста, — любезно проговорил Сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. Но это же был не он, не Сергей! Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно не бритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины.

«Как же они не боятся меня? — взглянул он на хозяина. — Это же не лицо!..»

— Иезас не понимает по-русски, — кивнула женщина в сторону мужа. — Да вы садитесь, — продолжала она, — тут никто не видит…

В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке…

После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка.

— Тпружиня, тпружиня! — негромко позвал Ванюшка.

Корова ответила доверчивым мычанием.

— Ручная! Подоим немного, — обрадовался Иван.

Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди. Вымя было влажное и горячее: видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать.

— Дай ей хлеба! — предложил Сергей.

Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени.

— Скорей, хлеб конч… — и, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом, жалобно звякнул

котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану…

…Дни конца сентября стояли погожие, солнечные.

Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по двадцать — двадцать пять километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шяуляй. Лежали на пути Паневежис, Даугавпилс, а затем — родная земля.

От Паневежиса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны.

Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги, и переставлять их было невмочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножья вороха соломы и подняли испуганный гвалт! Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.

— Извини, отец… Холодно, зашли вот.

— Невелика беда, служивые! — чисто по-русски ответил дед. — Зашли б в дом: я да бабка… Лесник я.

Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки.

— Без оружия вам не под стать. Берданка — милое дело!.. Вы ить на Двинск держите путь? А там эсэсовцев до черта в лесу… Ловят вашего брата, вон оно как!

Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам: «пожалуйста, дайте покушать», «где живет старшина и полиция?», «спички», «хлеб», «река», «дорога».

…Пообвыклись беглецы в лесной обстановке, от благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелей стучаться в окна, с трудом

произнося «прашау, докить вальгить». Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву.

— Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет, — вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба.

— Поздравляю! — пожал ему руку Сергей. — В ноябре мне исполнится двадцать три… К тому времени мы будем у своих!..

— А знаешь, давай устроим праздник!

— Как же?

— Разведаем с опушки леса отдельный домик, «спикирую» я в него, попрошу картошки… Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем… три.

Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз-васильков отказом «устроить праздник».

— Давай, — решил Сергей.

Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в «пике». Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой.

Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку…

Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем…

«Нет, не мог заблудиться Ванюшка!»

Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет. Другой был погружен в темноту.

«Не устроил ли Ванюшка „праздник“ в доме?»

Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали «чекалдыкнуть»…

«Неужели он мог?.. Но ведь бывает иногда и такое…»

По-пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка, не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтоб заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль, у печки, резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было.

«Что за черт! — мысленно выругался Сергей. — Кто может жить тут?.. Конечно, полицейские! Ванюшка в их руках!..»

Холодновато и горько стало во рту. Лапнула рука карман — шумнула в нем неполная коробка спичек.

«А если Ванюшка связан и лежит там... в доме?.. Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришпиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипеньем вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли...

Глава десятая

Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг впереди себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направление: шел, зажмурив глаза и протянув руки вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги то и дело по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальцы рук перестали натыкаться на скользкую холодную твердь сосен; сплошной колючий кустарник загородил путь.

Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочки и поваленные буреломом деревья, продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед вконец ободранные, исколотые ноги... Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, рассолодил дождь торфянистую илистую почву, вот и вязнет до колен беглец, шепча проклятья земле и небу... Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. «Болото!» — мелькнула страшная догадка, и, напрягая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, заливаясь в узкие глубокие воронки от увязающих ног. Крепки засосы трясины, не желающей выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад — топь. Влево — трясина. Вперед — вода и осока. Вправо — все вместе. Куда же?

«Вперед!., в... мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит... ползает она!..»

И пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки.

«Физику не забыл, скотина? Ну так дави равномерно всем телом на эту дрянь! Иначе — провалишься!..»

Сгартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь, скользкая и липкая грязь переливается по телу…

«Вперед!»

Залетают в мучительный оскал рта брызги, гуммиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока.

«Вперед!»

Черна октябрьская ночь. Водянисто прибалтийское небо, разбоен осенний ветер.

«В-пе-ред…»

Реже выбрасываются руки-плавники. Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, клонится она на мягкую подушку трясины…

«В-пе-е…»

Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена. Поправляет его изголовье, звонко смеясь, сестренка, сыплет, вкатывает в его волосы незабудки…

«Не надо, Аня… Мне так хорошо… Милая ты, славная у меня сестренка…»

Стоит на пороге мать, протягивает Сергею шарф, умоляет: «Кашлять будешь, родной. Одень…»

«Я сейчас вернусь, мама… Ты жди!»

Осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль, заставляет дрогнуть затихающее тело: «В болоте ты! Не отдыхай… Это смерть…»

«Ах да!..»

Хлюп.

Через три минуты: хлюп.

Через пять: хлюп…

«Какой мягкий наш диван… Ты не умеешь, Аня, вышивать медвежат на подушках… Выключи радио — шумит оно… Какие белые эти березки!.. Как тебя зовут? Ванюшкой? А-а!.. Почему тяжело, душно?.. Болото? Умираю? Сознание… Считай до десяти… Раз. Два. Три. Четыре… Три…»

Считай, считай!.. Ну, милый, хороший, считай!.. Четыре… Пять… Семь…

Считай, сволочь!.. Восемь… Девять…

Считай!

Счи-та-ай!

Счи-и…

«Смерть? Жи-ить хочу-у… жи-и-ить…»

Хлюп.

Хлюп…

Отдыхающим аллигатором растянулась поваленная сосна. Как невиданный осьминог, разбросал-раскидал свои щупальца вывороченный корень.

Хлюп.

Хлюп…

Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в ил.

«Не засосет… Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине… Значит — берег…»

От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом.

«Можно застыть… Подохну сидя. Надо двигаться… Не важно куда… просто двигаться».

Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая потягивание и зевоту.

«Болото. Нужно влево…»

Болото!

«Некуда. Островок…»

Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая руками изо всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности.

— Аа-ауу-о-о-аауу!..

Выл нудно, тягуче, и когда затихал — становилось самому жутко.

— Уу-у-ааа-ооо-ууу!..

Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уж больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами…

Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. Набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся, и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши стоящего в лесу дома.

«Пойду. Все равно…»

До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шел решительно, стараясь ничего не предполагать.

«Хуже смерти ничего не будет!..»

По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыхнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм.

«Попал!» — решил Сергей.

— Пожалуйста! — свободно и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка советского «Беломорканала» и лежала, видать, только что оставленная после чтения, «Правда».

— Пожалуйста, проходите вперед. Но... минуточку, вы мокрый и... Соня, Соня! Приготовь побыстрей белье и все верхнее... Да садитесь же!

Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел:

— Скажите... откуда это?

— Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши...

— Куда? — почти крикнул Сергей, не дав тому договорить.

— Понятно... в лес.

Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома и, не обращая внимания на рвавший тело сухой кустарник и хлеставшие по лицу ветки сосен, побежал, задыхаясь, вперед, в самую чащу леса.

«Конечно, они там! Куда же они еще?»

Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пятьдесят шагов — и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизнь!..

Молчит, злорадствует лес. Шепчут что-то невыразимо пошлое и нелепое друг дружке сосны.

— Ого-го-го! — закричал Сергей. — Това-аа-ри-щии! Ре-бя-та-аа!..

Молчит лес. Шушукаются, издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук...

...Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озимь полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять — пятнадцать километров, выбирал стоящий на опушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятой им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти.

«Я похож на испанского мавра», — иронизировал над собой беглец.

Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого

дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил хлеба на восемь человек:

— Семь моих товарищей за вашим домом… Ждут.

По паневежскому округу разнеслась весть, что неделю тому назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного «пленника» в Паневежис.

«Я достойно отомстил за Ванюшку», — думал Сергей.

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Сергей остался один. Около ста пятидесяти километров прошел он, оставив далеко позади Паневежис. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссейной дороги. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив «плащ» и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура.

— Простите, вы говорите по-русски?

— Немного.

— Я прошу у вас кусок хлеба…

В это время в сени вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе. Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца.

«Эсэсовцы!» — подумал Сергей. Мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными.

— Рэнки наверх! — по-литовски и по-русски крикнул выкатившийся в сени бандит, ткнув дуло винтовки в грудь Сергея.

— Ужейк и троба![4]

Сергей протиснулся в дверь и, оставляя следы на полу запеленутыми в тряпки ногами, прошел в угол. Комната была маленькая, но опрятная. Слева от двери стояла кровать, справа — стол и два стула; на полу была разостлана постель, и на ней спали два эсэсовца.

Введшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь.

— Что они со мной хотят делать? — обратился Сергей к хозяину.

— Отправят завтра в волость. В полицию…

— А-а!

Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула.

«Только бы не положили спать в комнате!» — думает он.

---

[4] Заходи в дом! — лит.

Исподлобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена.

— Что у тебя? — спрашивает хозяин.

— Короста... Знаете, такая? Ну, чесотка... И вши. Полтора года в бане не был... Много вшей... ходят поверху. Остаются, где сижу... При огне не видно только...

Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками жена его, слышит Сергей частое: «Езус Мария, Езус Мария!» Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая огарок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам.

— Пойдем спать! — выпрямляется хозяин. — Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции...

Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью.

— Ложись тут!

Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без «плаща». Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая.

— Подождем еще! — шепчет Сергей. — Погреемся пока...

Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой.

— Раз-два... Делай: раз-два! Раз-два! Раз-два!..

С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Покачивает ее, потягивает вверх, узнает: глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно подогнаны бревна — надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону. Оранжевые живчики запрыгали в глазах.

«Да ведь грабли это! Наступил я...»

Переломанные на четыре части, служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт.

— Нажми, товарищ Костров!

— Есть, товарищ лейтенант!

Обламываются, кровавятся ногти. Растет под коленями бугорок рыхлой земли. Растит он силы Сергея.

— Две минуты перерыв.

— Есть!

— Приступай.

— Есть!

И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях; нехотя, шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилиям.

— Еще нажим — и...

— Есть еще нажим!

А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечо. Ступая на носки, подошел к дому. Неслышно составил бревно, подперев им дверь, и, подхватив «плащ», отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома:

— Гады! Русского офицера так не возьмешь!..

Глава одиннадцатая

После оккупации Литвы в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожженных дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят в обмен на какое-нибудь старое ружьишко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулеметы.

— Пригодится, дай срок!..

Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтоб не видел полицейский, вдоволь накормит мужик «пленника», многое порасспрашивает у него.

— Послушай, товарищ. А скоро ли товарищи-то придут?

— А что?

— Да поскорей надо бы...

— Помогайте!

— Дак если б товарищи были поближе... Видней дело и сподручней тогда... Товарищ, а говорят тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему: «Я не Микол ай второй!» Правда аль нет?..

...Чертил Сергей поля и перелески узким, извилистым следом отказавшейся слушаться правой ноги. Раздулась она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глянцевитой синевой опухоли, и ноет нога непрестанно — тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами — и надолго остаются точки-вмятины на ступне.

«Эх, отвалилась бы ты к черту! — желает он, растирая ставшую как полено ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату. — Если бы это!..»

Ночью снял вожжи, вязавшие на лугу лошадь, и замотал ими «плащ» на ноге. В ступу превратилась нога, и лишь с помощью рук удавалось переставлять ее. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой.

«Хорошее дело — „плащ“», — грустно шутит Сергей.

За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотили сердце, заставляли подолгу сидеть.

«Но где же лес?»

Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнуло пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте.

«Где же?..»

Там, где белел опушенный инеем луг, у самой обочины группы низеньких домиков, серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны, на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь, побрел Сергей к лугу. Шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшуюся ногу. Проснувшиеся лохматки зачуяли беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они и через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть — выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюпкой поскакал мужик куда-то в сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена.

Около двух часов гладил-растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. Было теперь все равно: ни бежать, ни защищаться он не мог... В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею.

— Эй, бальшавикас! Шаутувас ира?[5]— крикнул один из них, остановившись метрах в пятидесяти от копны. Два других сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим движением Сергея.

— Ты бы тогда не мозолил мне глаза, фашистская гнида! — ответил Сергей, знавший, что значит «шаутувас» по-литовски.

— Кас?

Знал Сергей, что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании. Правда, лишались они при этом половины наградных (за убитого пленного фашисты платили пятьдесят марок), но, видимо, инстинкт бандитизма брал верх над чувством наживы...

Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте.

«Хотят живьем взять», — подумал Сергей, продолжая растирать ногу.

— Эйк ченай, китайп — нушаусим![6]— хором закричали полицейские. Но, видя, что Сергей не двигается с места, решился

---

[5] Эй, большевик! Винтовка есть? — лит.

[6] Иди сюда, иначе — застрелим! — лит.

тогда один из них на акт «героизма». Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею.

— Эх ты, мразь вонючая! — скрипя зубами, шептал Сергей, трясясь от злобы и отвращения, видя чуть держащегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку.

...Вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге «плащ», потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лежа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волостную тюрьму.

Начальник Купишкиской полиции, тучный низкорослый кретин, изо всех сил хотел казаться опытнейшим криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум; короткий, желтой кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умышленной рисовки голосом пел:

— Фами-и-илия?

— Руссиновский.

— И-имя?

— Петр.

— Из какого ла-агеря?

— Не был в лагере.

— Парашюти-и-ист? — удивился полицейский.

— Н-нет.

Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум.

— Парашютист?

— Нет!

Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедро револьвер.

— Давно в Литве?

— Отправьте меня отсюда.

— Последний раз: давно у на-ас?

— У вас? У кого это?

— Ахх!

Брызнули снопом горящие искры из глаз, рванул Сергей связанные руки, и повисли на запястьях бескровные шматки кожи.

— Убью до смерти... Говори-и!

— Говорить буду с немцами... с твоими хозяевами, холуй!..

Ахх!

Ахх!

Ахх!

...Память вернулась к Сергею в деревянном склепе с крошечным зарешеченным окошком. Из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и, собираясь в ямке впалой щеки, застывала, свертываясь. Затекли, устали связанные руки; давняя мучная пыль с пола щекочет нос, бьет тело чиханием.

«Какая же теперь моя фамилия? — силился вспомнить Сергей. — Росса... Русса...» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта.

На второй день в Купишкисе был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку...

От местечка Купишкис до похожего на него Субачюса — сорок километров. Но по тому, как пренебрежительно субачские полицейские относились к купишкиским, понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился с субачской тюрьмой, дверь его одиночной камеры с шумом отворилась и на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в черном. Сергей поднялся с пола и встал у решетки окна.

— Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве! — приближаясь, начал один в черном. — А? Расскажешь?

— Я шел.

— Куда?

— На мою родину...

— Родину-у? Мы тебе дадим ее... Атришките ям ранкас![7]

Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам.

— Сук![8]

Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями об пол. Руки его теперь покоились на спине, у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея навзничь, а вскинутые при падении ноги стали загибаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался воздух. Дыша трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые бессвязные слова полицейский:

— Где ты был, а?.. Сколько вас, скажешь?..

---

[7] Развяжите ему руки! — лит.

[8] Крути! — лит.

Колени Сергея, с сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, и что-то колючее хватко зажало сердце, легкие, грудь… Покатав пинками бесчувственное тело по полу, полицейские со смехом захлопнули за собой дверь камеры.

На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей, — он не знал. Может быть, потому, что там было немного светлей и вошедшие могли угадать в нем человека?..

И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею.

— Курить хочешь?

— Нет.

— На!

Полицейский протягивал толстую папиросу, Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался.

— На, говорю!..

Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку.

— Пофф!

Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.

Глава двенадцатая

В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилось гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв «СС». Жуткими, не вмещающимися в голове поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих… А за двести метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы.

…Скользя босыми ногами по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея:

— Кальт, менш?[9]

Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежскую окружную тюрьму.

— Эйнам![10]

Вновь заскользили ноги — теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни; на оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник, в дубленом тулупе и накинутом поверх брезенте, лениво распахнул железные ворота.

— Эйнам!

Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли.

— Тэйп, тэйп![11]— таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях.

— Су гинклу паэме?[12]

— Не понимаю.

Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила:

— По синим стреляют. Нас тоже. Считают…

И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке: в дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм.

— Пойдем! — обратился тот по-русски к беглецу.

В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

— Фамилия?

— Рус… Руссиновский.

— Лет?

— Двадцать три.

— Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно…

— Мне двадцать три года!

— Брешешь, сволочь! Какой веры?

— Самой глубокой.

---

[9] Холодно, человек? — нем.

[10] Идем! — лит.

[11] Так, так! — лит.

[12] С оружием взяли? — лит.

— Дурак! Веры какой, понимаешь?

— Я сказал.

— Идиот!

…Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. На стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем громыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. «33», «35», «37», «39»? «41» ‒ пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой «39». Огромный, похожий на пистолет ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу.

— Осторожно, отец, утонешь! — услышал он веселый голос.

— Вы русские? — обрадовался Сергей.

— Тут, дядя, со всех концов… и не принято расспрашивать — как, когда, откуда… понял?

В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать сто пятьдесят граммов хлеба, в обед и вечером — по пол-литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. И если он вернется оттуда, то дня через три, после переваривания резиновых бананов, пойдет на работу на сахарный завод, что в четырех километрах от Паневежиса.

Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок.

— Не спишь, земляк? — послышался шепот.

— Нет.

— Слушай: поведут на допрос, то… если заведут в подвал такой с водой — не бойся. По грудь только. Ну, само собой, холодная вода и тело режет так… Теперь: налево что дверь — там стреляют… Только мимо головы, на вершок так… Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь… пожилой человек… выдавать там кого — не надо… Сам знаешь…

Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словам: «пожилой человек… сам знаешь».

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросил он соседа.

— Ну, сколько есть… Тридцать восемь, сорок, может…

— Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три…

— Да ну-у? — удивился сосед и приподнялся на локоть. — Ох и испаскудили ж тебя, парень!..

В шесть часов в коридоре загремел бак с «завтраком». Заключенных выпускали покамерно, и они, получив «довольствие», ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу.

…Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от дверей по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо — длинный узкий стол и в углу — параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия — Руссиновский. Имя Петр.

Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, — сделано, пережито, окончено!.. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене.

Тук-тук… тук-тук-тук… тук… тук-тук-тук-тук…

Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась. «Э-э, так это же с первого этажа! — вспомнил Сергей вчерашний разговор. — Подо мной ведь камера смертников!» Сергей не знал тюремного разговора перестукиванием. А то можно было б утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе.

Продолжая ловить звуки непонятной жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул на стену.

Вся она, от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат — расстреляны в Паневежской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова — проклятья убийцам. Были куплеты красноармейских песен, и были саратовские непечатные частушки… И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист-стену из книги-жизни… На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз очинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел:

Часы зари коричневым разливом
Окрашивают небо за тюрьмой.
До умопомрачения лениво
За дверью ходит часовой…
И каждый день решетчатые блики
Мне солнце выстилает на стене,
И каждый день все новые улики
Жандармы предъявляют мне.
То я свалился с неба с парашютом,
То я взорвал, убил и сжег дотла…
И, высосанный голодом, как спрутом,
Стою я у дубового стола.
Я вижу на столе игру жандармских пальцев,
Прикрою веки — ширь родных полей…
С печальным шелестом кружась в воздушном вальсе,
Ложатся листья на панель.
В Литве октябрь. В Калуге теперь тож.
Кричат грачи по-прежнему горласто…
В овинах бубликами пахнет рожь…
Эх, побывать бы там — и умереть, и баста!
Я сел на стул. В глазах разгул огней,
В ушах трезвон волшебных колоколен…
Ну ж, не томи, жандарм, давай скорей!
Кто вам сказал, что я сегодня болен?
Я голоден — который час!..
Но я готов за милый край за синий
Собаку Гитлера и суком ниже — вас
Повесить вон на той осине!
Жандарм! Ты глуп, как тысяча ослов!

Меня ты не поймешь, напрасно разум силя:
Как это я из всех на свете слов
Милей не знаю, чем — Россия!..

…Чердак тюрьмы был полностью завален носильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос, Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, наркомвнутрдельские, летные фуражки и пилотки; сапоги, ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки — должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгальтеры, трико, ночные женские рубашки — в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, ссутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгальтерах, Сергей тогда почувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов… Не проходя, в горле, у самого кадыка, застрял комок чего-то горького, щекочущего нос и щиплющего глаза. И не выдержал: — Ш-што, господин начальник? Мерещутся? — кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он. — Не дают мертвецы спать? Жить? И не дадим! Вот! И детям вашим… тоже!.. Никогда! Каких людей… стихи на стене… Подлюги… вашу мать!.. На, на! Мерзавец! Снимай мои штаны! Я вам…

И, в бешенстве полосуя гимнастерку, захлебнувшись в сизой пене, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног…

Глава тринадцатая

Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея.

— С бураков поправляются, Руссиновский! — шутил щербатый Петренко. — И ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное…

До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить «ужин», съесть его и к десяти часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель, с чувством достоинства и превосходства, тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые пятнадцать минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие

минуты! Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она — и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в четыре часа пятнадцать минут утра за ними приезжали из гестапо…

Никто из заключенных тридцать девятой не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись, люди глубоко и устало дышали:

— Сегодня живы!

После свистка молча расползались по нарам, цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи.

— Не спишь, Петренко?

— Как и ты.

— Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе…

— Разве это меняет дело?

— Да не то! Видно, совесть их, што ль, начинает мучить… все-таки глядеть в глаза…

— Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как?

— Сам.

— Дурак!

— Может быть… А слушай, Петренко… ты как будешь… ну, стоять на коленях… или…

— Умру стоя!..

— И я…

Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками…

На пятый день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок тридцать девятой камеры.

— Бакибаев Муса!

Молчание.

— Серебряков Владимир!

— Петренко Иван!

— Григоревский Антон! Сдать все!..

Дверь захлопнулась. Онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко.

…В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В трех шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись, ежеминутно понукаемые, извозчичьи

клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея выдергивавшиеся из пролеток седоки.

У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на второй этаж.

— Зетц хир! (Садись сюда!) — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал:

— Комт! (Иди!)

В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир и он остался с двумя сидящими, видимо в ожидании его, офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал:

— Садись, товарищ!

Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков продолжавших разговаривать немцев.

— Сидеть не могу.

— Почему же?

— Раны там, — занес назад руку Сергей.

— Ах, это то, что в лесу?

— Нет. Палач в тюрьме…

— Ты — Петр Руссиновский? Это… это с группой в десять?

— Один.

— В Рокишкисе?

— В Купишкисе.

— В августе?

— Двадцать шестого октября.

— Ты не похож на русского… Арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром!.. А сколько времени?

— Двадцать пять дней.

— Это какого же числа?

— Мм... в сентябре.

Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белесых навыкате глаз, которые «говорили», что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея.

— Нет, нет. Лет сколько?

— Двадцать тр...

«Дурак, — мелькнула запоздавшая мысль, — за двадцать пять дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у двадцатитрехлетнего...»

— Двадцать восемь.

Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу.

— Как это было в самом начале?

— Нас вез...

Вдруг мысль вьюном ускользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись, тихо и плавно полетел в темноту...

Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея. Но гестаповец сидел на прежнем месте, не меняя позы.

«Ах, я ведь сижу!» — догадался Сергей.

Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это они меня бананом... но почему же я не помню когда... и не больно?» — удивился Сергей.

— Так... Значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину... А потом что?

Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове-комнате, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии.

— Потом? А-а, вот вы...

И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно и там дребезжит треснувшим армейским котелком.

— Да, да! Куда шел ты потом?

— В... знаешь?

— Что-о? Это как?

Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила, по синеве бритых щек запрыгали желваки.

— В сентябре попал в плен… везли. Я двадцать пять дней бежал… Все!

Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище:

— Я тебя вижу насквозь, мерзавец!

— Скверное удовольствие для тебя!..

— Где бежал?

— Близ… мм… Шяуляя.

— Альзо! — вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него…

И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло браунинга сычиным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то льнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий…

Глава четырнадцатая

Каждый день в шесть часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по пять, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни фамилия и имя «Руссиновский Петр» по нескольку раз повторялись начальником конвоя.

— Где Руссиновский? Где он? Где Петр Руссиновский?

Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал:

— Я!

Паневежис по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодоженства.

Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — чешут клумпы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах.

Ттрум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — и шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком; сплюснет нос о стекло окна неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять:

Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум…

На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труб сахарный завод. Пять водомойных канав, глубиною в восемь метров, были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линий железных колей, кучились бурты подвозимой в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На восемнадцатитонный вагон полагалось три человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод.

После допроса вот уже десятый день шел Сергей на работу. На вагон становился с двумя однокамерниками — замполитрука Устиновым и старшим сержантом Мотякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Мотякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого наголову своего батальона и бродили в лесах близ Паневежиса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало невтерпеж оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежища у крестьян. В сорока верстах от Паневежиса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, потом «присобачились», как говорил старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый разбитной характер Мотякина, за его чечетку под собственные губные трели-рулады и за сапожничье мастерство Устинова крепко полюбились хуторянам «гражус бальшавикай»[13]. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за десять километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине «герр оберст». Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд мотякинцев…

Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности! Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и, как ни старался Мотякин уничтожить это там же на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвастануть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подолы детей… И

---

[13] Красивые большевики — лит.

однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Мотякин и Устинов были схвачены, «как жирные перепелки», по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен…

С августа до ноября девять раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов, ознакомились со всеми видами пыток, побывав не в одной «студии». Но ни один из мотякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изречение: «Язык мой — враг мой» — и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в тридцать девятой камере.

Выгружая свеклу из вагона, Мотякин не переставал шутить, приставая к серьезному меланхоличному Устинову.

— Как ты думаешь… — громко произносил он и — тише: — комиссар, какую конкретную пользу приносим мы Родине тем, что киснем в тюрьме, а?

Устинов молчал.

— Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику… либавскую, например?

Устинов молчал. Тогда Мотякин отшвыривал вилы, выбирал три огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, а одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх:

— Находясь в застенках гестапо, — произнося это слово, Мотякин делал ударение на «о», — и кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу!..

Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженных винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах двадцать конвойных, с фронта и тыла — шесть. Мысль о побеге в дороге была, таким образом, явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходящие с завода, и издали наблюдали за работой заключенных.

Сергей, Устинов и Мотякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена: неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено: как только смолкнет гудок завода, означающий шесть часов вечера, Устинов и Мотякин ложатся в

бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Мотякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезет под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту…

…Было ветреное и морозное утро. Черной бездной зияло над тюрьмой небо, рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор; теснились в кучу, теперь все равные в серых халатах — политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие советской власти, укрыватели «товарищей»… и прочие и прочие…

Мотякин «стрелял» окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурок между пальцами.

— По разу потянуть вам, — говорил он Сергею и Устинову. Сам он не курил. Мотякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это последнее утро, встречаемое им в тюрьме: в этот день решено было бежать…

А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру.

— На допрос пойдешь, — шепнул Мотякин. — Мы возвращаемся… Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра…

Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием «ненависть и борьба», — только, шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде.

«Развинтились, проклятые! — обозлился Сергей на свои нервы. — А ну, взять себя в руки!»

«Есть взять, товарищ лейтенант!..»

В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. По тому, как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще не виданное здесь.

— Ви бежаль, что кушаль котель, я?

— Да.

— Ми понимайт. Ви — юнга… мелет еще. Ви любийт сфобот, природ, я?

— Как и вы.

— О, корошо, корошо… Ви курите? Пошалюйст, фот… Ми вам не будем уже тюрьма… ви будете у нас, корошо? Ми не будем работайт… будем поекайт в лес… ви рассказайт, где шифет ваша, што бежаль… рассказайт, кто даль кушайт… Корошо, я?

Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея: «А что, если поехать с ними в лес?.. Два — это немного… но если только два!»

— Когда вам рассказать? — живо спросил Сергей.

— О, сказайт сечас… поекайт зафтра.

«А-а, подлюги, одного боитесь!» — опечалился Сергей и ответил:

— Я бежал один.

— Ви рассказайт, кто кушаль дафаль!..

— Я не заходил в дома. Я… воровал.

— Што фарафаль?

— Все… морковку, картошку…

— Што есть — фарафаль?

— Это значит вот так, — показал рукой Сергей.

— О, ви не стелайт так. Ви кушаль клеп и млеко… Тафаль литофци, корошо, я?.. Ми тафайт им марк, што они тафаль вам кушаль!..

— Как жаль! Я этого не знал… Я бы не воровал, а заходил в дома…

— Ви не мошна фарафаль! — обозлился гестаповец. — Ви кодиль дом!

— Я не заходил в дома!..

— Ви не кочет сказайт? Ми будем сечас расстреляй тебя!..

— Я не заходил в дома!..

— А-а, ферфлюхт, мистр-менш!

Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают…

— Комт!

Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.

— Кушайт! Кушайт! — наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок.

Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.

— Кушайт! — И удары ног валили его вновь на пол.

Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем

пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой доске змеилась, виляя, живая лента крови… Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени.

А-а, проклятый червь навозный.

— Сечас рассказайт, кте кушаль! Не рассказайт — стреляйт!.. Айн… Цвай…

— Рассказайт!

— Цвай!

Сергей, прижав к носу рукав халата, чтоб задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненые дула браунингов.

— Драй!..

Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застлала коричневая теплая пелена.

— Рассказайт!

Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки.

«Чем они стреляют? Я, кажется, жив… А-а, это ведь крошки цемента от стен… Стреляют не по мне…»

И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену.

Тах-тах!

— …сказайт!

Тах-тах!

Потом хлопнула не видимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина… А вечером, по пустынным улицам, Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.

Глава пятнадцатая

Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам.

— Ситуация осложняется, братцы! — говорил по этому поводу Мотякин. — Мы катастрофически рискуем лишиться баланды… Но, — продолжал он, — чем хуже — тем лучше! Как думает комиссар, почему? — обращался он к Устинову. — А потому, — отвечал он же, — что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе…

Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения.

Постепенно вагоны пустели. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка, лишь через два вагона от мотякинского, копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться: народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками.

— Я отправляюсь на рекогносцировку, — доложил Мотякин и прыгнул из вагона.

Быстро оглядываясь, он начал разрывать бурт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Мотякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и Устинов.

Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток к построению.

— Успеть бы! — шептал Сергей. Спрыгнув в бурт, принялся руками ровнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Мотякин и Устинов.

Пронзительные переливы свистка настигли Сергея под четырехосным вагоном. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера вывозимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза, да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, недосчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам…

Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердца. Во всем теле ощущались торопливые толчки, онемевшие от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью.

«Крепись, лейтенант!.. Может быть, это последнее…»

Пучком ржаной соломы качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разостлался за вагоном, а растаяв в пространстве, снова родился под животом у Сергея… Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное, он тяжело дышит от неудобной позы.

«Может быть, это последнее…»

Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумпы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно:

— Ченай! Ченай![14]

Оброненный им фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конвоиру. Тот, бормоча проклятья или молитву, полез на бурт, скользя и падая на обледеневших бураках.

Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин было раскрошено о его голову, спину, грудь: не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец — не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать…

«Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Мотякин начал разрывать бурт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка.

— Ну, кур дар ду?[15]

— Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди!..

Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросился на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину.

В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженными ежиком волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом.

— Почему бежал?

— Это мое право.

— Ты сейчас увидишь свое собачье право!

— Знаю… твоя постыдная обязанность!..

Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден, что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу, у горна, зазвенела охапка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея…

В тридцать девятой потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчанье и тоске коротали вечера.

Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило Паневежис к набухшей водой земле, грязные лохмотья туч царапали гноящиеся по утрам дровяным дымом култышки труб. Опростоволосившиеся деревья притюремного парка скулили свистом веток о

---

[14] Сюда! Сюда! — лит.

[15] Ну, где еще двое? — лит.

запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным.

Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтоб не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами.

На пятый день после того, как из тридцать девятой камеры Мотякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми истуканами стыли у стены, ожидая свистка к отбою. Под учащенное дыхание девяти человек вдруг осклабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель.

— Попов! Куликов! Приготовить вещи. Руссиновский! Приготовиться в кузницу!..

Громыхнув цепью, Сергей подошел к нарам и закатал валиком постель и халат…

…В одном исподнем белье, заломив руки, сидели, тесно прижавшись один к другому, четыре человека. Теперь с вошедшими смертников было семеро. Глаза каждого казались дегтисто-черными: зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом. Мысль, что вот уже завтра их не будет в живых и никогда потом, кидала людей то из угла в угол поодиночке, то в одну тесную кучу. До крови грызли руки, пальцы вырывали пряди волос. Но нет, это не сон. Это — быль и явь, это — неумолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры!..

Измучив вконец тело, мысль о смерти на минуту притуплялась, терялась в веренице других, ею же вызванных. Вот он сидит, смертник, тихо уставившись черными глазами в угол камеры. По судорожно сжатому рту его скользнула чуть уловимая улыбка. Что ж! Он вспомнил почему-то май, что был пять лет тому назад. Тыквы куполов Новодевичьего монастыря до рези в глазах горели тогда в лучах нехотя уходившего за Воробьевы горы солнца. Таня… тогда еще Татьяна для него, шла вся голубая: платье, лента в русых косах, глаза… У самой стены монастыря он рассказывал ей что-то очень простое и обычное из студенческой жизни, но тогда казавшееся ему интересным и особенным; они оба искренне и весело смеялись, и, конечно, не над тем, что он рассказывал. Просто хотелось тогда смеяться, прыгать и посылать воздушные поцелуи через Москву-реку всем карнизам цехов Дорхимзавода… Потом сын Вова, потом война… потом — плен, и… дергался замечтавшийся смертник, вскакивал на ноги, стягивал ворот посконной нательной рубахи до хрипоты, до пепельного налета на лице…

В середине ночи, часа за три до времени расстрела — четырех часов пятнадцати минут, — не выдержал один из обреченной семерки. Сняв кальсоны, он яростно начал разрывать их на части. Затем, связав из кусков длинную ленту, дико прыгнул на нары и замотал один конец за свисающее с потолка кольцо, другой за шею. Никто не мешал самоубийце. Зачем?.. Подогнув ноги, он резко опустился, и скрежет зубов и хрип горла вытолкнули синий клубок пены на волосатый подбородок…

Закинув руки за голову, Сергей ходил по камере. Нет, теперь уж ничего, ничего нельзя было сделать… Оставалось последний раз прошагать мысленно свои двадцать три года. Нет, в прошлом все было как надо… Иначе он и не мог. Только так, как было, и должно быть! И только обрыв этой немноголистной повести нелепый… без подписи, без росчерка…

Глава шестнадцатая

Страх, как и голод, истерзав и скомкав тело, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрастье, и лишь инстинктивная воля к самосохранению согнала всех в тесную кучу в дальнем углу нар.

Тело удавленника, нелепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры. Длинный раздувшийся язык бычиной селезенкой выполз изо рта висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди.

Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом горловым испуг и муки, протест и жалобы. Пусто в голове. Лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без устали удары-секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? Ну, замри на минуточку, останови ночь! Ты знаешь ведь, сердце: мы мало жили… Слышишь, мое сердце? Знаешь? Я хочу жи-иить!!!

И в назначенное время услышали смертники за дверью топот кованых сапог и грохот открываемой двери. Вот оно! Как подброшенные током огромной силы, вспрыгнули смертники на ноги и… стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповца в черных клеенчатых плащах. Словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «С нами Бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя

и давний знакомый Сергея — начальник вещевого склада — стояли поодаль у самой параши.

— Куликов!

— Попов!

— Руссиновский!

Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего.

— Я — Попов…

В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос, серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов.

«Такие не ползают на коленях!» — подумал о нем Сергей и, подойдя к Попову, стал рядом.

— Я — Руссиновский.

За дрыгающие желтые ноги и дулей выпятившуюся голову на длинной шее принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. Неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кальсоны.

— Идемте со мной!

Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом ступили за ним.

— Раус! — гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова.

Двери камеры захлопнулись, прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трех смертников с одним повесившимся.

— Наслаждаетесь, господин начальник? — спросил, вздрагивая ноздрями, Сергей. — Куда ведете?

— Одевать вас.

— Зачем?

— Приказано. Отправлять будут.

— В лес?

— Туда вывозят голых… знаешь ведь…

…Над тюрьмой, в бездонной пропасти неба, пушистыми котятами шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника, наивными мотыльками кружили вокруг висевшей над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе, на тонком батисте молодого снега, только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея, Попова и Куликова у каменных ступенек крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два

жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее.

«Значит, думают, прямо тут...»

Эти два гитлеровца были хорошо откормлены. Высокостоячие фуражки, делая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать осиновым листом Куликов прилип к правой руке Сергея...

По сонным зловещим улицам Паневежиса в пять часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай «бонзы».

Жандарм. Три удивительно ровно и тесно идущие фигуры в сером. Жандарм.

Резкие, звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумп.

Пять странно движущихся людей пересекли весь город и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу.

— Что они думают делать с нами, Руссиновский?

— Не знаю, Попов. Видишь: увозят...

— Пальцы окоченели... Давайте в чей-нибудь карман всунем руки.

— Жить думаете, Попов?

— Вы это не одобряете?

— Напротив. Вы просто не теряетесь...

— И не советую вам, пока живы...

«Славный малый», — подумал Сергей и потащил вместе со своею руку Попова в просторный карман халата.

В вокзале было пусто и холодно. Два немецких солдата, увешанные амуничным скарбом, словно иранские ишаки хлопком, стоя у окна кассы, завтракали. Перед каждым на «Дойче цайтунге» лежала треть буханки хлеба, а рядом — оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Расставив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно, резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть артистом-хлеборезом или целый век прожить впроголодь, чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, «накладывался» маргарин: в баночку резко пырялся нож, затем обтирался о ломтик-листик хлеба...

Вокзальные часы показывали ровно шесть, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По

перрону сытой кошкой кувыркался ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пыхтящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. Одиннадцать маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло кукукнув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных застучали колеса вопросами: «Кто же вы? Кто же вы? Кто же вы?.. Куда едете? Куда едете? Куда едете?..»

Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживленны. По мостовой, гремя клум-пами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой соломы на спине; цокали извозчики; проносились грузовики. Из-за гряды домов, где-то впереди шагающих пленных, шприцем проколол небо красномакушечный костел. Но по мере того как передний жандарм, подрагивая жирными бедрами, уходил из улицы в улицу, костел отодвигался вправо, потом очутился позади. У приземистого черного здания с вывеской «Вермахт комендатур» жандармы остановились. На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова. А через час жандармы ввели скованных в обширный двор Шяуляйской каторжной тюрьмы.

Бледно-розовым утром двадцать седьмого июня 1941 года фашисты оккупировали Шяуляй. По пустым, словно вымершим улицам днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города, у озера, не умолкали трели автоматов. Девять концлагерей тесным кольцом опоясали Шяуляй. В двух лагерях — физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные.

В Шяуляе самое большое здание — тюрьма. Величественным замком высится она на отлете от города, мерцая узкими окнами пяти этажей. В конце 1941 — начале 1942 года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридорах, в четырехстах камерах, на чердаке — всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Было их там не одна тысяча. Их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифа и голода убирали с первого этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количеством вшей.

По утрам шесть автоматчиков заходили во двор тюрьмы. Три фургона, наполненные мертвецами и еще дышащими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили пятьдесят пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от

города в четырех верстах. Из ста пятидесяти человек, везущих страшный груз, доходили туда сто двадцать. Возвращались восемьдесят — девяносто. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно.

Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он тридцать два патрона на пленных. Один фургон был специально закреплен за ним…

Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним — поджарые, похожие на гончих сук три немки, одетые в форму сестер милосердия. Тогда из пленных тщательно выискивались наиболее избитые и измученные. Их симметрично выстраивали у стен. С нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним «сестры», становились в трех шагах спереди, а тем временем комендант щелкал фотоаппаратом. Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фургоны. Под снимками пестрели пространные подписи о том, как немецкие сестры милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии германского фронта…

Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских коммунистов, антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редели пленные, становилось просторнее в тюрьме, и наконец она совсем освободилась.

Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одну из майских ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках. То рабочие из города тайком от фашистов пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей… А на заре, встречая солнце, маленькая красногрудая птичка весело славила братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-обелиске, что появился на братской могиле замученных. Корявые, тугогнущиеся пальцы деповского слесаря выгравировали долотом на камне простые слова большого сердца:

«Пусть вам будет мягкой литовская земля».

У подножья обелиска просинью девичьих глаз пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачовой лентой…

На третий день после этого немцы выставили на кладбище часового.

Глава семнадцатая

Камера Сергея была на пятом этаже и выходила окном на город. Взобравшись на стол, Сергей подолгу глядел на густо

коптившие трубы завода, что наполовину виднелся в окно, на горящую склень озера у самой тюрьмы. Переводя взгляд на город, Сергей видел лишь разноцветные крыши домов. Казалось, будто город накрылся от декабрьского холода огромным детским одеялом из лоскутков…

Режим Шяуляйской тюрьмы мало чем отличался от Паневежской. Те же сто пятьдесят граммов хлеба в сутки и два раза баланда; так же не разрешалось за целый день присесть на край нар. По субботам заключенных сгоняли в тюремную католическую церковь. Помещалась она на пятом этаже в обширной и светлой комнате. В правом углу стоял довольно стройный орган. Под его звуки хор из надзирателей под управлением тюремного палача пытался петь что-то жалобное и проникновенное…

Порядок расстрела в Шяуляйской тюрьме был иной. В тот момент, когда огромный, крытый черным брезентом грузовик гестапо заезжал во двор тюрьмы, по разным камерам надзиратели и жандармы выискивали тех, кто значился в списках. Им связывали позади руки мягкой проволокой, и если обреченный сохранял мужество, то сам залезал в «Тетку Смерти», как заключенные называли грузовик, а если кому изменяли силы — его легко подхватывали гестаповцы и забрасывали в автомобиль.

Камера Сергея была обширной. Сидели в ней четырнадцать литовцев, Попов с Куликовым и молодая женщина с грудным ребенком. Камерная печь топилась один раз в три дня. Постоянный холод и сырость заставляли заключенных с раннего утра до отбоя становиться в круг и шагать, шагать по камере. Надзиратели разрешали женщине сидеть на нарах. Прижав желтую головку спящего ребенка к груди, мать постоянно подолгу глядела бархатными миндалевидными глазами в одну точку. Потом, встряхнув головой, словно спугивая надоевшую муху, поправляла тряпье на ребенке — и сколько было в этих осторожных движениях непринужденного изящества, сдержанности и спокойствия!

Ребенок плакал не всегда. Иногда этот крошечный девятнадцатый член камеры пробовал предъявлять свои права на жизнь и свободу. Ворочаясь, он пытался высвободить руки из разноцветного тряпья, и мать, улыбаясь ему, говорила тогда с ним медленно, слегка заглушенным голосом и почти проглатывая букву «р». Однокамерники отвели ей место у самой печки. И когда днем, сидя на нарах, она вдруг в тревожной дреме закрывала веки с длинными, стрельчато загнутыми ресницами, шагавшие по кругу заключенные останавливались, снимали с ног клумпы и, взяв их в руки, босиком продолжали путь…

По утрам, получая пайки хлеба, семнадцать «жертвовали» на ребенка. Целая горка ломтиков в двадцать пять граммов вырастала

на коленях женщины. Тогда ее печальные глаза застилались влагой подступающих слез благодарности, она отказывалась, просила, протестовала, но семнадцать человек, внеся ей свою долю, как-то неловко ступая, поспешно отходили в сторону, в противоположный угол.

По ночам нависшую глыбу тьмы и безмолвия часто колыхал звонистый плач ребенка.

— Покентек, мано ангелели! Нябяилгай текс мумс лаукти![16]— звучал нежный успокаивающий голос.

И женщина не ошиблась. На пятый день ее заключения, судорожно прижав притихшего ребенка, она — жена литовского красного партизана — спокойно и молча взошла по сходням в «Тетку Смерти»...

Шел 1943 год. Попова и Куликова давно перевели в другую камеру. Сергей остался один среди литовцев. От постоянного ли недоедания или от холода распухли ноги. На сжиме под коленями и у ступни лопалась кожа, и из незаживающих ран сочилась красноватая жидкость. Часто кружилась голова и шла кровь носом. Тело покрылось пузырчатыми струпьями. И однажды в середине дня Сергей услышал свою фамилию. Пошатываясь и волоча клумпы, он вышел в коридор и спустился с надзирателем на первый этаж. В вещевом складе ему подали ветхую красноармейскую гимнастерку и шлем.

— А штаны получишь в лагере, — объяснил надзиратель.

Январский день был чистым и глубоким. Взбесившейся кошкой вцепился мороз в колени Сергея и начал разрывать их невидимыми когтями под кальсонами...

Под вечер Сергей вошел в ворота первого лагеря военнопленных в Шяуляе. Через огромный двор, петляя между четырьмя бараками, вилась лента пленных, построенных по два: было время получения баланды — литрового котелка на двоих.

Бараки первого лагеря были обширные, с двумя линиями трехъярусных нар. Закрывались на ночь они замками; во дворе рыскали овчарки. В бараке, куда затиснулся на ночь Сергей, по пазам неплотно сдвинутых стенных досок вытянулись желто-белые полосы льда и снега. Около единственной железной печки всю ночь напролет стоит очередь. Пленные держат в руках две-три щепки, а в карманах две-три мерзлые картошки, добытые где-нибудь днем. Не имеющий дров входит в долю исполу, то есть половину имеющейся картошки отдает обладателю щепки и таким образом приобретает право на печку.

---

[16] Потерпи, мой ангел! Нам уже недолго осталось ждать! — лит.

Сергей устроился на нижних нарах. Голову бросил кому-то на клумпы, ноги затерялись где-то под худыми телами соседей, прижавшихся с боков в поисках тепла. В пять часов утра, крестя направо и налево ремнями и палками, «полицаи» произвели подъем. К тому времени во дворе уже стояли построенные по четыре жители остальных бараков: предстояло получение шестисот граммов хлеба и котелка теплой воды на четверых.

Жал мороз. В пролеты бараков, где стояли пленные, устремлялись снежные вихри. Ветер трепал полы шинелишек, давно потерявших вид и форму одежды, без единой пуговицы и крючка. Сосед Сергея поминутно выбегал из строя. Цокая клумпами и размахивая рукавами, он почти кричал от холода:

В темноте никто не видит тут и там.

Приходи, кума, за хлебом — хлеба дам!

Пока он отплясывал, строй подвигался на несколько шагов вперед. «Кум» терял свою шеренгу и, видимо имея в виду Сергея, звал:

— Эй, длинный в кухвайке! Где ты?

Ящик с хлебом стоял в пяти шагах от кухни. Подходившая шеренга в четыре человека получала из рук «полицая» серый кирпичик и самостоятельно забирала котелок с водой, стоящий на окне кухни. Хлеб брал левофланговый, «чай» — кто был справа. После этого четверка отходила в сторону и принималась за дележку.

Сергей не видел, кто взял хлеб. Задев его локтем, назад метнулся, держа на отлете котелок с водой, «кум». В ту же минуту сосед Сергея слева, также не принимавший участия в получении своего дневного пропитания, закричал истошным слезливым голосом:

— Да дяржите ж их, граждане! Дяржите!

— А пошто?

— Всю корвегу хлеба унесли!.. Дяржитя-а!

Обернувшись, Сергей увидел, что они остались вдвоем. Хлеб, «чай» и два человека из его шеренги исчезли, затерявшись в предрассветной мгле и толпе до капли похожих друг на друга пленных…

В семь часов утра к лагерю приходят конвоиры и уводят пленных на работы в город. Оставшихся в лагере немцы разбивают на группы и до часу дня гоняют вокруг бараков. Тремя, четырьмя кучами по двести — триста человек топчутся, пошатываясь, по огромному кругу пленные. Немец зорко смотрит за теми, кто отвернул на уши от нестерпимого холода поля пилотки или всунул руки в карманы шинелишки. Такие отводятся в сторону, раздеваются догола и, опираясь на руки и пальцы ног, пятнадцать минут «делают мост».

— И скажи на милость, как любят они мучить людей! — печалятся в толпе.

— И каждый день ить…

— На то ен и немец… в прамать!..

— Хвиззарядка потому…

— Грехи наши тяжкие…

В час дня топтанье по кругу прекращается. Пленные получают котелок баланды на двоих, тут же, на улице, съедают ее, а с двух до пяти часов вновь принимаются ходить. За весь день никто не смеет зайти в барак….

…И вновь в мучительном раздумье Сергей начал искать пути выхода на свободу. И вновь по ночам, ежась от холода, раздирая тело грязными ногтями и выковыривая впившихся в кожу паразитов, рисовал соблазнительные и отчаянные варианты побега. Знал: не один он лелеет эту мечту. Но не говорят в лагере открыто о ней, носят эту святую идею осторожно и бережно, выискивая тех, кому можно ее доверить.

Шел март. Наступала весна 1943 года. В полдни подсолнечные стороны бараков уже начинали нагреваться, длинней и голодней становились дни. В лагере подсыхала грязь. На раките, что была заключена немцами в лагерь вместе с пленными, набухали лоснящиеся красноватые почки. Они были клейкие и нежные, во рту отдавали горечью и тонко пахли лугом.

«Бежать, бежать, бежать!» — почти надоедливо, в такт шагам, чеканилось в уме слово. «Бе-ежа-ать!» — хотелось крикнуть на весь лагерь и позвать кого-то в сообщники… Нужен был хороший, надежный друг.

И лип Сергей к разговору кучки пленных, прислушивался к шепоту и стону, ловя в них эхо своего «бежать»…

1943

Василь Быков
(1924–2003)

Мертвым не больно

Глава первая

Звонит телефон, и она берет трубку.

Мы враз притихаем. Навалившись на отполированный, широкий, точно прилавок, барьер, мы с нетерпением ждем ее слова, которое должно либо разочаровать нас, либо обрадовать. Вообще-то мы готовы ко всему, было бы только что-то окончательное. Хуже всего в жизни — неопределенность: она отнимает волю к действию. Но женщина, словно избегая того и другого, озабоченно хмурит тонкие подведенные брови. Минута внимания, торопливые отметки в бланках, что лежат перед ней на стекле, скупые профессиональные вопросы кажутся необыкновенно долгими. Наконец она отрывает от уха трубку.

— Товарищи, мест нет.

Над барьером — трудный, продолжительный вздох, разрозненные движения уставших от долгого стояния людей.

— И не будет?

— Не могу сказать.

Снова неопределенность? Жаль.

А гостиница добротная. Считай, в самом центре. С одно-, двухместными номерами. Белокафельными ваннами. Зеркальной желтизной паркета. Царской ширины кроватями в номерах. В длинных, на целую улицу, коридорах такие же длинные мягкие дорожки. Между этажами снуют быстроходные лифты. Вежливые тети-горничные первыми здороваются с постояльцами. Такое запоминается. Особенно провинциалу, который раз в год попадает сюда по делам службы. Правда, немного пугает цена, к командировочным приходится добавлять из своего кармана. Но изредка это можно себе позволить. Тем более в годовщину Победы. К тому же выбирать не приходится — в других гостиницах давно уже ни одного места.

Вот только это ожидание…

Напротив за круглым столом освобождается стул (кто-то не выдержал), и я вылезаю из очереди. Лысый, сутуловатый человек с «Известиями» делает за мной шаг вперед. Он побережет место, а мне уж невмоготу: ноет нога. Мой мучитель — протез — с первого же шага противно скрипит. Сосед сзади опускает газету. «Молодой, а гляди ты! Калека…» — наверняка думает он. Я отлично угадываю

слова и мысли, которые возникают у людей при виде моего увечья, и мне это, признаться, довольно-таки осточертело. К своей незавидной судьбе я уже привык. Правда, за двадцать лет бывало всякое. Случалось, и мучился. В самом деле, еще подмывало припустить за мячом, как стал инвалидом.

Стараюсь ступать как можно ровнее. Кажется, получается лучше, во всяком случае, тише. Но скользкий паркет выдает мою скованность, и опять — приглушенный скрип протеза. Жуликоватый на вид мастер, который его ремонтировал сегодня, говорил, что «притрется». Но вот не «притирается». За столом молодой парень в таком же пестром, как и на мне, пиджаке уважительно подбирает ноги.

— А вы бы ей документы показали. Зачем торчать в этой очереди?

Как всегда, от чужого сочувствия становится немного не по себе, и я бормочу что-то виновато-неразборчивое.

— Должны найти. Неужто для инвалида войны не найдут одного места? — говорит он и, нахмурившись, начинает приводить в порядок ногти.

Я не очень ловко опускаюсь на стул. И откуда ему известно, что я — инвалид войны? А может, несчастный случай? Нарушение правил техники безопасности? Хотя, конечно, выдает возраст…

Парень между тем держит себя так, будто больше меня не замечает. Все его эмоции скрыты под маской холодной сдержанности. Но я чувствую: ко мне он дружелюбен, только маскирует это свое чувство, так же как и любопытство. Почему-то в отношениях между мужчинами так принято, будто выдать свое расположение — слабость.

А мне он чем-то положительно нравится. Может, именно вот этой замкнутостью, которая всегда заставляет предполагать серьезность и независимость характера. Хотя молодости, пожалуй, больше импонирует искренность. Серьезность и характер приходят с годами, а у молодых подкупает открытость. У этого же сосредоточенное, не очень располагающее к себе лицо. Аккуратная свежая «канадка». На лацкане однобортного пиджака синий эмалевый ромбик. Ясно, технический вуз. Видно, какой-нибудь инженер, приехал издалека по делам производства. Дома молодая жена, ребенок, малогабаритная квартира где-нибудь на верхнем этаже в новом квартале. И, понятное дело, самая интересная в мире отрасль — электроника или радиотехника. Теперь это сфера увлечения многих. К сожалению, мы в таком возрасте занимались другим, потому и остались, по существу, недоучками. Хотя ничего не поделаешь: время было иное. Каждый мужчина мерил свою ценность солдатскою меркой. Артиллерия, танки, авиация —

думалось, это надолго, если не на всю жизнь. Но война порешила иначе. Сколько она отняла сил, засушила талантов. И вот результат — сельский культпросветработник. Сорок рублей зарплата.

Парень замечает мой взгляд и мое затаенное к нему любопытство. Дальше молчать нам уж просто неловко. Он вынимает из кармана пачку «Шипки» и привычным жестом протягивает ее мне:

— Курите?

— Нет, спасибо.

— Бросили или не начинали?

— Когда-то начинал, да помешало ранение.

В секундном недоумении он поглядывает на мои ноги, затем более продолжительным взглядом окидывает борты пиджака. Я его понимаю без слов: какая может быть связь между ранением и куревом? Но стоит ли упоминать еще и о ранении в грудь, которое чуть не окончилось для меня финалом? К тому же парень, наверно, ожидал увидеть на пиджаке орденские планки. Конечно, он человек образованный, кое-что читал про войну и, пожалуй, готов видеть во мне героя. Но оттого, что уже надоело объяснять все это, теперь я молчу. Парень прикуривает сигарету и круто поворачивается на стуле. Возле администратора начинается оживление. Не появились ли вдруг места?

Нет, кажется, тревога напрасная. В очередь пробует влезть какой-то простодушный дядька. Он в новой стеганке, с огромным чемоданом-сундуком и полной сеткой батонов. Наверное, из деревни. Становиться в хвост очереди дядька не хочет и плечом и локтем пробует втиснуться между толстяком с пакетом под мышкой и человеком в кожаной куртке. Толстяк с опозданием поднимает тревогу:

— Куда лезете? Куда лезете? Вы где стояли?

— Ну стоял. Ну! А как же, если бы не стоял! Стоял. Что я, врать буду?

— Где, покажите, где вы стояли?

Дядька, видно по всему, нигде не стоял, но он во что бы то ни стало хочет занять место поближе к администратору. К тому же он успел уже просунуть между людьми руку и вцепиться в никелированный бортик барьера. Теперь дядьку не сдвинуть. Многотерпеливой очереди это, ясное дело, не нравится, и она множеством глаз молчаливо осуждает нарушителя гостиничной этики. Из-за барьера в конфликт уверенно вступает администраторша.

— Дядька, а паспорт у вас есть? — искушенно бьет она в его самое уязвимое место.

Дядька растерянно переспрашивает:

— Кого?

— Паспорт! Паспорт, говорю, у вас есть?

Должно быть, понимая всю сложность своего положения, дядька старается выиграть время. Мнется, дергает плечом, лезет зачем-то в карман, сдвигает на затылок черную кепку. Но очередь ждет, и отвечать, хочешь не хочешь, надо.

— Паспорт? Да это самое… Какой паспорт? Паспорта нету.

— А что же вы лезете? У нас строгий паспортный режим. Мы вас не можем поселить без паспорта.

Дядька внимательно выслушивает женщину. Голос администраторши незлобивый, с нотками сочувствия, обмана не должно быть, и дядьку это повергает в смущение. На морщинистом лбу его бисером выступает пот. Минуту дядька раздумывает, но руки от барьера не отнимает. На всякий случай.

— Вам же русским языком объяснили! — нервничает толстяк. — Вы что, не понимаете? Это хамство, в конце концов.

Однако действительно похоже, что дядька не понимает или, может, не хочет понять. Тогда из очереди к нему выскакивает вертлявый, разбитной с виду человек. Всепонимающим взглядом гостиничного старожила он бегло окидывает дядьку. Черный плащ на его плечах шуршит, как жестяной.

— Я сейчас ему разъясню. А ну, гражданин, чуток в сторонку, чтоб не мешать и так далее. Куда вы встреваете? Вы понимаете? Вы что же себе думаете? А вон, гляньте, милиция. Да не туда смотрите — вон, возле швейцара. Видите? Ну вот! Стоит доложить и… Понятно?

Дядька озабоченно посматривает то на человека в плаще, то на милиционера у входа и начинает оправдываться:

— Да я что?.. Я ничего. Думал…

— А вы не думайте! Вы выполняйте. Порядок положено выполнять. За нарушение порядка — уголовная ответственность. А как же вы думали?

Очередь снисходительно наблюдает за говоруном и дядькой. Это забавляет. Некоторые про себя улыбаются. Ишь, «заливает»! «Заливает» действительно неплохо. Видно, опытный спец по такого рода делам, так как дядька вскоре, оглядываясь, боком подается к выходу.

— Дремучий народ! — пожимает плечом человек и облокачивается на барьер. — Так и норовит обойти закон.

— Законник! — язвительно проговаривает мой сосед и вытягивает под столом ноги.

«Законник» откровенно плутовским взглядом снизу вверх окидывает администраторшу и налегает на барьер. Через минуту он уже сыплет там шутками. И все у него получается легко и просто. Со

стороны кажется: весельчак-человек! Не то что остальные, в дремотном ожидании понуро стоящие возле барьера.

Мой сосед, однако, придерживается иного мнения.

— Развелось паразитов... Думаете, он так себе увивается? Тоже хочет без очереди влезть. Разве не видно?

Кто его знает? Возможно, и так. Минуту я наблюдаю, как он распинается перед администраторшей. Но очередь молчит, ничего плохого не подозревая, и я отворачиваюсь.

Сосед откидывается на спинку стула.

— Приспособились, как микробы к антибиотикам. Ни Уголовным кодексом, ни дружинниками, ни милицией — ничем их не проймешь.

Это, конечно, верно. Но мне как-то неловко хаять человека, которого совсем не знаешь. Парень подвигается на угол стола.

— Скажите, вот вы воевали. Неужто так же было? Или там все-таки по-другому с ними обращались?

Да, видно, на войне было несколько проще. Подлость там более заметна. Перед смертью, ясное дело, маскироваться труднее.

Но такого рода типы приспосабливались и на войне. Парень с легким недоверием выслушивает меня, вздыхает и вдруг окончательно сбрасывает с себя маску отчужденности.

— И все же я завидую вам.

Это у него вырывается по-мальчишески просто и так естественно, что не оставляет никакого сомнения в искренности.

И хотя я уже не первый раз слышу подобное, все же не могу не удивиться: чему люди завидуют? Знают ли они то, о чем говорят? Парень коротко поясняет:

— Вы если на что решались, так без оглядки. Не кривя душой. Если уж били, то размахнувшись — и до обуха!

Отчасти так, но на деле все было сложнее. На войне не слишком лицемерили, это правда. Но ударить на полный взмах не всегда удавалось. Были причины, которые придерживали за руку. Мой сосед курит, сквозь дым выжидательно поглядывает на меня. Я же молчу. Видно, надо ответить. Но одной фразой не обойтись. Нужен долгий разговор, который тут не к месту.

Глава вторая

В вестибюле приглушенный говор, стук дверей, то и дело доносится грохот машин с улицы. По ту сторону большущего окна безостановочно снуют люди. К вечеру на дворе потеплело. Унялся ветер. После долгих дождей распогодилось, подсохли тротуары. Кажется, началась несколько запоздавшая, но оттого еще более желанная весна.

Но вот в гостиничную суету врываются нездешние голоса — незнакомые слова, чужой напевный акцент. Несдержанный женский смех многих заставляет оглянуться. Толпа туристов, неторопливо вливаясь сквозь двери, заполняет просторный вестибюль. У подъезда за стеклянными дверями высится огромный, в эмали и никеле, заграничный автобус.

Возле барьера умолкают разговоры, лица поворачиваются к входу. Туристы не спеша, степенно и даже с какой-то ленцой вносят свои сумки, чемоданы, пледы. Усердствуют швейцары. На середине вестибюля, возле колонны, складывается багаж — целая гора из чемоданов. Мой сосед определяет:

— Французы! Нет, итальянцы! Хотите посмотреть?

Предусмотрительно оставив на стульях газеты, мы встаем и подходим к ним ближе. Туристы на нас не обращают никакого внимания. Они преисполнены собственных впечатлений. Изящные женщины в брюках и клешах и все в туфлях на остреньких шпильках смеются и курят. Роскошные черные, светлые, рыжие прически. Ярко накрашенные губы. Чернявые плечистые мужчины великодушно сдержанны, как мудрецы среди строптивых кокеток. Что ж — у них праздник: поездка, новая страна, про которую они столько наслышаны и теперь только ее увидели. Озабоченность и суету будней они оставили дома. Завидная черта характера — отграничивать будни от праздников, беспокойство от радости. У нас, к сожалению, так не получается. Видно, в нашей истории слишком много такого, о чем не просто забыть. И потому даже в годовщину Победы печать пережитого незримо лежит на нашем настроении.

Мы молча стоим возле гардероба. Мой сосед с любопытством всматривается в лица иностранцев. Это интересно — постигать скрытый смысл характеров. Но я и не пытаюсь. Французы, англичане, итальянцы для меня — закрытая книга. Их сущность где-то вне сферы моего понимания. Другое дело — немцы. С немцами мы пережили общее несчастье. Они нам причинили немало горя, но мы незлобивы: пусть живут на здоровье. Главное, чтоб в мире. За прошлое, сдается, мы расквитались.

Однако мы зазевались. Пока туристы толпились в ожидании чего-то, мимо нас быстрым шагом проходят один, другой — от барьера. В руках — знакомые бланки пропусков, кажется, появились места. Я круто оборачиваюсь назад и едва не сталкиваюсь с «законником». Он обдает меня жестяным шуршанием плаща и бежит к лифту. На лице озабоченность. Маску оживления и легкости он уже сбросил за ненадобностью. Я удивляюсь:

— Смотри, отхватил?

Парень иронически хмыкает:

— Ну! Я же говорил.

Мы подбегаем к очереди и конечно же опаздываем. Мест нашлось только четыре, и все они розданы. Четверо счастливчиков уже на этажах. В том числе и тот, без очереди.

Остальным опять ждать.

Одно место за столом пустует. На моем же сидит усталая с виду немолодая женщина. Сосед, неловко потоптавшись, молча отходит к барьеру. Я опускаюсь на его стул.

Очередь возмущается. Особенно теперь, когда «законника» уже и след простыл. Когда он уже располагается в номере. А они спорят. Странные люди! Когда же он лез к администраторше, тогда все молчали, а теперь размахались руками.

— Безобразие!

— В книгу жалоб им записать!

— Хамство!

Особенно возмущается один. Кажется, ему едва не перепало место. Теперь он, надвинув на лоб зеленую велюровую шляпу, сердито топчется возле барьера. Длинные полы его легкого пальто широко распахнуты.

— Возмутительная наглость!

Сунув руки в карманы, он нервозно поворачивается от барьера и бросает на меня невидящий взгляд. И вдруг у меня перед глазами вздрагивает и расплывается горячий, знойный туман. Тугой колокольный удар в ушах мигом отбрасывает меня в прошлое. В смятенном сознании вспыхивает одно только слово — «Сахно». Нет, я не вспомнил этого человека, просто я никогда о нем не забывал. И теперь вот он — в пяти шагах от меня. Несколько обрюзгший с лица, бровастый и по-прежнему угрожающе-решительный. На голове небрежно надетая шляпа. Китайское габардиновое пальто не застегнуто и низко свисает полами. На желтых ботинках лежат светлые обшлага брюк. «Широковаты», — замечаю я совершенно некстати. Окинув меня бессмысленным взглядом, он как ни в чем не бывало поворачивается к барьеру.

Мое вдруг напрягшееся тело расслабляется, и я съеживаюсь на стуле. Какой-то контролируемой частью сознания отмечаю, что растерялся. Никогда не думал, что так можно спасовать перед ним. Впрочем, я совершенно иначе представлял себе нашу с ним встречу. У меня на такой случай были приготовлены полные гнева слова, и вот — на тебе! Если бы он теперь подошел и ударил меня, пожалуй, я не нашелся бы, как ответить. Бывает, что наглость парализует. Теперь меня парализовал один вид этого человека.

Однако я все же овладеваю собой и в следующую минуту поднимаюсь со стула. Проклятый протез! Теперь он мешает. Теперь мне нужны железные ноги и стальные кулаки. Видно, на моем лице

отражается что-то недоброе. Несколько человек в очереди с готовностью расступаются, и я боком прислоняюсь к барьеру. Я уже возле него. Безразличный ко мне, он гневно наступает на администраторшу:

— А если я за тысячу километров приехал? Так где я ночевать должен? Скажите, где?

— Это не мое дело.

— А чье дело? Вы для чего здесь сидите? — Он отстраняется от барьера и резко поворачивается: ему нужен союзник. — Слышали, не ее дело! Удивительная логика!

Мой вид, должно быть, его охлаждает. Он срывает шляпу и ладонью вытирает мокрую от пота полоску подкладки. Я дико гляжу в его обозленные глаза и чувствую, как горячая волна в моей груди постепенно остывает. Я узнаю и не узнаю. Черт, неужели ошибаюсь? Он с заметным животиком и довольно-таки лысоватый. Тот был при отличной строевой выправке, с жесткой шевелюрой на голове. Глаза наглые, слегка припухшие снизу — видно, пошаливают почки. Рост… Рост почти тот же, только этот гораздо тучнее.

Но ведь прошло двадцать лет.

Преодолев какое-то внутреннее оцепенение, я отхожу. Поодаль от всех расслабленно облокачиваюсь о барьер. Смятение и растерянность мои понемногу проходят. Исподлобья я неотрывно наблюдаю за ним. Он или не он? Несколько опасаюсь, чтобы он меня не узнал. Тогда наверняка скроется. Впрочем, узнать меня, пожалуй, не просто. В то время я был почти мальчишкой. Девятнадцатилетний младший лейтенант. К тому же я для него — убит.

А он не отстает от женщины-администратора. В край барьера вцепились его пальцы — короткие и толстые. Он вперяет в женщину тяжелый взгляд. Я видел его разным: угрожающим, растерянным и омерзительно угодливым. Теперь он обозленно-требователен. Женщина делает вид, что занята бумагами и не замечает его. Но не заметить его невозможно. Наверно, человек знает это и массивной глыбой возвышается над барьером. Уж он своего добьется.

Тягучий, надсадный звон в моей голове медленно отдаляется. Временами я теряю решимость. То кажется — окончательно и бесповоротно: он! То вдруг в его лице появляется что-то незнакомое мне, чужое, первый раз увиденное. Я не знаю, как поступить, и стою. На плечи гнетущей тяжестью ложится усталость.

В этом оцепенении проходит, пожалуй, немало времени, и в очереди выясняется, что мест больше не будет. Люди начинают расходиться. Кто-то предлагает: «Пошли посмотрим салют!» Кто-то не соглашается: «Лучше на вокзал, пока скамейки не заняли».

Очередь быстро редеет. Как-то нечаянно я теряю его из виду. Спохватившись, подхожу ближе, оглядываюсь, но его уже нет. Нет

возле администратора, не видно в вестибюле. Как будто провалился сквозь землю. Чудно!

Я останавливаюсь перед барьером и ничего не соображаю. В душе такое чувство, будто по моей вине случилось непоправимое. Людей становится все меньше. Женщина из-за стола уходит, и оба стула пустуют. Как-то надо собраться с мыслями. Обидно, если все это только показалось. Столько душевных терзаний — и все прахом. А вдруг это он? Что тогда? Что я должен предпринять?

Надо бы все обдумать и что-то решить. Или, не раздумывая, догонять его, обратиться в милицию? Впрочем, милиция здесь ни при чем.

Наконец в вестибюле остается только администраторша за перегородкой и какой-то подвыпивший гуляка. Подпирая спиной колонну, он не может произнести ни слова и тупо смотрит в паркет.

Туристы куда-то ушли. Вестибюль тесно заставлен их чемоданами. Швейцары грузят их в лифт. У входа, возле телефона-автомата, переминаются с ноги на ногу девушка и парень. Звонить не звонят, похоже — выясняют отношения.

Туго брякает входная дверь, и меня поглощает уличная суматоха. На тротуарах людно. Все куда-то идут, идут, идут — видно, к памятнику на площадь. В ясном предвечернем воздухе — горьковато-скипидарный запах тополиной листвы. Поредевший к вечеру поток машин изрыгает бензиновый чад. Кучка людей возле мороженщицы терпеливо дожидается своей очереди. Тут же бабка с пучком подснежников в старческих руках. Я бреду как лунатик. Начинает болеть голова. Всегда, когда разнервничаюсь, у меня болит голова. В карманах, к сожалению, никакой таблетки. Видно, надо бы где-то поискать пристанища. Но я почти ничего не замечаю. В растревоженной памяти будто весенним паводком начинают размываться напластования лет и событий. Отчетливо встающие образы воскрешают давнишнее и навеки памятное. Я уже знаю, что от него не отделаться. Его не залить водкой, не забыть в бесшабашном разгуле. Оно всегда в сердце, потому что оно — это я.

Глава третья

...Снег. Дорога. Колонна...

Мелькают сапоги, валенки, ботинки. Треплются на ветру заснеженные полы шинелей. Шуршат залубеневшие промерзшие палатки.

— Старший лейтенант Кротов, в голову колонны!

Повторенная зычными, глухими и сиплыми от простуды голосами, катится по колонне команда. Последним ее выкрикивает кто-то из тех, что замыкают колонну передней роты. Выкрикивает и довольно оборачивается, словно для того, чтобы увидеть, какое

впечатление на батальон произвел его надсадный, хрипловатый, вовсе не командирский голос. Это совсем близко, и я, идя сзади, вижу немолодое, одутловатое от мороза лицо, стиснутое ушами завязанной под бородой шапки. Всматриваясь, боец вытягивает из воротника морщинистую шею и останавливает на ком-то свой взгляд. Тогда и я оборачиваюсь. Командир шестой роты Кротов, опоясанный по телогрейке двумя кавалерийскими портупеями, будто не слыша вызова, с развальцой идет по сыпучему снегу обочины. Как всегда, в его темных недовольных глазах излишек командирской строгости.

— Вас — в голову колонны, — говорю я, решив, что ротный недослышал команды.

Кротов, однако, не взглянув на меня, угрюмо бросает:

— Слышу. Не оглох!

Колонна тем временем медленно останавливается. Задние еще устало бредут по растоптанному сотней ног сыпучему снегу, а передние уже спешат использовать неурочный коротенький перерыв и торопливо снимают с себя отяжелевшее за дорогу оружие. Прикладами в снег ставят длиннющие стволы ПТР, осторожно, рукоятками вниз опускают на землю грузные тела «максимов». Минометчики с явным облегчением сбрасывают с плеч тяжелые ребристые плахи опорных плит. И вот уже кто-то блаженно разваливается на нетронутом снегу полевой обочины, кто-то бредет по нужде в заросли кукурузы, что широким клином подступает к дороге. В предвечерних сумерках над заснеженной степью веет сладковатым, удивительно ароматным и домовитым дымком махорки.

— Ну что ж, перекурим это дело, — говорит все тот же немолодой, видно, старательный боец и с сознанием заслуженного отдыха сворачивает на обочину. Помятые полы его шинели аккуратно подоткнуты, на спине, пристегнутая к вещмешку, пока без надобности болтается каска. Сегодня меня невольно занимают головные уборы, хотя я наверняка знаю, что ни каска, ни шапка мне не подойдут: надо было думать о том раньше. Но раньше о каске я мало заботился, и осколок от немецкого снаряда кромсанул меня по затылку. Правда, ничего страшного не случилось, только после перевязки оказалось, что шапка поверх бинтов не налазит, а каска причиняет боль. Так я и остался с замотанной бинтами головой. На беду, санинструктор не смекнул заодно забинтовать и уши, которые прошлой ночью изрядно прихватил морозец.

Я тоже схожу на обочину, туда, где стоит пулеметчик из третьего взвода нашей роты с удивительно незапоминающейся фамилией. Это — молодой подвижный боец в низко накрученных обмотках. Зачерпнув серой домашней варежкой чистого снега, он с

наслаждением сосет его, поглядывая вокруг живыми глазами. Другой рукой парень придерживает опущенного прикладом на дорогу «Дегтярева».

— Видно, шестую роту в ГПЗ? — говорит он. — Теперь, считай, все трофейчики ихние.

И, сдвинув на затылок шапку, снова черпает снегу. Белобрысое лицо его таит любопытство и сдержанное мальчишеское добродушие. Я молчу. Тот, старший из четвертой роты, также подходит к нам и лаконично соглашается:

— Да, повезло этим…

Он шарит руками в карманах, по-видимому, доставая кисет и провожая взглядом четверых разведчиков, что торопливо идут куда-то в хвост колонны. Разведчики в белых перепачканных маскхалатах, поверх которых висят автоматы и брезентовые сумки с магазинами. Хлопцы заметно спешат, и вид у всех недовольный. Наверно, где-то не ладится с разведкой.

— Марухов, привет! — бросает пулеметчик, узнав среди них знакомого. — Что, шестую в ГПЗ?

— Какой черт — ГПЗ! — зло ворчит передний. — Кротову шею мылят.

Пулеметчик в сдвинутой шапке от удивления раскрывает рот. На его высунутом языке — снег.

— Наверно, за Ивановку? Ага?

— Ага.

— Ну и ну! — говорит пожилой, держа в заскорузлых пальцах кисет с кресалом. — Коли за Ивановку, то, похоже, всыпят.

Он начинает скручивать цигарку. В недоуменном любопытстве умолкают бойцы. Кто-то за моей спиной охотно подтверждает:

— Знамое дело. Не первый раз.

Они только догадываются, а я уже с утра размышляю над всем этим делом. Еще на рассвете в Большую Северинку к комбату приезжал особист Сахно. Запершись в хате, они долго обсуждали что-то, вызывали бойцов и сержантов, потом Сахно уехал. Но вот четверть часа назад вдоль колонны проскакал на коне старшина Шашок — ординарец, вестовой или как там его называют, словом, писарь из штаба. Не остановившись, он спросил у меня, где комбат, и я махнул рукой туда, в голову колонны. Видно, потому и остановили батальон в степи. Кажется, в самом деле этому Кротову несдобровать.

Пулеметчик тем временем утоляет жажду и обивает одну о другую рукавицы.

— Эй, бомболовы! — озорно кричит он бойцам шестой роты. (Их у нас еще с Курской дуги зовут бомболовами, хотя мало кто уже

и помнит, что означает это прозвище.) — Через левое плечо кругом марш! В штрафную!

Однако шестая не хочет оставаться в долгу.

— Ага, в штрафную! А кто же тогда вас будет от танков спасать?!

Это — всем понятный намек. Неделю назад шестая фланговым огнем крепко помогла нашей роте, которую атаковали немецкие танки с пехотой.

— Тоже нашлись спасители! Вы ж побратались! — въедливо упрекает пулеметчик.

Но это уж слишком, и я оборачиваюсь к бойцу:

— Ну-ну! Хватит!

Пулеметчик неловко щурится, чувствуя, что переборщил, и мне хочется напомнить ему что-то вроде: «Шути, да знай меру». Однако спереди доносится новая команда:

— Младший лейтенант Василевич, в голову колонны!

Это уже меня. Но зачем? Вроде бы я не замешан в таких малоприятных делах, как Кротов, рота которого недавно заночевала в одном селе с немцами. Случилось так, что «бомболовы» мирно проспали ночь и увидели фашистов только утром, когда те, выстроившись в колонну, подались себе на большак. По крайней мере, так рассказывают бойцы. Начальство же, видно, имеет на сей счет иное мнение.

— Ну что! Ага, сами влипли! — услышав команду, начинают злорадно кричать из шестой.

— Нам не за что! А вот вы…

— А ну прекратите! — приказываю я пулеметчику.

За головами бойцов слышится нетерпеливый голос самого комбата:

— Василевич! Тебя долго ждать?

— Иду, иду!

Придерживая на груди ППС, я устало бегу размятой дорогой. Я не могу позволить себе по вызову идти шагом. Из всех ротных в батальоне я самый младший — и по годам, и по званию. Видно, по этой причине мне от комбата достается больше других, и потому я вынужден всегда поторапливаться.

Комбат сидит на бугорке возле межевого столбика и мерзлым кукурузным стеблем ковыряет в снегу. Рядом, шурша на коленях картой, пристраивается наш усатый начштаба. Напротив стоит мрачный темнолицый Кротов, а чуть в сторонке, держа за поводья усталого коня, ждет чего-то старшина Шашок. Новенькая, из сизого комсоставского сукна шинелка плотно облегает его широкую спину.

— Ну, как голова? — коротко взглянув на меня, спрашивает комбат.

— Ничего.

— А уши? Спеклись, наверно?

— Немного, — осторожно отвечаю я, не совсем схватывая суть его несколько необычных вопросов. Но чувствую, что это неспроста.

— Пойдете в санчасть, — объявляет комбат и бьет стеблем по снегу. Снежная мелочь летит на мои сапоги, попадает начштабу на карту, и тот с досадой стряхивает ее покрасневшей ладонью.

— Товарищ капитан, — пытаюсь возразить я, но комбат не хочет меня и слушать. Как и все командиры на свете, он не любит чужих возражений.

— Пойдешь в тыл. Все равно с такой головой — не вояка.

— Так ведь в роте никого не останется. Вы же знаете.

— Знаю. Завтра Басмак придет. А пока старшина Дорофеев покомандует.

Известное дело, наш старшина может покомандовать и сегодня и завтра, человек он самостоятельный и стреляный. И все-таки мне вовсе не хочется покидать роту и отправляться в санчасть. Если бы он послал меня туда днем раньше, хотя бы прошлой ночью, когда мы мерзли под огнем в снегу после неудачной атаки. А то легко ему теперь ставить на роту старшину, когда части входят в прорыв, огибают немецкие фланги, и уже вон он, Кировоград. Днем из Северинки видны были его пригороды, дымы пожаров и высокие строения, которые штурмовали наши Илы.

— Вот с Кротовым и пойдете, — говорит комбат, кивая головой в сторону командира шестой роты. Тот стоит черный, как земля, и не глядит на людей. — Да еще этих субчиков прихватите. Заодно, чтоб конвоиров не посылать.

Это он про трех немцев, которые плечом к плечу замерли напротив и настороженно поглядывают на начальство. Один из них — простоволосый, без шапки крепыш, второй — без шинели, в мундирчике, с отвисшими карманами и большими профессорскими очками. Третий — пожилой, нерасторопный толстяк, простуженно отирает красный распухший нос. Веселая компания, черт бы ее побрал, думаю я. Удружил комбат, нечего сказать. Комбат же, нарочито не замечая моего неудовольствия, так же как и мрачного вида Кротова, достает из кармана алюминиевый портсигар, густо испещренный резьбой.

— Угощайтесь, старшина, — протягивает он портсигар Шашку.

Тот не заставляет себя уговаривать, делает шаг навстречу и жестом равного берет папиросу. Потом к портсигару тянется рука начштаба. Кротов из-под нахмуренных бровей поблескивает злым взглядом, как мне кажется, тяжело, осуждающе вздыхает. Нам папирос комбат не предлагает. Они втроем молча прикуривают, и

старшина, отставив в сторону обутую в немецкий валенок ногу, сквозь дым косится на меня одним глазом.

— Ты что же это, младшой, с таким скрипом приказ выполняешь?

Я поглядываю в его самоуверенное начальническое лицо и, сдерживая в себе злость, молчу. Какое ему, в конце концов, дело и кто он такой, чтобы делать мне замечания?

Кротов, которого занимают свои заботы, нервно оборачивается к комбату:

— Так мне что? Роту сдавать или как?

Комбат морщит лоб и старательно раскуривает папиросу.

— Ну почему сдавать? Что это вы уж… Сразу в панику…

— Роты пока не сдавать, — уверенно объявляет старшина, и комбат вслед за ним подтверждает:

— Да, пока не сдавать. Нет такого приказа.

— Дело ясное, — мрачно вздыхает Кротов. — Дело ясное, что дело темное. Ну и черт с ним! Пусть!

Он отчаянно ругается и отходит в сторону, угрюмым видом давая понять, что безразличен ко всему и ничего не боится. Комбат встает с бугра и вытягивает голову, заглядывая в хвост колонны.

— Ну, где там Косенко? Не дождешься, черт побери!

Косенко, которого он ждет, — командир взвода разведки, и я начинаю думать, что, возможно, и его пошлют в тыл полка. С Косенко, конечно, было бы веселей. Парень он решительный и разговорчивый. Только вряд ли его направят с нами — теперь, когда идет наступление, он нужен здесь, впереди.

Тем временем над степью начинает темнеть. Стихает в зимнем небе гул самолетов, становится явственнее шелест кукурузы на ветру. К ночи сильнее донимает мороз, и я поднимаю воротник шинелки. Уши мои теперь как термометр — чутко реагируют на каждый градус похолодания. То и дело трешь их. Не хватало заботы.

Комбат ждет. Однако вместо Косенко на дороге появляется разведчик, который, лихо щелкнув каблуками, останавливается перед начальством.

— Товарищ капитан, лейтенант Косенко коня не дают.

Комбат недоуменно вскидывает русые брови:

— Как это — не дают?

— Не дают, и все. Говорят, хутор надо разведать. Хуторок там впереди.

— Хутор, хутор. Вот и на этом разведает, — тычет он будылиной в сторону коня старшины. — Чем не рысак? А то еще хорохорится. Тоже мне кавалерист!

Разведчик переступает с ноги на ногу. На его круглом, раскрасневшемся лице ни тени смущения — мол, мне что: лейтенант

не дает, а я тут при чем? Но комбат, кажется, этого не понимает и, хмурясь, строго оглядывает бойца.

— Они говорят, пусть старшина Шашок на своей дохлятине и ездит, коли лучшего не умеет приобрести.

— Вы мне оставьте эти разговорчики! — распаляется комбат и с силой тычет стеблем кукурузы в снег. — Я приказываю! А его дело исполнять. Понял?

— Я-то понял, — охотно соглашается разведчик.

— Так исполняйте!

Рядом стоят, слушая эту не совсем обычную ссору, бойцы, зябко перестукивают каблуками немцы. То на комбата, то на разведчика выжидающе поглядывает старшина. Я терпеливо жду и думаю, что коник Косенко уже, видно, сдох. А ничего себе был трофейный рысачок в белых чулочках на передних ногах. Однако недолго погарцевал на нем взводный. Раз уж тем приглянулся, то пиши пропало, рано иль поздно отберут. На это они мастера.

Краем глаза я замечаю, как старшина строго поджимает тонкие на мясистом лице губы и что-то решительное появляется в его глазах. И тут он поворачивается ко мне.

— Ладно, вы идите. Берите тех, — кивает он на немцев, — и дуйте напрямки. Я догоню.

Он говорит это почти по-приятельски, и я не знаю, как понимать его: то ли это заявка на дружбу, то ли он, возможно, видит во мне здесь старшего. Но ведь Кротов старше меня по званию и должность у него постоянная, не то что у меня, временного ротного. Я вопросительно поглядываю на комбата, тот недовольно бросает «идите», и я поворачиваюсь к озябшим немцам:

— А ну марш! Марш, фрицуки пархатые!

Глава четвертая

Через минуту мы идем в кукурузе по следу глубоко вдавленных в снег танковых гусениц: Кротов и я — по правой колее, а немцы напротив — по левой. Кротов никак не может примириться со снятием его с должности и зло, в три этажа ругается. Гнев его, как и всегда, имеет определенный адрес и теперь направлен против комбата.

— Обормот! Лакейская морда!..

Немцы покорно шагают рядом — очкастый в мундирчике впереди, за ним тот, что без шапки, — мрачный чернобровый парень, внешностью вовсе не похожий на немца. Пожилой же с трудом ковыляет сзади, то и дело отстает, шмыгая большим простуженным носом. К плену он хорошо подготовился, сразу узнаешь хозяйственного человека — на ремне котелок, фляжка, через плечо перекинуто свернутое в скатку одеяло, на боку висит,

похожая на охотничий ягдташ, брезентовая сумка. Неудивительно, что и отстает с таким грузом, и я, время от времени оглядываясь, с нарочитой строгостью покрикиваю:

— Шнель! Шнель, фриц!

Передний в очках также поворачивается и, будто старший среди них, что-то лопочет последнему. Я понимаю только:

— Шнеллер, камараде...

Пожилой несколько ускоряет шаг, разбрасывая коленями заснеженные полы шинели, и ворчит про себя. Кажется мне, в том смысле, что, мол, хорошо тебе, молодому, легко одетому, а я уморился уже, хочу закурить, да и вообще по самое горло сыт войной и фашизмом. Это вполне естественно для него, так как год уже сорок четвертый и немцы на фронте далеко не те, что были в сорок первом.

Передний чем-то похож на унтера, хотя китель на нем без всяких знаков различия. Лицо у него продолговатое, в меру худощавое, с прямым носом и широким лбом — типичное немецкое лицо с сильно развитой нижней челюстью. Под толстыми стеклами очков — настороженные, но, кажется, рассудительные, без злобы глаза. Простоволосый же, что идет следом, выглядит уж очень унылым и мрачным. За все время он не произнес ни единого слова и ни разу не взглянул ни на кого.

Кротов с виду явно безразличен к пленным и то помолчит, то снова начинает ругаться:

— Чуть что из полка — и он уже на задние лапки. Своего мнения не имеет...

Мне кажется, это напрасно. Не такой уж комбат наш и угодливый, каким его представляет теперь обиженный ротный, — просто перед старшими пасует малость, как, впрочем, и многие в армии. Желая несколько смягчить его гнев, я обнадеживаю Кротова.

— Может, надолго не задержат там, — говорю я, имея в виду полковой штаб, куда его вызывают. — Напишете объяснительную и завтра будете в роте.

— А мне наплевать! Пусть задерживают. Что мне, в тылу хуже, чем на передовой? Я о том, почему они придираются сдуру.

— Бдительность.

— Бдительность! Дурость это, а не бдительность. Делать ему нечего, этому бабнику, вот он и цепляется. Ну влезли впотьмах в деревню, не разглядели, не разведали. Так что тут особенного? Что в этом преступного? Ведь ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи пообморозились? Или как тот дурень Сарафьянов — за два дня всю роту уложил? — рассуждает Кротов, уже не оглядываясь на меня.

Я молча несу на плече свой ППС, глядя на сапоги ротного, которые мнут туго спрессованный снег гусеничного следа. Походка у Кротова энергичная и легкая, какая бывает только у закаленных пехотинцев. Старший лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой через шею, и он в гневе широко размахивает ими.

— Приказано атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его за это в особый отдел не потащат!

Да, за это, пожалуй, не потащат, соглашаюсь я. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что Сарафьянов набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать из батальона? Но комбат наш все же не такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не трус. Разве что излишне тянется перед начальством. Однако в армии таких принято считать дисциплинированными.

Кротов, будто угадав мои мысли, возражает:

— Дисциплинированный. Перед каким-то там старшиной расшаркивается, папиросочками угощает. Забыл, что и капитан, что и командир батальона. И если подумать, кто этот старшина? Холуй, самый настоящий.

Я молча вздыхаю. Да, конечно, старшина — невелика шишка, штабной писарь, но вся беда в том, что писарь не простой, не из какой-нибудь хозчасти или финсектора, а помощник и доверенное лицо капитана Сахно.

На повороте танковой колеи я оглядываюсь. Мы прошли по кукурузе уже далеко, батальонная колонна без следа исчезла в вечерней степи. Шашка почему-то нигде не видать. Но ведь старшина догонит, это нетрудно по хорошо приметному следу, а ночь обещает быть светлой. Еще не успело стемнеть, а на безоблачном морозном небе уже вовсю светит цыганское солнце — месяц. Хуже вот, что третий, пожилой, немец все время отстает, видно, уморился и на мое строгое «шнель» почти не реагирует. Тогда я бросаю Кротову: «Стой!» Надо подождать, так как все же настает ночь и я, признаться, немного беспокоюсь, как бы этот фриц ненароком не шмыгнул в кукурузу. Старший лейтенант недовольно останавливается, охотно прекращают шаг немцы, и все мы ждем, пока добредет по колее их «камарад». Кротов, наверное, уже примирился с моим тут командирством, и все же, чтобы смягчить некоторую неловкость, я достаю из кармана два сухаря.

— Хотите погрызть?

Завтракали мы на рассвете еще в Северинке, уже крепко проголодались за день, и потому сухарь кажется необычайно вкусным. Я слышу, как Кротов с наслаждением откусывает от него,

и с пол минуты мы сосредоточенно грызем жесткие куски. Потом невольно поглядываем на немцев, стоящих напротив, и перехватываем пристальный взгляд очкастого. Жесткий кадык на его длинной шее скользит вверх и вниз. Кротов перестает жевать.

— Что, доняло? — будто впервые заметив пленного, язвительно говорит он. — Навоевался, собачий сын? Жрать захотелось? Держи!

Старший лейтенант разламывает сухарь и бросает кусок очкастому. Тот, сноровисто подхватив его, с удовольствием вгрызается зубами. Рядом сдержанно стоит второй, без шапки, и я засовываю руку в карман. Там еще один кусок сухаря, последний из моей сегодняшней нормы, и я не без сожаления протягиваю его через дорогу. Немец секунду медлит, потом берет сухарь и, отставив нижнюю губу, неопределенно чмыхает. Я не успеваю сообразить, в чем дело, как он коротким взмахом через плечо швыряет сухарь в кукурузу.

Кротов перестает жевать. Какое-то время он молчит с желваком за щекой, потом, изломив одну бровь, шагает между колеями в снег:

— А ну подбери!

Немец, насупившись, молчит и не трогается с места.

— Подбери, гнида! — жестко приказывает Кротов и, выждав, коротко бьет его в челюсть.

Пошатнувшись, тот, однако, удерживается на ногах, и старший лейтенант кричит почти в бешенстве:

— Сволочи! Вши ползучие! Мою деревню сожгли! Из-за вас меня начальство таскает! На еще, гад!

Немец снова отшатывается, хватаясь рукой за щеку, но так ничего и не произнеся. Своенравное упрямство его и во мне отзывается неподвластной озлобленной вспышкой. Какая-то животная ненависть так и подмывает заехать ему по морде, как это сделал Кротов, и я, чувствуя, что не сдержусь, делаю шаг к Кротову:

— Ладно. Оставьте его!

Пожилой тем временем догоняет нас и, видно смекнув, в чем дело, услужливо лезет в кукурузу. Сдунув с сухаря снег, он почтительно подносит его разъяренному Кротову. Тот бьет немца по руке, и сухарь отлетает в снег еще дальше.

— Прочь! Прочь, гады! Я вас всех сейчас!..

Ротный хватается за кобуру на ремне, и я едва успеваю остановить его:

— Бросьте! Ну их к чертовой матери.

Смерив всех троих ненавидящим взглядом, Кротов неохотно переходит в правую колею.

Вот же гад фашистский, думаю я, приотстав и украдкой наблюдая за немцем. Волосы у того черные, жесткие, к ушам он и не притронется, будто и не ощущает мороза. За всю дорогу не произнес ни одного слова, ни разу не взглянул на нас. Во всей его фигуре чувствуется опасный, затаившийся враг. После случая с сухарем я невольно настораживаюсь и передвигаю свой ППС на грудь: мало ли что еще может выкинуть этот злыдень!

Степь затихает к ночи, но все же множество неясных разрозненных звуков свидетельствует о присутствии вокруг огромной силы войны. Идет наступление. Отзвуки его то и дело доносятся до слуха приглушенным танковым гулом, конским ржанием, далекими взрывами. Где-то на юге, за Кировоградом, пылает край неба: огненное зарево на небосклоне то ширится, разгораясь, то медленно притухает. Откуда-то долетают невнятные голоса людей, наверно, поблизости проходит дорога. Всюду в степи движение, выстрелы, люди. Из кукурузы, правда, мы не много вокруг себя видим…

Глава пятая

Шашок догоняет нас, когда уже устанавливается ночь и в высоком январском небе с острым блеском густо высыпают звезды. В полную силу светит луна. В степи светло, хоть собирай иголки. Густые синие тени неслышно скользят за нами. Тускло сереет кукурузное поле. На краю его мы с Кротовым замечаем подвижную тень. Коня почти не видно в кукурузных зарослях, но над стеблями скользит силуэт всадника. Мы останавливаемся и ждем.

— Фу, думал, не догоню, — с заметным облегчением, что наконец избавился от одиночества в ночном поле, говорит Шашок и придерживает коня. — Ну как, не разбежались фрицы?

— Не разбегутся, — говорю я.

Старшина направляет коня по левой колее и вплотную подъезжает к немцам. Кротов на ходу оглядывается (кажется, он стал спокойнее) и присматривается к всаднику и его лошади.

— Ну что, не откололось?

— Не откололось, — охотно отвечает Шашок. — Заупрямился разведчик. Не хотелось скандал учинять.

Все ясно: Шашок на той самой мухортой лошадке, на которой и приехал в батальон. Значит, Косенко проявил характер до конца. Он такой, наш лейтенант-разведчик!

— Я бы тому коню лучше пулю в ухо, чем вам отдавать, — говорит Кротов.

Шашок не отвечает, пропуская мимо ушей открыто неприязненную реплику, и развязно кричит на немцев:

— Шнель! Шнель, вашу мать! Затопчу, фашисты!

Он и в самом деле подстегивает поводьями коня. Задний немец пугливо выволакивается из колеи, простоволосый едва уклоняется от лошадиных ног. Старшина довольно хохочет.

— Фашисты, такую вашу!.. Уступай дорогу русскому воину!

— А ну кончай! — строго оглядывается Кротов. — Сперва в плен возьми, а потом будешь конем топтать.

Шашок настороженно притихает.

— А вам что, жалко?

— Не жалко, а гадко!

— Значит, защищаете? Немцев защищаете?

— Пошел ты к черту! — взрывается Кротов. — Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас!

— Так, так! — многозначительно говорит Шашок и осаживает лошадь.

Немцы переглядываются, видно что-то поняв из этой перебранки, и мне становится неловко: нашли место ругаться! Но это все Кротов. Конечно, он злой, расстроенный, и потому недалеко и до скандала.

Только я напрасно тревожусь, поругаться как следует они не успевают. На очередном повороте колеи в кукурузе нам встречаются люди.

Это связисты. Обвешанные катушками с кабелем, телефонными аппаратами и с оружием на груди, они, завидя нас, испуганно бросаются из колеи. Потом, видно признав в нас своих, несмело выходят из редкой кукурузы и выжидающе застывают на дороге. Взгляды всех четверых почему-то опасливо направлены в сторону.

— Что такое? — спрашивает Кротов.

Связисты топчутся на месте, движения у них робкие, голоса притишенно-встревоженные.

— Там немцы, — наконец сообщает один с карабином на шее.

— Чуть не напоролись, — охотнее добавляет второй, не отводя взгляда от сумеречных кукурузных зарослей.

Двое других молча вглядываются в ночь. Я также всматриваюсь в том направлении, но нигде ничего не вижу. Кажется, повсюду все та же густо исчерченная тенями кукуруза, сверкающее звездами небо и сонная тишина.

— А в штанах у вас еще не того? — вглядевшись в ночь, с издевкой спрашивает Кротов.

— Ей-богу, товарищ командир, — испуганно шепчет первый. — Тянем нитку, вдруг — голоса. Присмотрелись — сидят в кукурузе двое. Один другому прикурить дает, и по-немецки гергечут.

— Иди ты, парень, знаешь куда! — злится Кротов. — Откуда им тут взяться? Вон где немцы! — показывает он назад, на зарево за Кировоградом.

— Безусловно, — с уверенностью подтверждает Шашок. — Я еще засветло тут проезжал, никого не было.

Действительно, откуда тут взяться немцам, уже почти что в глубоком тылу полка? Батальоны ушли далеко вперед, танки еще дальше. Если бы случилось неладное — начальство уже приняло бы нужные меры.

— И танк! Стоит, кукурузой обложенный. «Тигр»! — будто не слыша наших возражений, в каком-то невразумительном трансе твердит связист.

Кротов с нарочитой простоватостью в голосе спрашивает:

— Танк?

— Танк.

— «Тигр»?

— Ага. Наверно, «тигр». Очень большой. Прямо огромный.

— Знаешь, боец! Был бы ты в моей роте, я бы тебе показал «тигра»! Он бы тебе котенком сдался, — грозит Кротов. — А ну, тяните связь, куда приказано. И без паники мне! Живо!

Связисты топчутся на месте. От командирской категоричности у них, судя по всему, мало прибыло решимости.

О чем-то переговариваясь, они остаются, а мы идем дальше. Я начинаю зорче, чем до сих пор, всматриваться в ночные сумерки, Кротов сдвигает на поясе кобуру. Немцы, вряд ли поняв что-нибудь из нашего разговора, тихо бредут своей колеей. Молчаливую настороженность первым нарушает Шашок.

— Младшой, — обращается он ко мне. — Ты это вот что…

Я гляжу на старшину, он, сверху осматриваясь по сторонам, что-то решает.

— Ты вот что… Веди их прямо, а я… А я подскочу в батальон. Забыл одно дело.

Что ж, скачи. Мне что? Только никакого у тебя дела там нет. Просто ты испугался, писарская душа, думаю я. Кротов, недобро сверкнув глазами, оглядывается на него, но молчит. Шашок торопливо заворачивает коня и с места пускает его в галоп.

— Уже наложил, — бросает Кротов.

— Что?

— Наложил, говорю, — громче повторяет ротный. — Ну и черт с ним. Баба с воза — кобыле легче.

Немцы, видимо, все же что-то поняли из нашей заминки. Передний, в очках, не оборачиваясь, сообщает что-то остальным, и чернявый с явной заинтересованностью всматривается в сумеречную даль. Стараясь внимательнее следить за ними, я правой рукой нащупываю рукоятку затвора.

Так мы проходим километр или больше. Никто нам не встречается, поблизости, сдается, ни одного подозрительного движения. Кротов решительно сплевывает на снег.

— Этим тыловикам завсегда черти снятся. Такой уж на…

Он, видно, хочет сказать «народ», но замирает на полуслове и останавливается. Я едва не наскакиваю на него сзади и тут отчетливо, хоть и не совсем реально (словно во сне), вижу впереди людей. Человек пять стоят в кукурузе, всматриваясь в нашу сторону. Рядом темнеет неопределенное пятно — куча кукурузы или какой-нибудь куст. Чуть подальше — другое, а там еще и еще. Все это появляется перед глазами так неожиданно, что, еще ничего не поняв из увиденного, я вздрагиваю от первой и самой страшной догадки: немцы!

Я еще не успеваю вполне осознать опасность, как Кротов сильным рывком выпрыгивает из колеи. Из его груди вырывается приглушенный вскрик, и старший лейтенант, пригнувшись, как хищник, бросается по ту сторону дороги. Секунду я не соображаю, в чем дело. Удивленный взгляд мой устремляется за Кротовым, и тогда я вижу, как один из наших немцев бежит в кукурузу.

— Стой! Стой, гад!..

Это кричит Кротов. На бегу он пытается выхватить из кобуры пистолет, но тот почему-то застрял и не вынимается. Зацепившись за стебель, Кротов падает, тут же пытается вскочить, и тогда первая трескучая очередь прошивает морозный воздух. Я падаю в колею, дергаю рукоятку затвора. Невдалеке в кукурузе что-то вспыхивает. Взрыв обдает лицо снегом. На мгновение в глазах мелькает рука Кротова с задранным локтем. В ней пистолет. Затем радужное пятно в глазах гасит зрение. Не сразу затем из звездной темноты вверху проступают спутанные стебли кукурузы. Над ними неподвижно висит низкий месяц и еще ниже, на снегу, — две тени. Одна лежит в колее, а вторая, падая и вскакивая, уходит в кукурузу. Правда, не к немцам и не назад, а куда-то в сторону от всех. «Удерет», — мелькает в сознании, и я, не целясь, нажимаю на спуск. Автомат коротко вздрагивает, и треск его выстрелов возвращает меня к реальности. На руках и коленях я бросаюсь к немцу, тот впереди также вскакивает и, пригнувшись, широко сигает меж редких стеблей. Я, задыхаясь, кричу: «Назад!» Он испуганно бросается в сторону. Но в несколько прыжков я все же настигаю его и падаю почти рядом. Шумно дыша, он лежит, вглядываясь в меня, и ждет. Одежда его и голова в снегу. Я вскидываю автомат и в лютой ярости хрипло командую: «Назад!» Немец послушно поднимается на колени и торопливо ползет между изломанных стеблей кукурузы. За ним на четвереньках ползу я. Откуда-то сбоку отчетливо доносится встревоженная немецкая речь. Кротова нет. Мерзлые тугие

кукурузные стебли путаются под руками, задевают плечи и голову. Но кукуруза все же скрывает нас, и мы торопливо удаляемся от того места, где нас положила очередь. Нас всего двое. Тот, в колее, так и не поднимается. Я не знаю даже, который это из них, как не знаю, который ползет со мной. И непонятно, что с Кротовым! На секунду задержавшись, я оглядываюсь: немцев не видно. Уже начинает казаться, что мы оторвались от них, как вдруг совсем рядом в кукурузе раздается крик:

— Хальт!

— Хальт!

— Хальт, рус!..

И очередь — одна, вторая, две сразу. Мы падаем и по рыхлому снегу опять бросаемся в сторону. Мое внимание раскладывается надвое — одновременно я ловлю все, что угрожает нам сзади, и не упускаю из виду немца. Он вертится как уж, ползет, и я тоже извиваюсь, кувыркаюсь, ползу, чтобы не отстать.

В кукурузе тем временем раздается одиночный пистолетный выстрел, и затем снова, приглушенные расстоянием, доносятся крики немцев. И тут какой-то хрипловато-отчаянный крик, отдаленно напоминающий голос Кротова, останавливает меня:

— Нет! Нет! Сволочи-и...

И снова щелкает слабый пистолетный выстрел — второй. Третий, видно, накрывает очередь, и после ее треска все там стихает.

«Что же это? Как это? Почему такое?» — точно дрожь бьет меня растерянная мысль. Вывалянный в снегу, я лежу меж спутанных будылей кукурузы. Передо мной лежит немец. Я только теперь узнаю его, это тот, очкастый, в мундирчике. Правда, очков у него уже нет. Он тяжело дышит и растерянно моргает своими белесыми глазами. Я вскакиваю на ноги и тут же приседаю от боли в стопе. Нога заметно тяжелеет, что-то горячее, остро-жгучее расползается по стопе. В сапоге становится мокро. «Ну вот и все!» — сжимает сердце тоскливая мысль. Однако я тут же овладеваю собой, поняв, что, растерявшись, погибну. Воля моя свивается в клубок, внимание предельно напрягается, время четко отмеривает решающие для меня секунды.

Привстав на колени, я наступаю на раненую ногу — цела ли хоть кость? Если надломится — тогда все пропало. Но, слава Богу, нога выдерживает, только сильно болит в стопе и жжет. Правда, боль не в счет — боль мы как-нибудь стерпим. Пригнувшись, я толкаю автоматом немца, и мы скрываемся в кукурузном массиве.

Глава шестая

Люди идут, идут, идут...

И я иду. Иду бесцельно, неведомо куда, навстречу теплой весенней ночи. Вечерняя тишина высокого погожего неба миром и благостью вливается в растревоженную душу. Мелкой трелью рассыпается-журчит «Спидола». Это впереди размеренно шагают, словно плывут в людском потоке, трое молодых парней. Черные вечерние костюмы, остроносые туфли, аккуратно причесанные шевелюры…

Теперь, через двадцать лет, можно судить по-разному, хотя, признаться, я и до сих пор толком не знаю, как все это случилось. Возможно, отступая, немцы намеренно оставили в нашем тылу танковую группировку, а может, наши части в ходе наступления сами обошли ее. Вперед, не обращая внимания ни на что, как можно глубже в оборону противника — было неписаным правилом каждой наступательной операции. А танки остались. Скорее всего, это произошло именно так. Важно было окружить Кировоград, поставить под угрозу разгрома десяток немецких дивизий. И вот в каком-то месте нашего боевого порядка образовалась брешь, в которую вклинились немцы.

Для фронта это было не страшно, для армии тоже. Дивизии было хуже. А вот для нас… Для меня, Кротова, бедолаг раненых, так же как и для беспечных тыловиков, это стадо вопросом жизни и смерти.

Людской поток с тротуара вливается в огромную толпу на площади. Тут памятник. Высоченный, не очень оригинальный монумент, сооруженный по привычным стандартам своего времени. Наверху — орденская звезда Победы. Хлопцы уверенно прокладывают себе путь в толпе, ближе к памятнику. Там же Вечный огонь. Конечно, на могиле Неизвестного солдата. Вокруг шум и толчея. Толпа теснится, сдвигается в сторону, пропуская вовнутрь строй пионеров со знаменами. Лесной аромат хвои от венков настраивает на похоронный лад. Торжественная минута возложения. Людской шум немного притихает, громче звучит марш из репродукторов. Возле памятника слышится какая-то команда, и я думаю: возможно, тут будет митинг? Хотя на митинг как будто не похоже — нет ни трибун, ни руководства. Отработанным, хорошо поставленным голосом юная воспитанница школьной самодеятельности читает стихи. «Никто не забыт, ничто не забыто», — звонкой медью разносятся над площадью бодрые, полные оптимизма слова.

Я пробираюсь меж людей к памятнику. Что мне там надо увидеть? Всюду лица, лица, лица. На меня никто не обращает внимания. Тем лучше. Я понимаю, что найти тут кого-нибудь — безнадежное дело. Иголка в стогу сена. И все же я проталкиваюсь в середину. Гранитное подножие монумента завалено зеленью венков.

Сколько еловых веток! На войне они сопутствовали убитым в их последнем земном пути. Вместе с ними клались в могилы, устилая вечное пристанище. Терпкий смолистый запах стоит над площадью.

К огню, однако, не подступиться. Оттуда идут пионеры. Стройные ряды белых рубашек и кофточек. Торжественно алеют галстуки. Я застреваю в плотной группе молодежи. Снова остроносые туфли, каблучки-шпильки, пышные нарядные прически. И откуда-то из-под пиджаков, из карманов — та же приглушенная россыпь транзисторов:

А за окном то дождь, то снег,
И спать пора-а-а-а…
Но никак не уснуть…

— Старина, что смотреть! Прошвырнемся?

— Эдик, нахал! Ну тебя!

— Посмотри, вон та. С ямочкой.

— …Такой чудак! Он мне говорит… Я ему говорю…

Торжественная церемония у памятника их мало занимает.

Они живут своим, куда более привычным и близким. И я их понимаю. В самом деле: прошло двадцать лет. Одни ничего уже не помнят из своего раннего детства. Другие родились после войны. Война для таких своего рода абстракция. Как крепостное право. Оледенение Европы. Неолит.

Медленно я пробираюсь между их плотных рядов. Мне нужен Вечный огонь. Зачем — не знаю и сам. Разве чтобы приблизиться, посмотреть. Во всяком огне есть что-то неизъяснимо притягательное. Возможно, это инстинкт, унаследованный из глубины веков. У древних огонь был источником жизни, средством очищения и жертвоприношений. Теперь он символ другого смысла. Мне хочется только взглянуть на него и тем приобщиться к памяти мертвых.

Не очень деликатно раздвигая людей, я приближаюсь к обелиску. Правда, огня почти не видать. Низкая бронзовая горелка со всех сторон обложена венками. Над хвоей прозрачными волнами струится горячий воздух. В широком молчаливом кругу замерли люди — взрослые и дети, мужчины и женщины. Строгие взгляды всех прикованы к одной точке. Лица торжественно-сосредоточенны. Они мудры и светлы, эти лица. Мне кажется, я никогда не видел такими наших людей. Даже не верится, что это обычные лица самых обыкновенных людей. Впрочем, это те, по судьбам которых всей своей тяжестью прошлась война. Едва вглядевшись, я сразу понимаю это.

Что ж, пожалуй, я не буду тут лишний.

Я вытягиваю голову из-за чьей-то широкой спины и молча стою со всеми. Горелка струит едва приметный на зеленом фоне

дымок. Мягкой позолотой поблескивают литые рельефы памятника. Напротив, будто мраморное изваяние, — неподвижно-скорбное лицо женщины. Она в большом темном платке, из-под которого выбивается на лоб прядь белых волос. Невдалеке, скрестив на рычагах руки, инвалид в коляске. И вдруг я слышу тихий вопрос впереди стоящего:

— Он какой, огонь-то? Настоящий?

— Самый взаправдашний, папка. Это от газа огонь. Как на кухне у Кузьмичевых.

Восьмилетний мальчонка тормошит за руку человека. Тот, однако, стоит ровно, едва склонив голову.

— Большой?

— Большой, папка. Только венками завалили — не видать.

— А венков много?

— Много. На мазовский самосвал не вместится.

— Самосвал, он как «студебекер»? Да?

— Что?

Мальчик не расслышал или не понимает незнакомого слова. Я объясняю:

— Много венков. Пожалуй, на «студар» с верхом.

Человек вполоборота поворачивает ко мне побитое порохом лицо:

— Спасибо. Большое спасибо.

Пожалуйста. Хотя зачем благодарности? Зло меченные войной, мы и так отлично понимаем друг друга. Я обхожусь без ноги, он — без глаз. Мы — братья одной судьбы. И мне становится хорошо здесь, в этом тесном строю. На этом стихийном митинге без ораторов. Мальчонка из-под отцовской руки с уважительным любопытством поглядывает на незнакомого человека.

Однако хорошего понемножку. Сдается, долг мой исполнен, и я начинаю выбираться из толпы. Все-таки вечный огонь в память о павших — это здорово. Если только вечность его не окажется слишком короткой. Как те навечные зачисления героев в списки частей, впоследствии расформированных.

Я решительно выбираюсь из толпы. Вдоль тротуара — плотные ряды людей. Кто-то клацает «Зорким». Женщина на вытянутых руках высоко поднимает ребенка. Пусть видит и помнит. Пригодится.

Перейдя тротуар, натыкаюсь на ряд красных газировочных автоматов. Возле них тоже толпятся люди. Щелкают медяки, неторопливо гудят железные механизмы, аккуратно отмериваются ровные порции. Стараясь не ступить в лужу на асфальте, ищу стакан. Возле крайнего автомата, заслоняя друг друга, что-то хитрят

двое уже немолодых людей, по возрасту, похоже, фронтовики. У обоих в руках стаканы. Ясно, не с газировкой.

Один из них, перехватив мой озабоченный взгляд, с обезоруживающей фамильярностью подмигивает:

— Одну минутку.

И прячет за автомат бутылку. Я останавливаюсь в сторонке и жду. Мужчины украдкой чокаются. Один рослый, тяжеловатый, с кирпичного цвета лицом. На его пиджаке три ряда орденских планок. Два — Красного Знамени, по одному — Александра Невского и Отечественной войны. У второго, который чуть помоложе, с каким-то простецким помятым лицом, лацкан коричневого пиджака оттягивают две Красные Звезды. Видно, привинтил специально к празднику. Мужчины торопливо пьют и, крякнув, заедают сушеной воблой. Старший выразительным кивком головы указывает на мою ногу:

— Что, на войне?

— На войне.

— А газировку пьешь. Иль не заработал? — грубовато упрекает он и спрашивает: — Стукнуло где?

— На Втором Украинском.

— Сосед. Я с Первого. А этот с Ленинградского, — с треском ломая воблу, кивает он на собутыльника.

Я жду, а он, помедлив, наклоняется над бутылкой. Широкая большая его рука щедро наливает почти полный стакан.

— Давай! За тех, кто хочет, да уже не может.

— Не пью, к сожалению.

На глазах хмелея, человек готов возмутиться:

— Как это не пьешь? Тогда ты не фронтовик. Ты — железнодорожник!

У него неторопливые движения, непререкаемый командирский тон, самоуверенный взгляд человека, знающего себе цену. Тот, что помоложе, напротив, все время смеясь глазами, грызет металлическими зубами воблу и подмаргивает.

— Давай, друг! За русских Иванов.

Мне вовсе не хочется пить, но их непререкаемая категоричность обезоруживает. Неудобно, но разве что за Иванов. Младший отламывает кусок воблы, и я торопливо, захлебываясь, пью. Как на фронте. Случайная чарка среди незнакомых соседей — танкистов или минометчиков. Правда, там не было и следа неловкости.

— Ну и ничего! — одобряет старший. — Справился. Трепался только. В каком звании?

— Я?

— Ну не я же.

— Младший лейтенант.

— Понятно. Ванька-взводный?

— Да. Хотя и ротным был.

— Я тоже. До Берлина вырос в дивизионного.

Соленый кусок рыбы обжигает во рту. Настроением быстро овладевает хмельная благостность. Из репродукторов гремит «Священная война». Рядом ходят, толкаются люди, но мы уже не обращаем на них внимания. Меня интересует мой собутыльник. Насчет дивизионного, по-видимому, он все же загнул.

— Не слишком ли высоко?

— Высоко? Думаешь, до дивизии недобрал? Да? А ну, подсчитаем. Один комплект роты двести человек...

— Смотря какой роты.

— Какой? Штрафной, конечно.

— Штрафной?

Я с новым интересом поглядываю на этого человека. Плечом тот прислоняется к красной обшивке автомата.

— Ну и вот. Двести умножь на двенадцать. Двенадцать раз формировались. Не считая частичных пополнений. Дивизия!

Ну, может и не дивизия, но тоже немало. Я впервые встречаю человека, который на фронте командовал штрафной ротой, и с нескрываемым любопытством гляжу на него. Младший разрывает пачку «Беломора». Возле нас появляется женщина в прозрачной косынке и с медяком в пальцах.

— Стаканчики свободны?

— Заняты! — бросает старший.

— Пьяницы проклятые!

— Цыц, тетка! У нас поминки!

Женщина, отойдя, грозится:

— Вот позову дружинников, тогда помянете. В отрезвитель вас, алкоголиков!

— Что? Дружинников? Зови! Зови дружинников! — начинает распаляться старший и угрожающе ступает от автомата.

Младший, блеснув металлическими зубами, хватает его за руку:

— Кузьмич, спокойно! Спокойно, Кузьмич!

— Что спокойно? — кричит Кузьмич. — Пошли вы!.. Давай еще стакан.

Младший достает из-за пазухи новую бутылку, и Кузьмич натренированно срывает с нее белую головку. Руки его дрожат.

Водка через край стакана льется на асфальт. На этот раз они пьют вдвоем и молча. Я понимаю: пора идти. Но Кузьмич, выплеснув остаток спиртного под ноги, поднимает на меня покрасневшие недовольные глаза:

— Что смотришь? Осуждаешь, да? Осуждаешь? Двенадцать на двести, думаешь, где? В земле! Из плена прибегали! Не усидели до конца войны. Вот! Кто сегодня в героях? Брестская крепость и так далее! А я четверых из Брестской на Сандомирском плацдарме закопал. Вот! Тогда не спрашивали, как в плен попал! Спрашивали, почему не застрелился! Ясно? Ты! Железнодорожник! — с яростью заканчивает он.

— Кузьмич, спокойно! Тихо, Кузьмич, — берет его за пиджак младший.

Кузьмич зло и почти бессмысленно смотрит на меня. Кажется, он уже забыл, кто я, и готов обрушить на меня весь свой накопленный с войны гнев.

— Ладно. Будьте здоровы! — говорю я. — Спасибо.

Младший сжимает мою руку:

— Не за что. Ты не обижайся. Знаешь… Кузьмич, он добрый…

Прихрамывая, я не спеша иду по тротуару. У выпившего хромота становится всегда заметнее. И я не обижаюсь. Вообще пьяницы омерзительны, тем более скандалисты. Но этого, «дивизионного», можно понять. Двести на двенадцать! Невольно озвереешь. Особенно с годами. Когда все это отстоится, усилится в эмоциональном восприятии и прозреет в памяти. Тогда и замелькают мальчики кровавые в глазах.

А Сахно? Видит ли он своих мальчиков? Тех, что погибли от него и из-за него?

Нет, я никудышная размазня. Надо было сразу же задержать его, спросить документы. Если что — позвать на помощь людей. Столько передумано о нем, а когда представилась наконец просто невероятная, может, единственная в жизни возможность, так я растерялся. Фронтовик, называется!

Водка заметно будоражит мое сознание. Хочется что-то предпринять, на что-то решиться. И я бреду, куда ведут меня улицы. Сначала по проспекту, потом на перекрестке сворачиваю за угол. Постепенно поток прохожих на тротуаре редеет. Разом, вспыхнув, загораются вверху фонари. Их круглые шары, как спаренные луны, тускло светятся в небе, над мелкой еще листвой лип. По мере того как темнеет небо, они разгораются все сильнее…

Глава седьмая

Не скоро еще мы выбираемся из кукурузы в чистое поле с разбросанными там скирдами, и я вслушиваюсь. Откуда-то доносятся голоса, но это далеко и не сразу определишь — свои или немцы. В сапоге хлюпает кровь, руки закоченели от мороза. Рукавица осталась только одна, и та мокрая от снега и не греет.

Немец плетется сзади, натыкаясь на кукурузные стебли, часто цепляется за них сапогом и падает. Без очков он совсем стал слепым, и я, сжимая от боли зубы, время от времени покрикиваю на него. Внутри у меня все горит от усталости и изнеможения, спина вся в холодном поту, сердце, того и гляди, выскочит из груди.

Что же это случилось, как же это? — не могу я понять. Как это в своем тылу мы угодили в такую ловушку, как нарвались на засаду? Бедный Кротов! Мне то жалко его, то я чувствую в себе жгучую злость на него. Впрочем, я ругаю себя, комбата, старшину Шашка, хотя руганью уже ничего не исправишь.

Танки! Откуда они взялись тут, и что мне, подстреленному, теперь делать? Надо как можно скорее доложить начальству. Надо принять какие-то меры, нельзя допустить, чтобы в тылах батальонов хозяйничали вражеские танки. Это — разгром и гибель.

Но кому скажешь? Как назло — нигде никого из своих. Хотя бы связисты, они помогли бы. Только связистов уже давно простыл и след. Кругом дремотно покоится широкая степь, залитая ярким светом высокого месяца. Пересыпается под ногами неглубокий снег. Поодаль толпятся заснеженные скирды.

Я не могу сдержать нетерпеливости и то и дело пытаюсь бежать. Только нога моя болит все сильнее, я хромаю, и немец начинает обгонять меня. Так мы добредаем до ближайших скирд, и тогда я вижу невдалеке повозки. Глухо стуча колесами, они неторопливо катятся куда-то в снежную даль.

— Эй! Эй! — кричу я, бросаясь бежать.

Нет, упустить их мы не можем. Это последняя наша возможность предотвратить беду, которая нависла над батальонами, а может, и над полками тоже.

— Эй! Стой! Стой!

Передняя повозка все катится, наверно, никто там меня не слышит, а задняя и в самом деле вдруг останавливается. Но это все же далеко, и я изо всех сил нестерпимо долго бегу, загребая сапогом рыхлый, рассыпчатый снег. Мне все кажется, что ездовой не дождется нас и повозка вот-вот тронется следом за первой. Но он все же терпеливо дожидается, и мы с немцем наконец добираемся до дороги. В подводе несколько человек. Все молча и не очень дружелюбно всматриваются в нас.

— Там танки!.. В кукурузе!.. — говорю я, сдерживая дыхание и стараясь выглядеть как можно спокойнее. Только это, видать, мне плохо удается.

На повозке молчат.

— Танки! Немецкие танки. Понимаете? Где командир? Давайте к командиру! — с запальчивой решимостью требую я.

И тогда на повозке отзывается недоверчивый женский голос:

— Видно, здорово тюкнуло? Может, и контузия, а?

Эта ничем не прикрытая ирония выбивает из меня остатки квелого моего самообладания.

— Какая контузия?! Пошли вы к черту! Танки! Понимаете, немецкие танки! В кукурузе!

На подводе зашевелились, кто-то, опершись на плечо ездового, соскакивает на снег. Оказывается, это девушка в полушубке и шапке. Но она мне незнакома, видно, подвода не нашего, а какого-либо другого полка.

— А ну покажи голову!

— Да не голова! Ты вот ногу перевяжи. В ногу ранило! — кричу я, теряя терпение от этой нелепой ее невозмутимости.

— Ногу?

— Да! Ногу! Не веришь?

Я опускаюсь на снег и, чтобы не завыть от боли, сжав зубы, стаскиваю с раненой ноги сапог. Там мокро, и я опрокидываю его голенищем вниз — на снегу появляется темное пятно крови.

Это убеждает. Девушка вскидывает голову и вдруг настораживается.

— Постой! А тот кто?

— Немец. Не бойся, не укусит: пленный! — раздраженно чуть не кричу я.

Нога дико болит, мокрые пальцы стынут на морозе, я уже готов возненавидеть эту «помощницу смерти» за ее недоверие и медлительность.

— Давай на подводу! — говорит она. Затем уверенно берет меня под руку и прикрикивает на немца: — А ну помоги! Что глядишь, как Гитлер?

Немец понимает и с неловкой деликатностью подхватывает меня под локоть.

— Ладно, идите вы! Я сам…

На одной ноге я допрыгиваю до повозки. Там, оказывается, лежат на соломе еще двое раненых. Один тихо стонет, запрокинув голову, второй, приподнявшись, запавшими глазами на исхудалом лице смотрит на меня.

— Вот тут, в уголок.

Девушка с ездовым устраивают меня на подводе. Затем она ловко и туго перевязывает бинтами мою простреленную стопу. Но тут обнаруживается новая беда — сапог на перевязанную ногу уже не налазит, да и боль такая, что нет сил вытерпеть это мучительное обувание. Напрасно помучившись с минуту, я бросаю сапог в солому. На снегу возле дороги остается окровавленная портянка.

— Повезло, — говорит девушка. — Еще бы на миллиметр, и — кость вдребезги.

«Кость, кость!» — меня раздражает теперь это ее неуместное сочувствие. Сам знаю — вдребезги. Кость — не железо.

— Давай быстрее! — кричу я. — И немца посади.

— Некуда! Пусть бежит. Протрясется.

— Протряссся уже. Последний остался. Второго ухлопали. И Кротова! — говорю я, почти физически ощущая, как в тревожной тоске сжимается сердце. Эх, Кротов, Кротов!..

В который уже раз я не могу примириться с такой внезапной и скорой гибелью человека. Просто это невозможно постичь. Ведь только же был с тобой рядом, шел, ел, ругался. И вот его нет. И никогда уже не будет.

Девушка, примащиваясь возле ездового, удивленно оглядывается:

— Кротов? А что Кротов?

— Убили, что!

— Кротова? Командира роты?

— Ну.

— А ты не треплешься, младшой?

Она впервые настораживается, кажется, только сейчас проникшись моей тревогой и моей бедой.

— Только мне и не хватало еще трепаться с вами! Гони в полк! Танки вон в километре! — кричу я. — Ты понимаешь или нет?

— А ты не кричи! Тоже командир нашелся! — злится девушка.

Я умоляюще гляжу на нее и думаю: «Не буду, не буду кричать, только давай же быстрее! Милая, хорошая или как там тебя назвать, гони же!» Девушка настороженно поглядывает в ночную степь, секунду вслушиваясь, потом толкает притихшего ездового:

— А ну погоняй!

И ездовой быстро гонит пару шустрых лошадок, от которых курит паром, и все оглядывается по сторонам. Повозка то дребезжит и подскакивает на кочковатых выступах ненаезженной полевой дороги, то стихает, увязая колесами в сыпучем снегу. Сидеть мне страшно неудобно. Коченеет нога, горячей болью жжет рана. Но и подвинуться нельзя ни на сантиметр. Я и так сижу чуть ли не на самых ногах раненого, который стонет, ругается и умоляет девушку:

— Катерина! Катя! Тише! Черт бы тебя побрал. Живодер ты, а не сестра, тише! Ух!.. Ох! Катюшенька!..

Катя наклоняется с передка, одной рукой придерживает его голову и просит с той непривычной на фронте нежностью, которая уместна только по отношению к тяжелораненым:

— Потерпи, миленький. Потерпи, родной! Сейчас уже. Скоро…

И тут же, повернув лицо к немцу, который, уморившись, бежит за подводой, кричит:

— Быстрей, немчура проклятая! Быстрей!

Я молчу, ничем не высказывая своего отношения к ее окрику, и, видно, потому она поясняет:

— Была бы моя власть, я бы его бегом прогнала на Северный полюс и обратно. На Колыму б его, собаку! За наши муки! Пусть бы померз, помучился, сколько русский народ мучается.

Затем с твердостью человека, привыкшего, чтоб его слушались, негромко приказывает ездовому:

— Погоняй!

И тут же наклоняется к раненому:

— Потерпи, потерпи, миленький!

Да, уж терпи как-нибудь: надо спешить. Я и сам едва держусь, нога мало того что болит, еще и мерзнет под полой шинели. Только надо терпеть до села. Там люди, штабы, командиры, они что-нибудь предпримут.

Глава восьмая

Село возникает неожиданно. На лунной белизне длинной, пологой балки появляется ряд белых мазанок с изгородями, плетнями, зарослями вишенника на межах. Местами мирно светятся окна, на улице — урчание машин и голоса. В селе свои. Правда, меня немного удивляет такая идиллия под носом у немцев. Но ведь это тылы. Полки наступают неплохо, впереди танки, артиллерия, чего им бояться?

Дорога катится вниз; дребезжит, грохочет повозка; Бога и всех чертей поминает бедолага раненый. Даже второй, что поспокойнее, и тот поднимается на локте под шинелью. На его белом, неестественно ощетинившемся лице отчетливо проступает гримаса страдания. Катя на передке заикающимся от тряски голосом успокаивает:

— Счас, счас, родненькие… Счас…

Мы быстро спускаемся по отлогому склону и, проехав короткую, обсаженную вербами греблю, сворачиваем в улицу. Но по улице не проедешь. Впереди, перегородив дорогу, урчит многосильный «студебекер». Из приоткрытой дверцы кабины высовывается шофер, привычным движением руля он помаленьку сдает назад. У плетня спиной к нам кто-то в полушубке командует нервным осипшим голосом:

— Лево руля! Лево! Еще лево! Давай, давай!..

«Студебекер» пролезает в непомерно узкие для него ворота, тяжелыми скатами вминает снег, и вдруг обмазанный глиной плетень с хрустом кладется на землю. Человек в полушубке вскидывает кулаки:

— Куда даешь?! Куда даешь, собачий ты сын? Где у тебя глаза? Где глаза у тебя, я спрашиваю?

Он почти в бешенстве подскакивает к кабине, кажется, вот-вот набросится на шофера. Но не набрасывается, и шофер неожиданно спокойно басит:

— Во лбу глаза, товарищ капитан.

— Во лбу? — удивляется капитан. — Разве они у тебя во лбу? В другом месте они у тебя! Давай вперед!

— Стой, — говорю я.

Ездовой придерживает коней. Катя соскакивает с передка.

— Товарищ капитан!

Капитан не слышит или не хочет слышать. Отступив на шаг, он снова кричит шоферу:

— Вперед и право руля! Еще, еще право! Давай, давай!

— Капитан! В степи танки! Кому доложить?

Катя вплотную подступает к командиру. Я слезаю с повозки и на одной ноге тоже скачу к нему.

— Товарищ капитан! Там немецкие танки! — надеюсь я удивить его этим сообщением. Но капитан будто не слышит.

— Право, еще право! Так, так! — Он приседает, заглядывая под кузов машины.

«Студебекер», урча, как рассерженный мамонт, начинает въезжать во двор.

— Что, танки? Много? — И сразу же к шоферу: — Давай, давай! Прошло! — с облегчением объявляет он и будто впервые замечает рядом меня с Катей. — Танки! Немецкие! Вы слышите? — кричит Катя. — Вот турнут, будет вам тогда «давай, давай».

— Что? — удивляется капитан, и осипший голос его снова становится сварливым. — А что вы на меня кричите? Что я — ИПТД? Идите в артполк и докладывайте. Мне приказано, я ДОП разгружаю.

Он разгружает ДОП! Эта его неуязвимость просто бесит. Я хочу разъяснить капитану, что нависло над его ДОПом, но Катя, меньше церемонясь в обращении, обрывает меня:

— Какой, к черту, ДОП! Вот стукнут по селу — будет тогда и ДОП и поп.

— Товарищ капитан!..

Катя машет рукой:

— Да ну его, младшой! Он чокнутый.

— Ага, чокнешься! Мне к двадцати четырем ноль-ноль надо шесть «студеров» разгрузить. Понимаете? Плевать мне на ваши танки.

— Ладно. Дурака кусок, — бросает Катя. — Давай дальше.

Она вскакивает в передок, я заваливаюсь в повозку. Ездовой огревает коней, и, объехав «студебекер», мы мчимся по улице. А в селе так по-вечернему уютно и мирно, что мне даже становится

страшно. С все возрастающей тревогой я предчувствую, чем может кончиться такая идиллия. Нет, во что бы то ни стало надо найти какой-нибудь штаб, пусть что-нибудь сделают.

В одном дворе, аккуратно «притертый» к стене, стоит «виллис». Возле него молча копаются двое — кажется, выгружают имущество. Где «виллис», там, конечно, начальство, и Катя, завидев машину, сразу останавливает повозку.

— Сиди, младшой, я сама.

Я остаюсь на подводе, а она бежит во двор и что-то встревоженно там объясняет. Вскоре все вместе они выходят на улицу.

— Вот младшой лейтенант наткнулся. Командира роты убило, — говорит девушка и умолкает, с надеждой поглядывая на впереди стоящего человека.

Я также всматриваюсь в него. Это — высокий, поверх шинели затянутый ремнями мужчина, на его плечах широкие с двойным просветом погоны. Других знаков не видно. Но он в ушанке, и я определяю: майор или подполковник.

— Вы где видели танки? — спокойно обращается он ко мне.

— В степи, товарищ подполковник. (На всякий случай беру с запасом, за это не обидится.) Километрах в трех отсюда. Штук двенадцать стоят стволами сюда.

— Вы думаете, это немецкие?

— Немецкие, — говорю я. — Нас обстреляли. Командира роты убили. Мы вот едва выскочили с пленным.

Подполковник молча оглядывает меня, затем немца, который в терпеливом ожидании стоит возле подводы, подрагивая от стужи.

— Так. Хорошо. Можете ехать, — помедлив, говорит командир.

Мало что понимая из этого разрешения, я спрашиваю:

— А куда пленного сдать?

— Пленного в Ивановку. Согласно распоряжению командующего, сборный пункт для военнопленных в Ивановке.

— Да тут все ранены, — говорит Катя. — Возьмите вы немца.

— Нет. Отправляйте в Ивановку, — спокойно, с непоколебимой твердостью говорит командир. — И попутно сообщите там о танках. Скажите, подполковник Волох послал, — неожиданно приказывает он.

Вот тебе и раз. Мы — им, а они — нам. Договорились! Получили приказ! Подполковник с тем, что в телогрейке, отходят к хате и закуривают. Мы стоим на месте и удивленно переглядываемся. Слышно, как тот, второй, тихо предлагает начальнику:

— Видно, надо смываться... Ну их к дьяволу, эти танки...

Я не слышу, что отвечает подполковник, скоро они вдвоем скрываются во дворе, и что-то во мне надрывается. Выдержка моя на том кончилась, и я готов ругаться — что же это делается? На повозке стонут раненые.

Катя вспыхивает:

— Тыловики проклятые! Концентратов отъелись — не прошибешь! Хоть караул кричи!

— Гони! — кричу я ездовому. — Гони дальше!

Я целиком во власти нетерпения. Черт с ними, поедем в Ивановку. Только где она, эта Ивановка? Легко ли ее найти ночью, и сколько на это понадобится времени? А тут еще два человека на подводе!.. И немец, что трусит сзади. И моя мокрая от крови нога, которая уже омертвела и дико болит от раны и мороза…

На повороте улицы мы чуть не сбиваем нескольких бойцов. Спасаясь от коней, они с руганью вскакивают на завалинку хаты. Один прижимается к плетню, и по новой цигейковой шапке на голове, а скорее по сумке на боку я узнаю в нем командира. Неожиданная надежда вспыхивает во мне. Я хочу остановить подводу, но он останавливает ее сам — в ярости хватает за уздечки коней и заворачивает их поперек улицы.

— Стой!

Голос его злой, властно-нетерпеливый, пожалуй, некстати такая встреча. А впрочем, к черту этикет, если в тылы прорвались танки! Но прежде чем я успеваю раскрыть рот, чтобы сообщить ему об этом, человек строго спрашивает:

— Кто такие?

— Да раненые! Не видите разве? Из батальона Шаронина, — отвечает Катя.

— Товарищ командир, — говорю я. — Надо как-нибудь передать в штаб, в разведотдел… Комдиву. В степи недалеко отсюда танки. Немецкая засада.

Командир выслушивает это с мрачной затаенностью. Потом подходит к повозке, заглядывает в нее и, будто не слыша моих слов, тоном, исключающим возражения, приказывает:

— Слезть всем!

— Да вы что? — вскакивает на передке Катя. — Вы что: тут тяжелораненые.

— Санинструктор, да? Ко мне, санинструктор! Вы, раненый, тоже! — не принимая во внимание ее слов, кивает он мне.

Откуда-то возле него появляется автоматчик, теперь их уже двое. Командир стоит в двух шагах от нас, грозный и неумолимый, как генерал. Я всматриваюсь в его плечи, стараясь определить воинское звание, но там ничего не поймешь. Вверху сияет месяц, и

мне не видно лица командира, затененного шапкой. Но я чувствую, что лицо это не предвещает добра.

— Повторяю: санинструктор, вы, с забинтованной головой, повозочный и вы, — кивает он в сторону немца, — следуйте за мной.

Ничего не поделаешь. Тихо выругавшись, Катя первая соскакивает с передка, неохотно покидает свое место ездовой. Держась за края повозки, слезаю и я. Командир ступает вперед.

— Марш в помещение.

Я думаю, что это — не более чем недоразумение. Куда он нас поведет, и что плохого мы ему сделали? И я хочу объяснить:

— Вы понимаете: танки. Мы спешили доложить. Через час-другой они могут быть тут.

Командир оглядывается:

— Попрошу помолчать. Пока вас не спрашивают.

— Ну пошли, подумаешь! — со злой решимостью говорит Катя и шагает во двор.

За ней идет ездовой, потом немец. Я, хватаясь за изгородь, на одной ноге прыгаю следом за ними. Возле повозки с двумя ранеными остается автоматчик.

Командир ведет всех через двор, затем в темные сени и открывает дверь в хату. На оконном косяке тускло горит коптилка, окна завешены каким-то тряпьем. Несколько малышей пугливо бросаются на печь, и вскоре из-за каминка появляются их любопытные личики.

— Прошу документы! — говорит начальник, подходя к коптилке, и оборачивается.

Я оглядываю его плечи — вот тебе и на. Всего лишь капитан, а держит себя как генерал, не меньше. Столько напускной строгости!

— Пожалуйста! — с готовностью, но и с подспудным вызовом говорит Катя и лезет за пазуху.

Сдерживая в себе неуместный тут гнев, я нащупываю под шинелью нагрудный карман и достаю удостоверение. Ездовой наш, довольно пожилой, с крестьянским лицом дядька, неторопливо распоясывается и долго копается в складках одежды, пока находит аккуратно завернутую в бумагу красноармейскую книжку. Минуту капитан молча изучает наши документы. На его чернявом лице непреклонная строгость службиста. Но вот наконец он поднимает лицо, обводит всех придирчивым взглядом и останавливается на четвертом — немце, который сутулится в полумраке у самого порога.

— А вы что?

— Это пленный, — говорю я. — На сборный пункт ведем. В Ивановку.

Я думаю, что он сразу прицепится ко мне и пленному, документов на которого у меня никаких нет, а его остались в батальоне. Видно, в том виноват я. Только кто предполагал, что мое конвоирование обернется таким образом! Но капитан, кажется, не намерен излишне придираться к пленному и складывает вместе наши документы.

— Где вы видели танки? — спрашивает он у меня, стоя под самой коптилкой.

— В кукурузе. Километра за три отсюда.

— Кому вы о том доложили?

— Кому тут доложишь! — запальчиво опережает меня Катя. — Тут у вас все как пыльным мешком побитые.

Она так вольно и независимо держит себя перед этим придирой капитаном, будто он и вовсе никакой не начальник. Я, к сожалению, так не могу и покорно стою, прислонясь к скамье и поджав свою простреленную ногу.

— Двум человекам докладывали, — говорю я. — Капитану из ДОПа и одному подполковнику.

— Так вот, зарубите себе на носу! — строго говорит капитан. — Чтоб больше ни слова. Поняли? А то панику мне развели! Как в сорок первом. Я вам покажу танки! — заканчивает он нелепой угрозой.

— При чем тут паника! — дерзко бросает Катя. — Мы докладываем. Что мы, на всю улицу кричим, что ли? Да тут у вас хоть голоси — никого не проймешь.

Капитан выслушивает ее слова и оставляет их без ответа. Обращается он ко мне одному:

— Вы поняли, младший лейтенант? А теперь марш отсюда! — строго приказывает командир и добавляет чуть мягче: — В третьей от церкви хате сбор раненых.

Потом отдает наши документы и засовывает руки в карманы шинели.

— А пленного? — спрашиваю я. — Возьмите у нас пленного. У меня вот нога...

— Я не конвоир! — отвечает капитан.

Я растерянно стою, начиная понимать, что и от этого больше ничего не добьешься.

Помолчав, мы нерешительно направляемся к порогу и, ощупывая холодные стены в темных сенях, выбираемся на двор. Морозный снег поскрипывает под ногами.

— Ну и черт с ним! Поехали. О тех надо подумать, а то поокочурятся, — говорит Катя и направляется к повозке.

Глава девятая

Хата санчасти приветливо встречает нас огнями в двух окнах (третье заткнуто охапкой соломы) и песней. Кто-то во все осипшее горло натужно тянет под нестройный басовитый гул нескольких струн гитары:

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя привозил.
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил…

Знака или флажка на хате нет никакого. Во дворе также ничто не свидетельствует о наличии тут санитарной части. Но, как говорил капитан, это третья хата от церквушки, что скромно сереет невдалеке побеленными стенами, и Катя останавливает коней. Ездовой соскакивает на снег, слезает с передка Катя. Я также вываливаюсь из подводы, бросаю немцу: «Ком!» — и на одной ноге прыгаю к раскрытым в сенях дверям. Пленный уныло идет следом.

Песня и гитара сразу обрываются. В углу и на припечке лихорадочно трепещут огоньки двух «катюш». Под потолком висит плотный слой дыма, и в углах царит не побежденный коптилками мрак. Резкий запах свежих бинтов, крови и прокисшая вонь шинелей бьют в нос, тем самым, однако, убеждая, что хатой мы не ошиблись.

— Рама! В укрытие! — после секундной паузы в фальшивой тревоге выкрикивает чей-то голос.

Вслед за Катей я пропускаю немца и перескакиваю через порог. Первым на глаза попадает гитарист. Вытянув на кровати у порога обмотанную бинтами ногу, он замирает с гитарой в руках и, сверкнув озорными глазами, упирается взглядом в Катю. В углах на соломе сидят еще раненые. Кто-то чуть не до пояса перевит бинтами — и грудь, и голова, — должно быть, обгоревший танкист.

— Дурной! — с ходу бросает Катя. — Чего орешь? А ну встать! Кто старший?

Гитарист, не выпуская гитары и не сдвигая с места раненой ноги, всем корпусом разворачивается к Кате. Под накинутой на плечи курткой десантника тихо побрякивает связка медалей. На потолке замирает большая изломанная тень.

— Отставить! Уже навставались. Теперь всё! Крышка!

— Кто старший?

— Старший? Был, да весь вышел. К начальству. Хошь — буду я?

— Обойдемся без самозванцев. А ну слазь! — Катя бесцеремонно дергает его за рукав. Куртка сползает — на погонах сержантские нашивки. — Тяжелых положим. Где санитары?

— Стоп, рыжая! Не трожь! Я контуженый! — паясничает гитарист и, сменив тон, с силой бьет по струнам. — Санитары! Эй, санитары!

Откуда-то из-за перегородки, откинув одеяло, выходят двое в неподпоясанных шинелях. Один высокий и худой, второй низкий — оба пожилые, мешковатые, видно, недавно мобилизованные дядьки.

— Тяжелых внести! Живо! — чувствуя себя начальством, приказывает гитарист и тычет в санитаров пальцем. — Ты и ты! Этот ихний поможет, — указывает он на пленного и вдруг недоуменно моргает. — Ого, Гансик! Братва, Гансик! Ей-богу! Айн, цвай битерфляй… Ком!

Все из углов оборачиваются к порогу. Забинтованный на полу неестественно выпрямляется, ногами скидывает с себя полушубок и выбрасывает вперед руки, также забинтованные до локтей.

— Кокнуть! Кокнуть к чертовой матери! — с надрывом выкрикивает он.

Второй, что лежит рядом, что-то приговаривая, укрывает его полушубком. Сержант быстренько соскакивает с кровати и, неся перед собой прямую и толстую, как бревно, ногу, подступает к немцу.

— Спокойно! — говорю я. — Это пленный.

— Ну конечно, спокойно. Зачем спешить? Успеем!

Сержант недобро ухмыляется и с нарочитой вежливостью берет немца за концы воротника.

— Он же добрый. Он сознательный. Гитлер капут? — ехидно спрашивает он.

— Гитлер капут, — не очень уверенно, но с готовностью соглашается немец. Губы у него, однако, заметно подрагивают.

Сержант все с той же ухмылкой на лице поворачивается к остальным:

— Вот видите! Он добрый. Он перевоспитался. Трофейчики, конечно, все выпотрошили? Ур нету? — миролюбиво спрашивает сержант и живо лапает немца по пустым, отвисшим карманам. — Ну, конечно, в кармане вошь на аркане.

И вдруг озорно дергает за длинный козырек шапки, которая налезает немцу на самые глаза. Сержант возвращается назад к койке. Немец покорно поправляет шапку, а я отхожу от порога и опускаюсь у стены на солому. Больше сесть тут негде. На единственной скамейке в простенке кто-то лежит, койку займут тяжелораненые. Гитарист, бережно уложив на прежнее место ногу, берет гитару. К «гансичку» он уже потерял интерес.

— Я вот не понимаю, — громко говорит он, забренчав струнами. — Какой смысл немцу воевать с нами? Ну что пользы:

ворвется ежели в траншею, что он найдет? Ни фига! Разве портянку грязную на бруствере. Ау них! Ого! Сколько у них барахла разного остается! Я так, если приказ: «Вперед!» — лечу как очумелый. А что? Люблю трофейчики! Вот только вшей у них много, холера!

Из раскрытых дверей вкатывается облако холода — санитары вносят раненых. Катя укладывает обоих на койку и укрывает рваной шинелью.

— Полежите до завтра. Утром в госпиталь отправка. Доктор сказал.

Один из них, видно, уже доходит — глаза полузакрыты, нос заострился, из опавшей груди слышен трудный пузыристый хрип. Второй прерывисто стонет, борется с муками и, повернув набок голову, безучастно оглядывает людей.

— Браток, сверни закурить, — обращается он к сержанту. — В кармане там, браток… И бумага…

Сержант с готовностью откладывает гитару.

— Пожалуйста, отец. Это могем. Пока руки целы. Откуда будешь, землячок?

— Воронежский я.

Раненый сводит челюсти, будто глотает слюну. Взгляд его беспокойно мечется по темному потолку хаты.

— Ну так почти земляки. Что Воронеж, что Ростов — одна Расея. На, потяни, полегчает, — участливо обещает сержант и справляется: — Пехота?

— Пехота, — выдыхает затяжку раненый и жадными губами снова ловит цигарку.

Немец неловко топчется у печи, не зная, где приткнуться. Держит он себя уважительно и даже будто несколько робко. Я замечаю это и подзываю его к себе:

— Ком! И садись! Нечего торчать.

Он понимает и, поджав длинные ноги, неуклюже опускается напротив на земляной пол. Глаза его осторожно скользят по мне, по сержанту и останавливаются на гитаре. Катя у печки при тусклом свете «катюши» копошится в медицинской сумке — готовит лекарства. Сержант с силой дергает басовую струну и фальшиво затягивает солдатскую песню:

Первая болванка попала в бензобак…

— А ну прекрати свое трень-брень! — строго приказывает от печки Катя.

Кто-то из угла добродушно перечит:

— Пусть играет. Может, боль немного заглушит.

Сержант энергично откашливается, собираясь запеть если не лучше, то, во всяком случае, громче.

Первая болванка попала в бензобак,

Вылез я из танка сам не знаю как... —

снова фальшивит он, видно, понимает это и, встретившись с немцем взглядом, зло обрывает запев.

— Чего зенки выпучил, фриц? Не нравится? Может, лучше умеешь? Что ты вообще умеешь, фрицевская морда?

— Нэмножко, — вдруг отчетливо произносит немец и протягивает руку к гитаре.

Сержант, набычив голову, с полминуты почти в неистовом недоумении смотрит на него, будто решая, стоит ли всерьез принимать произнесенное им слово.

— А ну, а ну! Изобрази-ка... Посмотрим, что ты умеешь. Ну! Давай! Дуй! — неожиданно решает он и отдает гитару.

Немец осторожно берет ее, устраивает на коленях и, тихо перебирая струны, левой рукой подвинчивает шурупы. В углу снова вскидывается забинтованный. Он ничего не видит и сквозь едва сдерживаемую боль кричит с отчаянием в голосе:

— Ага, фриц! Почему вы его не прикончите? Почему вы с ним цацкаетесь?

С соломы поднимается его сосед и легонько, словно ребенка, кладет обгоревшего на спину:

— Ладно. Тихо. Я сам. Подождите.

Глаза этого человека из-под нахмуренных бровей в тусклом свете «катюши» недобро сверкают в сторону немца. Обгоревший корчится в муках и стонет, сжав зубы.

Немец не спеша настраивает гитару, мы все с затаенным вниманием следим за ним — все же не часто приходится видеть, как фашист упражняется в музыке. Интересно, что у него получится.

У сержанта на узколобом лице уже не ухмылка, а строгость и угроза. Мне кажется, если немец чем-то не угодит, то ему уже не спустят — придется тогда защищать. Тяжелораненый на койке поворачивает набок вспотевшее лицо и с мучительной обреченностью в расширенных глазах также следит за немцем. Похоже, он ждет чего-то, и это ожидание на короткую минуту словно притупляет его страдание. С девичьим любопытством коротко оглядывается Катя и хмурится. Почему-то я начинаю хотеть, чтобы немец действительно сыграл неплохо. Невольно мною уже овладевает сочувствие к нему в этой хате. Все же он «мой» немец.

И действительно, он быстро настраивает гитару и начинает сноровисто перебирать струны. Простой, всем известный мотивчик наполняет сумеречную тишину хаты:

Синенький скромный платочек

Падал с опущенных плеч...

Вот так чудо — вот тебе и немец! Играет наше, русское, как заправский русак. И раненые, гляди ты, притихли, ни один не вякнет ни слова — слушают. Сержант, видно, тоже теряет свое грозное намерение. Кто-то в углу вздыхает, потом всхлипывает — ага, плачет. Кажется, это обожженный. Ну да что же ты сделаешь! Что мы все тут, в этой хате, можем сделать, кроме как терпеть боль. Кто больше, кто меньше, кто на день-два, кто на долгие месяцы. Ожоги же будут болеть до самого конца, пока не заживут начисто, — нет худшей боли, чем от ожогов. Теперь нам одно — сжав зубы, свыкаться с болью, думаю я. Там, в степи за Кировоградом, наступают, окружают, отбивают атаки, освобождают села и станции, а мы тут — сплошная концентрация боли. И потому плачь, боец, не стыдись. Говорят, от плача становится легче. И не приставай к немцу, черт с ним, пусть живет, все же и он человек. Вон как играет!

Немец тем временем кончает играть. Сержант на краю кровати смущенно сдвигает измятую, с растопыренными ушами, шапку:

— Здорово, шельма! Ничего не попишешь!

— Хорошо шпарит, — сдержанно одобряют в углу. — А ну еще что.

Немец легонько прикасается пальцами к струнам, пробуя их звучание. Сержант подобревшими глазами разглядывает его сверху. Видно по всему, эта игра пошатнула в нем привычную грубоватую самоуверенность и затронула приглушенное чувство обычного человеческого любопытства.

— Ты кто, фашист? — спрашивает он, в упор глядя на немца. — За Гитлера?

— Гитлер капут! Гитлер плёхо, — быстро отвечает немец привычной фразой.

Я смотрю на него и чувствую, как что-то в нем уже переменилось, будто ожило. Взгляд избавляется от заметного страха и перестает пугливо бегать по лицам. Снисходительное внимание русских заметно ободряет его.

— Вот это я понимаю! — говорит сержант и бесцеремонно, но уже без угрозы хлопает его по плечу. — Что, сам сдался? Сам плен ком?

— Я, я. Сам, — подтверждает немец.

— Правильно. Одобряю. Дай пять.

Сержант коротко пожимает локоть его занятой гитарой руки и уже почти дружелюбно предлагает:

— А ну изобрази еще что-нибудь! Может, вот эту: «На позицию девушка провожала бойца...»

— Огоньёк! — догадывается немец и быстрым пробегом по струнам повторяет мелодию.

Удовлетворенный его догадливостью, сержант одобрительно кивает:

— Вот, вот!

Немец вполне прилично наигрывает «Огонек», и я удивляюсь его умельству по части наших песен. Сержант хрипло подпевает, а меня начинает клонить в расслабляющую сладость дремоты. Я чувствую: не надо поддаваться ей, нельзя, мало ли что… Тревога в душе какое-то время борется со сном, но постепенно сон осиливает все — и заботу, и тревогу, и мою боль в ноге…

Глава десятая

Мне что-то мешает, тревожит. Подсознательно я стремлюсь во власть забытья, где нет ничего, только сон. Но это «что-то» сильнее меня, сильнее моей усталости, оно вырывает меня из сладостного отсутствия, и я просыпаюсь. Только где я? Какие-то люди, встревоженные выкрики, далекие и близкие голоса. И вдруг сквозь сонливое оцепенение прорываются слова, которые сразу возвращают меня к реальности:

— Младшой! А младшой! Твоего немца забирают…

«Немца? Какого немца?.. Ага! Я же в санчасти». Я вскидываю тяжелую голову — напротив в хате, все в том же призрачном свете коптилок, стоит «мой» немец и возле него двое — один в шинели, второй в полушубке. Это — Шашок и Сахно.

Сахно оборачивается на голос, затем — ко мне. На его выбритом лице с низко надвинутой на лоб черной кубанкой угрюмая важность начальника.

— Вы куда? — осипшим голосом говорю я. — Это пленный.

— Младшой, не давай! Пусть сами попробуют в плен взять, — подбивает с койки сержант.

Сахно круто поворачивается к нему:

— А ну замолчать! Вас не спрашивают, товарищ сержант!

И ко мне, несколько сдержаннее, но все тем же приказным тоном:

— Василевич! Пройдемте с нами!

— Куда он пойдет? У него нога!

Это — Катя. Она тут же за их спинами — в мигающем свете «катюши». Я вижу ее светлые, рассыпанные на голове волосы и, не понимая еще, в чем дело, но чувствуя, что мне не надо поддаваться им, говорю:

— У меня нога. Вот!

Сахно окидывает меня недоверчивым взглядом и, не произнеся ни слова, возвращается к немцу:

— А ну вэк!

Шашок открывает дверь, Сахно легко толкает в нее пленного, который на глазах мрачнеет и, не взглянув ни на кого, выходит.

Взяли — пусть. Мне его не жалко, только развяжет руки. Раненым же, которых, кстати сказать, прибыло в этой хате, самоуправство этого человека не нравится.

— Вот и доигрался! Сидеть бы да сопеть в две дырки.

— Повели и шлепнут.

— Факт, шлепнут.

— А кто они? — спрашивает кто-то из угла.

Ему никто не отвечает. Катя от порога взмахивает рукой, давая тем знак замолчать. Все настороженно прислушиваются, я тоже. В сенях слышна какая-то возня. Сквозь щель в двери мелькает свет фонарика, доносятся приглушенные голоса:

— Повернись, живо!

— Держи!

— А ну, посмотри сапоги.

— Карманы обшарил?

— Пусто. Все очистили.

— Ладно. Черт с ним…

Сержант ворочается на койке и плюется:

— Стервятники! Была б моя власть — я б их!..

Катя надевает на голову шапку и подпоясывает полушубок. Ее подвижные глаза осуждающе косятся на сержанта.

— Чья бы коровка мычала, а твоя б молчала. Сам такой.

— Я такой? Я не такой! — делано распаляется сержант. — Я кровь проливал. Если что — я кровью плачу. А эти?..

— Ладно тебе. Наплатился…

Круглое рябоватое лицо сержанта расплывается в шутливой улыбке:

— Ты меня не трожь, рыжая. Я злой и контуженый.

— Ханыга ты! — в упор объявляет Катя, шевельнув русыми бровями. В глазах ее, однако, игривость. Видно по всему — этот ершистый десантник все-таки ей нравится.

— Рыжая! Ах ты!..

Сержант делает стремительный выпад, чтобы ухватить Катю, но та бьет его по парусиновому рукаву и уклоняется.

— Ханыга!

Девушка прорывается к двери, но не успевает ее толкнуть, как дверь распахивается. На пороге опять появляется немец, за ним входят Шашок и Сахно. Кубанка у Сахно лихо сдвинута на ухо, колючий взгляд подозрительно бегает по лицам людей, будто говоря: «А ну, что вы тут без меня думали?» Поведя сюда-туда фонариком, он подступает ко мне.

— Вы что, в самом деле не можете? И встать не можете?

— Нет, почему же…

— Тогда встаньте.

Я немного удивляюсь, зачем понадобился ему, и пробую встать. Нога почему-то отяжелела, повязка набрякла кровью. Где-то в глубине раны дергает — кажется, в эту ночь обработать рану уже не придется. Но куда он меня поведет?

— Оружие брать?

— Не надо.

Я кладу на солому свой ППС, который мне, одноногому, довольно-таки мешает, и опираюсь на чью-то спину. Сахно неуверенно окидывает фонариком обшарпанные стены мазанки. Яркий глазок света останавливается на завешенном одеялом проходе.

— А ну пройдем туда!

Вслед за ним, хватаясь по очереди за кровать, лавку и печку, я допрыгиваю до перегородки. Капитан отворачивает одеяло и, посветив фонариком, выгоняет оттуда двух сонных раненых. Мы заходим в темноту, и Сахно приказывает Шашку:

— Давай свет!

Шашок быстро вносит «катюшу», возле фитиля густо присыпанную солью, ставит ее на стол и сам удобно пристраивается на скамье. Я присаживаюсь на какой-то сундук в конце стола. Сахно садится напротив. Взгляд его придирчиво впивается в меня:

— Давно тут?

— С вечера.

— А ногу где ранило?

— В степи, где же. На танки напоролись. Да вот он знает, — киваю я на Шашка.

Тот, однако, не двинет и бровью, будто ничего и не помнит, будто и не был с нами в кукурузе. Безразличный ко мне, он копается в полевой сумке, выкладывая из нее бумаги.

— А где Кротов? — вдруг быстро спрашивает Сахно и во все глаза, не моргнув, смотрит на меня.

— Кротов погиб.

— А двое пленных?

— Те удрали, видно. Хотя один тоже убит. Остался в кукурузе.

— Убит? — с язвительной иронией переспрашивает Сахно.

Я недоуменно заглядываю в его ярко освещенное «катюшей» лицо. На нем маска сдержанной до времени подозрительности и недоверия.

— Убит, факт.

— Кем убит?

— Ну немцами, кем же еще?

Сахно кивает Шашку:

— Так, записывай.

Тот разворачивает на столе блокнот в частую мелкую линейку с черным немецким орлом на обратной стороне обложки. Блокнот — трофейный, это точно, но я невольно задерживаюсь взглядом на этой эмблеме, и что-то вызывает во мне неосознанный еще протест.

— Значит, пленный немец убит немцами? Так? И Кротов также убит немцами?

— Ну конечно.

— А ну расскажите подробней.

— Что рассказывать! Вон старшина с нами ехал. А потом он вернулся, а мы и наскочили.

Я коротко, без особой охоты передаю суть нашей злополучной стычки с немцами.

— Так-так, — оживляется Сахно и грудью налегает на стол. Стол скрипуче подается в мою сторону. От капитана сильно разит овчинной кислятиной нового полушубка.

— Так, так, интересно. Ты записывай, Шашок.

— Записываю.

Шашок, оттопырив нижнюю губу, не очень сноровисто, но старательно скребет авторучкой в блокноте. «Что тут записывать? — думаю я. — Что тут непонятно, в чем они сомневаются? Неужели подозревают в чем-то недобром Кротова?» Глаза мои не могут оторваться от фирменного орла на обложке, и гнев во мне все увеличивается.

Сахно тем временем продолжает допрашивать:

— А почему вы не побежали за ним?

— Я и побежал. Как ударила очередь — сразу побежал. Не за ним — за немцем.

— А что было раньше — очередь или раньше он побежал?

— Очередь.

— Очередь, так? А вы же сказали, что Кротов кинулся бежать до очереди.

«Путает. Ловит. Пошел ты к чертям! Попал бы туда, пусть бы тогда и замечал, что раньше, а что позже», — раздраженно думаю я и говорю:

— Это все почти разом. Немец кинулся в сторону, Кротов за ним. Тут и очередь.

— Значит, все же раньше Кротов побежал за немцем. Так и запишем.

Что они меня ловят! Что ему надо, этому человеку? Что им до мертвого Кротова?

Но Сахно, очевидно, знает, что ему надо. Он удовлетворенно откидывается на лавке, достает из-за портупеи на груди засунутые туда перчатки и громко хлопает ими по ладони.

— Вот это и требовалось доказать.

— Что?

— А это самое.

Сахно встает, привычно поправляет кобуру на ремне и начинает аккуратно натягивать на пальцы перчатки. Они чего-то добились от меня, но я не понимаю их цели. Я только чувствую, что они перехитрили, и гневный протест во мне против этого их бесцеремонного наскока продолжает расти.

— А теперь подпиши, младшой, — говорит Шашок и подсовывает мне тот самый блокнот.

Невольно во мне что-то завязывается в тугой непокорный узел.

— Не буду подписывать.

Шашок замирает рядом. Сахно останавливается за моей спиной.

— Как это не будешь?

— Не буду, и все!

Оба на несколько секунд умолкают. Я чувствую их растерянность и знаю, что для меня это может кончиться плохо.

— Это почему? — с недоумением и некоторым даже любопытством спрашивает Сахно. Освещенное снизу тупоносое, старательно выбритое лицо капитана скрывает угрозу.

— А что вы цепляетесь к Кротову? Что он вам сделал?

Не отвечая на мой вопрос, Сахно подступает ближе.

— Не прикидывайтесь! Вы отлично понимаете, что он сделал!

— Ничего он не сделал! Он погиб!

— Ах, погиб! — вдруг взрывается капитан и хватает со стола блокнот. — Погиб! Ну тогда пеняй на себя, сопляк! Понял?

И тычет под нос блокнотом:

— А ну подписывай!

— Сказал — не буду!

— Пожалеешь! Да поздно будет.

Пусть — пожалею. Но я не хочу возводить напраслину на человека, который мне не сделал плохого. Хлопцы за перегородкой утихают. Наверно, отсюда слышно все, но пусть! Что они мне, в конце концов, сделают?

Я жду нового взрыва крика, может быть, даже угроз с пистолетом — жду схватки и готов к ней. Я не боюсь. Я уже решился на все и намерен держаться твердо. Но Сахно вдруг шагает к двери.

— Хорошо! Мы еще вернемся! Мы еще поговорим с тобой! Понял?

Шашок торопливо пихает в сумку бумаги, блокнот и вслед за капитаном выходит. Я не спеша поднимаю со стола «катюшу». Руки мои дрожат.

В хате гул. От порога ступает Катя. Оказывается, она не выходила, была тут и все слышала. Я знаю, она заступится. У меня уже родилась и живет где-то в душе тихая признательность к этой девушке. Только теперь я хочу сказать ей: «Не надо».

— Что пристали к младшему? — бесцеремонно говорит Катя. — Кротов убит.

Сахно щелкает фонариком и направляет его в круглое, по-мальчишески обветренное и грубоватое лицо Кати. Девушка мучительно хмурит брови, но не закрывается от света — выдерживает все с вызовом в серых глазах.

— А ты видела?

— Видела! — моргнув наконец от резкого света, говорит Катя. — Если б не видела, не говорила бы.

— Проверим! — многозначительно обещает Сахно, не сводя кружка света с ее лица.

Катя вдруг резко бьет его по руке:

— Иди ты со своим фонарем. Чего слепишь?!

Сахно сдержанно опускает фонарик.

— Проверим!

— Вот фрица лучше проверь. Если такой проверяльщик ловкий.

С койки отзывается сержант:

— Проверяли уже и фрица. Сколько можно!

— Не ваше дело! — Сахно зло оглядывается. — Надо будет — еще проверим. Кого нужно.

Они идут к двери. Шашок откидывает на толстый зад не менее толстую полевую сумку. Забирать немца как будто они не намерены.

— Нечего угрожать, — говорит кто-то из угла. — Нас уже проверили. Осколками проверили. А то наел харю и угрожает!

— А ну тихо, пехота! — прикрикивает сержант.

Сахно и Шашок не задерживаются. Делают вид, что эти выпады их не касаются. И только сильнее, чем нужно, грохают дверью снаружи.

Возбужденный, я ставлю на припечек «катюшу» и перевожу взгляд на свое место у стены. Там в полумраке, сгорбившись, сидит на соломе немец.

— А ну марш отсюда! — прикрикиваю я тоном Сахно.

Немец спохватывается и вскакивает, уступая место. На койке поворачивает голову сержант:

— Ганс, садись передо мной. Посадил бы рядом, да некуда.

Действительно, на койке тесновато, хотя там уже только один раненый. Того, что хрипел, уже нет. Немец, потоптавшись, неохотно подбирает длинные ноги и садится напротив сержанта. Тот, видно, уже не прочь помириться с пленным. С «моим» пленным.

А в конце концов, черт с ним! Чем он дальше от меня, тем лучше! Что я, обязан все время заботиться о нем, оберегать, заступаться? Такой он «мой», как и сержанта, Кати или кого-либо еще. К тому же, может, какая-нибудь сволочь, из-за которой опять потащат к капитану Сахно.

Я злой и недобрый. Болит натруженная нога, на душе противно, будто я совершил подлость. Скорее бы дождаться утра да оставить эту хату, это село, которые принесли мне одни неприятности.

Глава одиннадцатая

Га-ах!

Улица вдруг озаряется разноцветной огненной вспышкой. Пешеходы, радостно вздрогнув, вскидывают вверх лица. Мерцающие красно-зеленые отсветы разливаются по мостовой.

Га-ах! Га-ах! — туго отскакивают от фасадов второй и третий упругие воздушные удары. Разноцветный ракетный веер зажигает над улицей небо. Величественный каскад огней над головой достигает зенита и, не задерживаясь там, с шуршанием оседает вниз. Тени от деревьев и фонарных столбов торопливо бегут по блестящему булыжнику мостовой. В окнах этажей мелькают сине-красно-зеленые огненные сполохи.

Фейерверк вырывает меня из прошлого. Я оглядываюсь. Незнакомые строения, узкий, малолюдный тротуар. Булыжную мостовую прорезают трамвайные колеи. Несколько дальше — глухой неокрашенный забор с козырьками и обрывками афиш на досках. Черт знает куда меня занесло.

Под тусклым фонарем на краю тротуара смущенно останавливается низенькая старушка с посошком и сумкой в руках. Испуганно вглядывается в полное отсветов небо. Из сумки блестят фольгой головки молочных бутылок. Кончик посошка мелко дрожит на асфальте.

— Не бойся, бабка. Это салют.

Старушка поднимает на меня морщинистое лицо. Под ее костлявым подбородком торчат два уголка старомодно подвязанного платка. Видно, она не слышит и пристально смотрит на меня с раскрытым беззубым ртом.

— Сынок, не война ли это опять? Га?

— Рано, бабка. Еще солдат не наросло.

— Слыхать, будто орудии стреляют. В аккурат как тогда.

К уличному перекрестку с визгом и грохотом катится трамвай. Из переулка выскакивает «Волга». Старушка нерешительно ступает на мостовую и испуганно возвращается на край тротуара.

— Может, помог бы? А, сынок?

Я беру ее под руку. Старушка отрывает от тротуара свой посошок и мелкими шажками идет со мной на середину улицы. Рядом, легко опередив нас, перебегают две девушки.

На середине нас настигает новый воздушный залп. Многоцветная вспышка захлестывает над крышами небо. Девушки, проворно мелькнув лодыжками, вскакивают на тротуар и оборачиваются.

— Линочка, какая прелесть!

— Чудо!

Старушка вся сжимается и от страха, кажется, вот-вот готова присесть.

— Ой, Боже милостивый! Ой!

— Не бойтесь! Что уж вам за себя-то бояться?

— За себя, — недослышав, охотно соглашается старушка. — Больше за кого же? За сынков уже отбоялася. Нет уже сынков.

Я догадываюсь о ее беде и не хочу бередить материнскую память. Откровенно говоря, нет уже желания и сочувствовать. Слишком часто это приходится делать. Теперь я только сухо успокаиваю:

— Ничего, ничего, бабуся.

Мы переходим улицу. Сзади с грохотом проносится трамвай. Девушки жмутся одна к другой локтями и, притопывая от нетерпения, поглядывают в небо. Должно быть, для них самое яркое олицетворение войны — вот этот салют. Книжки о ней — скука. История — тоже. Но салют — это зрелище, и они его обожают.

— Ах, сынок, за кого же мне осталось бояться? — просто, как о чем-то будничном, говорит старушка. — Старик в блокаду в лесу голову сложил. Старший, Семёнка, под городом Воронежем от ран умер. Гришутку в студеной стороне — как же это ее, уж и забыла... Мурманской, кажется, зовется. Там убили. А младший, Витяшка, так тот в Черном море утоп. Капитаном был. Правда, за среднего Миколку еще и теперь сердце болит. Что ж... Столько лет. Если бы жил где, то отозвался бы. А то как пошел под Аршаву, так и пропал.

«Целая география», — думаю я. География и история в одном сердце. А сколько их по стране, таких старушек, что вырастили и отдали войне своих сыновей, чтобы вот так коротать немощные годы в тоске и одиночестве.

Старушка тяжело взбирается на тротуар и успокаивается, будто тут взрывы ее не достанут.

— Ну что же они? Так долго! — нетерпеливо притопывают на краю тротуара девушки.

Замедляя шаг, мы подходим к первому же подъезду, и старушка останавливается.

— Ну спасибо тебе, сынок. А то так боязно ходить тут. Знаешь, раньше мы на Комаровке жили, да вот дом на ремонт взяли. Так теперь восьмой месяц у чужих маемся. Ну пойду. Пока сготовишь поужинать... Да и Витенька заждался. Один дома.

— Ну, так Витя все же дома? А говорила — утоп...

— Так это же внучек. Дочернин. С ней и живу. Сынков Бог отобрал, одна дочушка осталась. И то первый ее, с войны придя, вскорости умер. С другим живет. Трое деток у нее.

Старушка пробует улыбнуться мягким беззубым ртом. Морщинистое ее лицо на секунду распрямляется от светлого проблеска ласковости и доброты.

— Ну бывай, бабка!

По-старчески сосредоточившись, она клюет посошком в асфальт, чтобы идти, но тут же оборачивается:

— Сынок, ты, вижу, добрый. Что я тебя хотела спросить: ты не по строительству, случайно, начальник?

— Нет, бабка. Не по строительству. И вообще никакой не начальник.

— Не начальник, говоришь. А я гляжу — рассудительный. Да и на войне, кажись, был: хромаешь, ранитый, значит. Думала: начальник. А то, может, помог бы? Так долго ремонтируют, из силы выбились.

— Нет у меня такой власти, — говорю я. — Да и не здешний я. Проездом.

— Проездом! — упавшим голосом повторяет старушка и, как-то быстро повернувшись, неслышно исчезает в мрачной щели подъезда.

Я окликаю девушек:

— Скажите, это какая улица?

Как по команде, они вдруг поворачиваются. Из-под мохнатых ресниц стреляют любопытствующие взгляды. Какие-то уж очень стройные, легонькие и похожие одна на другую. Как сестры.

— А вам какую надо?

— Да мне чтоб к центру.

— К центру — туда. К вокзалу — туда, — машет одна поочередно в оба конца улицы.

На минуту я останавливаюсь. Зачем мне идти к центру? Все равно в гостиницу уже не устроишься, время позднее. Не лучше ли отправиться на вокзал? Там хоть можно как-нибудь скоротать ночь. Среди людей всегда веселее, не так донимают мысли. Опять же хочется есть. Кажется, я так и не поел сегодня. Только выпил водки.

И я поворачиваю к вокзалу. Девушки сзади кричат:

— Гражданин, не в ту сторону! Центр — туда.

— Спасибо. А я — сюда.

Не оглядываясь, я слышу, как они там хихикают:

— Чудак. Он действует от обратного.

— А может, это шпион? Я читала…

Я внутренне улыбаюсь. Конечно, они читали про разные удивительные истории. Как по окраинным улицам поздно ночью рыскают шпионы, выпытывающие у простаков важные сведения. В карманах у них пистолеты, вмонтированные в авторучку. В протезах фотоаппараты. Надо быть бдительными.

Не бойтесь, девушки, я не шпион. Просто я чересчур разбередил свою душу сегодня. Может, это и не совсем подходяще в такой светлый, торжественный день с красочными салютами в майском небе. Но на то есть причины.

Покоем и вечерним уютом светятся окна домов. Тускло горят витрины промтоварных магазинов. На углу из большого гастронома выгружают тару. Высокие штабеля проволочных ящиков с бутылками, мелко звякая, сдвигаются на тротуар. Рабочие ловко орудуют железными крючками. Одна за другой спешат женщины-хозяйки: с сумками, хлебом, кульками — торопливые покупки на исходе дня. Им не до праздника. До отдыха им также еще не близко — надо прибрать, накормить, приготовить что-нибудь к завтраку. Мужчина на краю тротуара, бережно придерживая, катит велосипед с картонным ящиком, хитроумно прикрепленным к багажнику. Не иначе телевизор из универмага. Рядом — жена. Они о чем-то оживленно спорят — видно, никак не решат, в каком углу комнаты «утвердить» покупку. Что же, в час добрый!

За магазином на углу открывается более широкая улица, в конце которой — залитая светом площадь. Это вокзал. На тротуаре поток пешеходов оттуда — с чемоданами, узлами, свертками, кажется, пришел поезд. Встречные идут по одному, группками, парами. Проходят счастливые влюбленные, наверно, только что встретившиеся после разлуки. Он в нейлоновой рубашке с закатанными рукавами, она — в узкой коротенькой юбчонке, из-под которой доверчиво поблескивают белые коленки. А вот мать ведет за руку девочку, которая все время оборачивается назад, и мать то и дело строго на нее прикрикивает. Но позади интересно! Двое в сбитых, перевернутых козырьками назад кепках уже едва держатся на ногах и, вцепившись один в другого, ведут далеко не праздничный диалог:

— Костя, сукин сын! Ты мне друг или нет?

Костя, однако, не слушая, широко размахивает рукой:

— Мы их били? Били! И будем бить! Чтобы дух из них вон! Кишки на телефон!

Широкий тротуар становится им тесен, и они взбираются на газон. Но там деревья. Тогда, наткнувшись на одно из них, гуляки принимают самое уместное в таком случае решение:

— Лешка! Леш... Отдохнем?

— Лады!..

И падают оба под липу.

Глава двенадцатая

Времени между тем проходит немало. Видно, уже полночь или даже позже. Я не сплю и после всего, что произошло тут, невесело гляжу в печь, которая жарко пылает, гоняя по стене над койкой мерцающие отсветы.

Возле печки, шурша соломой, хлопочут санитары и Катя — они варят картошку. Катя без полушубка, раскрасневшаяся, вся как-то по-хорошему оживившаяся от этой домашней женской работы, хлопотливо двигает казанами на припечке. Сержант, наверно, потеряв интерес к немцу, который молча сидит рядом, перевешивается грудью через койку и своими широкими лапищами все норовит ухватить девушку. Та едва ускользает от его рук, изредка не очень больно хлопая его черенком ухвата по голове. Сержант хохочет, сдержанно улыбается немец. Санитары, однако, привычно не обращают внимания на молодых.

В хате приглушенный гомон; дым от цигарок перемешивается с гарью жженой соломы. Тихо стонет в полумраке кто-то из раненых, и скользят по потолку и простенкам огромные, неуклюжие тени. Мерцающие отсветы от печи то горячо вспыхивают, то тускло трепещут на облупившихся стенах мазанки.

Скоро, наверно, сварится картошка. Я уже ощущаю ее душистую парность в хате и порой забываю о ране, о степи с танками, о своей стычке с Сахно, которая черт знает чем еще кончится.

Я прислушиваюсь к каждому стуку в сенях — только скрипнет дверь, а мне уже кажется: это за мной. Но это ходят бойцы, носят солому, воду. А раз в хату вваливается высокий, в расстегнутой шинели санитар. В обеих руках у него что-то серое и мягкое, которое он сразу бросает на пол.

— Ой, что это?

Катя испуганно шарахается в сторону. Санитар тихо смеется, осклабив широкие, будто лошадиные зубы. На полу у его ног две неподвижные кроличьи тушки.

— Где ты их взял? — удивленно спрашивает Катя. Испуга в ее голосе уже нет, есть удивление и радость — в самом деле, довольны были картошкой, и вдруг крольчатина.

— Там, в сенях, — кивает санитар. — Норы — ого!

Он снова выходит добывать из нор хозяйских кроликов. Катя с нескрываемым сожалением на лице поднимает за длинные уши серую мягкую тушку, минуту в тихом раздумье смотрит на нее и протягивает низкому санитару:

— На-ка, освежуй!

Санитар озабоченно сдвигает на затылок шапку. Оказывается, он не умеет или не хочет исполнить это крестьянское дело, так же как и сержант и Катя. У других ранены руки. Тем временем санитар приносит из сеней еще одного убитого кролика. Но он тоже не мастер свежевать и кивает в сторону немца:

— Вон Фриц пусть! Нечего нахлебничать…

Немец, кажется, уже освоился в этой хате и с затаенным интересом наблюдает за тем, что происходит возле печи. Видно, он догадывается, в чем дело, и не заставляет себя упрашивать:

— О фройлен! Могу это сделайт.

Катя секунду медлит. Округлив глаза, испытующе смотрит на немца, затем глаза ее, заметно наливаясь гневом, сужаются:

— Ах ты, шкуродер проклятый! Набил на людях руку!

— Ладно, ладно! Пусть! — обрывает ее сержант. — Давай делай, арбайт, Ганс.

— Нехай повозится, чего там, — замечает санитар. — Держи финку.

Он достает из кармана кривой садовый нож на цепочке, отцепляет и отдает его немцу. Тот с готовностью приседает на колени и при свете из печи прямо на полу начинает свежевать тушки.

— Айн момент, фройлен. Бистро. Бистро.

Мы все с любопытством следим, как он надрезает задние лапки, распарывает кожу и, словно чулок, снимает с тушки мягкую влажную шкурку. Сержант с койки похваливает:

— О, правильно, Гансик! Покажи класс. Сразу видать: спец! А то обленились, распанели на войне. Колхознички, мать вашу за ногу!..

Катя хмурит брови, наблюдая за ловкими движениями рук немца. Светлые отросшие волосы на его голове рассыпаются, и он оттопыренным большим пальцем то и дело откидывает их назад.

— Ага, гляди ты! Молодец! И тут мастер, — говорит кто-то из угла.

— Рукастый!

— Потому что работяга. Не то что вы, — говорит сержант. — Вот смотри, какую мне трубку подарил.

С озорной улыбкой на широком лице он показывает замысловато изогнутый мундштук с мефистофельской головкой на

конце, повертывая его так, чтобы все видели. Но подарил — это уже слишком. Конечно, сержант взял его сам.

— Айн момент, фройлен! — бодро приговаривает немец. — Дас ист кароши братен. Жаркёя.

— Жаркое! Смотри, понимает! — восхищаются в углу.

— А что ж ты думал! Мало нашего добра пережарили за три года? Научились.

— Буде, не ворчи. Он хороший.

— Все они хорошие. Вот налетят под утро, так одни головешки останутся, — рассудительно говорит кто-то возле перегородки.

В углу вскидывается на соломе спеленатый бинтами обгорелец:

— Доктор! Доктор тут есть?

В хате все умолкают при виде этого белого, как привидение, всего в бинтах человека.

— Доктора нету, — говорит Катя. — Он оперирует. А что вам?

— Выбраться отсюда. Сколько можно ждать?

— Сказали, утром.

— Что значит — утром? — раздражается обгорелый. — Майора вон когда увезли!

— А майора в авиаторский госпиталь. Он — летчик, — говорит на кровати сержант.

— Летчик? Я тоже летчик. Вы что — не видите? Я обгорел! Отправляйте и меня.

Все неприятно молчат. Действительно, это не шутка, если обгорела половина кожи. К тому же — летчик. Летчиков мы уважаем. Было бы на чем везти, наверно, каждый уступил бы ему свое место.

— Ладно, потерпите немного. Вот скоро крольчатины наварим, — примирительно говорит Катя и прикрикивает на немца: — А ну, Гитлер, шевелись живей!

Но немец и так усердствует, даже вспотел. Нашей болтовни он не слушает — все его внимание сосредоточено на деле. Пожалуй, он неплохой дядька. Правда, как почти и все пленные, несколько глуповат с виду, потому что не понимает по-нашему. А так прост и услужлив, легок на руку и охоч к работе. Видно, отвоевался Фриц, и теперь, должно быть, пробуждается в нем человек, мирный обыватель, работяга. Что ж — пусть! Мы добрые, расстреливать его не будем, а доброта тоже своего рода оружие.

Глава тринадцатая

Вкусно пахнет отварной картошкой и мясом. Катя, склонившись над казанами, раскладывает картошку в котелки, миски и даже пустую каску, которую, присев на корточки, держит перед ней широкоскулый боец-узбек. Напротив, на полу, с видом

обиженного родственника сидит немец. Поварская работа у печи окончилась, нужда в пленном отпала, и он, видно по всему, без дела снова чувствует себя лишним.

В это время за Катиной спиной открывается дверь, и с облаком холодного воздуха через порог стремительно вваливается кто-то в густо заиндевевшей шинели.

— Привет! — весело бросает вошедший.

Молодое курносое лицо раскраснелось от стужи, голос также выдает совсем еще мальчишеские годы. Он ранен и правую руку держит на бинте-подвязке.

— О, тут и фрицы! — удивляется парень, увидев немца. — Гут абенд, Фриц!

Немец вскакивает с пола и привычно щелкает каблуками:

— Гутен абенд, герр официр!

— Вольно! — усмехается офицер.

И тут я улавливаю что-то знакомое в этой веселой заиндевевшей фигуре. В голосе, осанке, смехе пробивается что-то близкое, но неизвестно где слышанное и виденное. Постой, да это же…

— Стрелков! Юрка! — кричу я, пытаясь встать у стены.

Парень бросает в мою сторону несколько растерянный взгляд и в недоумении раскрывает рот. Он не узнает. Впрочем, как тут узнать кого-нибудь в этой темени, которую едва разреживает одна мигалка на припечке (вторая уже потухла, кончилась «горючка»). И все же парень догадывается:

— Василевич?

— Я самый! Давай сюда!

Действительно, это Юрка, и я на минуту забываю о всех моих бедах, неудачах и даже о боли в ноге. Да и как не забыть, если это Юрка Стрелков, мой однокашник, друг, младший лейтенант, пехотинец, с которым мы полгода назад закончили одно училище и попали в одну армию. После того дождливого дня под Харьковом, где нас разлучили кадровики, я, по правде, уже и не надеялся увидеть его. И теперь вот такая встреча!

Широко ставя между лежащими свои заснеженные валенки, Юрка торопливо лезет ко мне, хватает левой рукой мои пальцы и крепко жмет их.

— Ленька! Ты жив, Ленька!

— Да вот видишь. А ты? — неуместно спрашиваю я. — Да, брат, сколько мы пережили врозь, друг без друга, сколько перечувствовали, перестрадали. Были мы зеленые салажата, только и заботились о своем внешнем виде да свежеиспеченном офицерском достоинстве. Как-никак получили по одной звездочке на погоны. А теперь?

Едва справляясь с волнением, я гляжу в затемненное сумерками такое знакомое, оживленное лицо друга. И я замечаю на нем что-то новое, прежде неизвестное мне. Отпечаток трудно пережитого даже сквозь радость встречи явственно пробивается в его взгляде. В остальном же это лицо прежнее — тонкие юношеские черты, нежная округлость подбородка, которого еще не касалась бритва. Юрка тоже оглядывает меня и смеется:

— Какой ты обвязанный — не узнать!

— Ерунда! Бинтов намотали… А у тебя что — рука?

— Да, понимаешь, угодил я ненароком.

— Легко?

— Царапина. Вот только стрелять мешает. А так… Ну да знаешь, мы отыгрались! — Юрка вдруг радостно оживляется, глаза его блестят. — Уж так дали, так дали, чтоб ты только знал! Учинили побоище не хуже Ледового…

— Ты садись! Вот на солому.

Юрка опускается под стену со мною рядом, хлопцы отовсюду глядят на него — такого заснеженного, разговорчивого, веселого. А он, кажется, безразличный ко всему здешнему, полнится чем-то своим — большим и радостным.

— Ты понимаешь! Ты понимаешь! Я же только из степи. Вот час назад! Ну мы им там и задали! Да так ловко, без выстрела, без звука подпустили на пятьдесят метров… Комбат на этот раз просто молодчага…

— Постой, постой!.. Ты где? Я даже не знаю, в какой ты дивизии. У Терехова?

— У какого тебе Терехова? — готов рассердиться Юрка за такое мое предположение. — У полковника Калюжного. Гвардия!

— Так, так…

— Ты понимаешь! За десять минут мы сделали из них мясокомбинат. Разом как ударили из всего оружия. Шесть станкочей, две сорокапятки. Ты бы поглядел, что там делалось!..

Я и так рад. Еще толком не зная, что там произошло, я уже готов завидовать Юркиной ратной удаче. Да я и завидую. Что и говорить, пехоте не часто перепадают на фронте минуты вроде только что пережитых Юркой, когда грудь распирает от хмельного счастья удачи. Нам привычнее серые будни войны — стужа, мокрые ноги, кровавые бинты на немытом теле, уничтожающий немецкий огонь и как награда за все — короткий тревожный сон где-нибудь на соломенном полу в хате. У него же случилось что-то совсем другое, что-то огромное, удачливое, и я рад. Я слушаю и во все глаза гляжу на недавнего моего друга-курсанта. Шинел-ка на Юрке солдатская, но аккуратно пригнанная по росту (на это он был мастак и в училище, ничего не поделаешь — немного форсун и аккуратист). На

воротнике ровно пришитые петлицы, наискось через грудь портупея, конечно, не в ОВС полученная, а, видно, честно добытая на поле боя. Юрка, я очень, очень рад, что ты жив, что мы наконец встретились.

— Понимаешь, целую колонну, человек триста с артиллерией! Ты понимаешь или нет? — тормошит он меня за рукав.

— Понимаю, понимаю, Юрка. Но давай сперва подкрепимся. Эй, ты! — кричу я на немца. — Подай котелочек. На двоих.

Немец охотно подает нам плоский котелок, полный картофеля. Потом на погнутую крышку Катя кладет кусочек крольчатины.

— Вот вам и ножка, товарищи командиры, — говорит санитар, передавая крышку через головы других.

Юрка подвижными ноздрями жадно вдыхает воздух и удивляется:

— Что? Мясо? Вот это да! Ну коли так, то… Держи!

Он решительно отстегивает от ремня немецкую фляжку и протягивает ее санитару. Тот, не понимая, вертит ее в руках. Но тут над его плечом мелькает цепкая рука сержанта, и фляжка оказывается на койке.

— А ну, а ну…

В хате легкое замешательство, все поворачиваются в нашу сторону. Сержант же, придав комически глубокомысленное выражение хмурому лицу, исследует фляжку. Для этого он сперва тихонько взбалтывает ее и прислушивается.

— Шнапс?

— Что-то в этом роде! — живо отвечает Юрка. — Трофеи наших войск.

Сержант важно открывает пробку, гримасничая, нюхает рыльце и выразительно крякает от удовольствия.

Кто-то из угла кричит:

— Не ломай комедию! Разливай!

Сержант округляет глаза:

— А если отравлена? Нужна проба.

— Иди ты! Какая еще проба!

Ну конечно же пробу берет он сам. Задирает голову и громко глотает, правда, только один раз. Раненые не отрываясь следят за его лицом, а сержант на минуту застывает, будто прислушивается к движению водки внутри. Потом решительно объявляет:

— Люкс! А ну давай тару! Младшой, от лица службы тебе благодарность!

— Служу советскому народу, старшине и помкомвзводу! — смеется Юрка и тут же обращается ко мне: — Ты понимаешь, я сам опорожнил восемь лент. Восемь лент — ты понимаешь? «Максим»,

как самовар, раскалился. Пятнадцать минут, и на снегу три сотни трупов.

Неожиданно тревожное предположение заставляет меня спохватиться:

— Стой! Это где? Не возле Алексеевки?

— Ага. Невдалеке. Видно, прорывались на запад, к своим.

— Пехота?

— Пехота и артиллерия.

— А танки?

— Что?

— Танков не было там?

— Нет, танков не было. Пехота. Глядим: идут к кукурузе, растянулись, как кишка. Ну, комбат положил всех и командует: замри. Так удачно подпустили, луна светит, уже пуговицы на шинелях видны стали. И как врезали! — восторгается Юрка и несколько тише сообщает: — На меня наградной написали. На «Отечественную»... Второй степени.

«Отечественная» — это здорово. Надо бы поздравить, но я не поздравляю — я сосредоточенно вглядываюсь в раскрасневшееся лицо товарища, и его слова начинают отдаляться, глохнуть в моих встревоженных мыслях. Действительно, это уходила пехота, а где же танки? Значит, танки остались? Они на прикрытии. Пехота, очевидно, двинулась раньше, подтягивалась к Алексеевке, а танки... Танки, выходит, нацелились на нас.

Черт возьми, мне снова становится не по себе. Внимание невольно переключается на слух, и мысленно я оказываюсь во дворе. Не слышно ли чего? Нет, кажется, гула не слышно, только вдалеке проржал конь да кто-то, проскрипев на снегу, прошел возле хаты.

В деревне постепенно устанавливается ночная тишина.

А в хате тем временем начинается шумный беспорядочный говор.

— Ну, будем здоровы!

— Чтобы скорей раны залечивались.

— Катюша, не отказываться. Хоть немножко! За разведчиков.

— За пехоту-матушку.

— А Фрицу? Хлопцы, Фрицу налили? — беспокоится кто-то в углу.

— Нет, тебя ждали, — простуженным басом отзывается сержант и с полной алюминиевой чашкой для бритья поворачивается к немцу: — Ганс!

Немец с несколько чрезмерной торопливостью вскакивает от печи и щелкает каблуками:

— Яволь!

— Держи.

Пленный аккуратно принимает из рук сержанта чашку. Лица его, повернутого от света, не видно, но, кажется мне, на нем — довольная добродушная улыбка. Немец слегка приподнимает чашку и провозглашает в полупоклоне:

— Гитлер капут!

— Давай, давай! — одобряют кругом.

— Ну поехали, ребята! За победу!

Я также поднимаю большую — на пол-литра — луженую кружку, на дне которой плещется немного жидкости: это нам с Юркой. Кажется, мы пьем с ним вместе первый раз в жизни, хотя почти год пробыли в училище. Но тогда было не до выпивки — тогда мечтали хотя бы поесть досыта. Известно, полуголодные тыловики. Теперь вот повоевали, уже оба ранены и потому пьем, как мужчины. А что же, разве не заслужили такого права? Мы убивали врагов и пролили свою кровь, сколько раз гонялась за нами смерть-матушка, но мы перехитрили ее и живем. Разве этого мало на войне?

Прежде чем выпить, я немного колеблюсь и влюбленно гляжу на Юрку.

— Юрка, дружище! Холера! Как хорошо, что мы встретились!

Юрка беззаботно смеется:

— Ну давай! До дна.

Нет, до дна нельзя. Три глотка обжигающей жидкости, потом захватывает дыхание и — предательский кашель. Ого, видно, это не шнапс, похоже, спирт. Но тут — горячую картошину в рот и прядочку волокнистого белого мяса. После меня, также поперхнувшись, из кружки допивает Юрка.

А ничего себе — и выпивка, и горячая картошка (если бы еще хлеба!). Торопливо, с усиливающимся шумом в голове, едим, а из души уже рвется вместе пережитое, то, что отошло в прошлое, но вдруг воскресло во мне с приходом Юрки.

— Слушай, а ты Дроздовского не встречал?

— Дроздовский же погиб. Еще на Днепре. Под бомбежку попал.

— Гляди ты! Такой осторожный. А где это наш помстаршина Одиноков?

— Одиноков — ого! Одиноков комбатом стал.

— Комбатом?

— Правда, ненадолго. Ноги оторвало. Под Пятихаткой.

— Жаль. А может, и нет? Зануда он.

— Зануда, — соглашается Юрка.

— А не знаешь, куда Кузнецов Валька пропал?

— Кузнецов? Понимаешь, не знаю даже, где он и воевал. У него же отец генерал. Помнишь, ехали на фронт, все шутили над ним:

Кузнецов, мол, к отцу адъютантом пойдет. А я как-то однажды — погоди ты, не знаю уж, где это и было… — как-то отошел в сторону от дороги, к могиле. Гляжу, табличка. Читаю, и вдруг: младший лейтенант Кузнецов В. С. Точно, наш Валька. Вот тебе и адъютант.

— Да-да… Ну, ты ешь. Бери вот кость.

— Нет уж, кость ты бери. Я картошку.

Картошку мы едим дружно. Кость на крышке остается — ее не поделишь. Черт с ними — с танками, я уже их не боюсь. В конце концов, ни черта они нам не сделают. Ротмистровцы из пятой танковой уже, видно, окружили Кировоград, мы наступаем, наша берет. Плевать нам на танки! Пусть себе утюжат в степи кукурузу, завтра привалят Илы, устроят им Сталинград.

Мне становится хорошо, легко, даже весело. Я люблю Юрку, Катю, этого арапистого сержанта в куртке десантника и тех вон санитаров, что с блаженными улыбками на щетинистых лицах подпирают плечами печь. И даже немца. О, как он старательно выскребает картошку из котелка — любо поглядеть.

Разговор в хате усиливается, оживление растет. Нет-нет да и раздастся смех. Раненые забывают про свою боль. И все Юркина фляжка!

В углу, под клубами табачного дыма, кто-то, смакуя цигарку, рассудительно, со скрытым желанием поразить своей удачливостью, рассказывает:

— Да-а. Я это давно заприметил. Душа, она чутье свое имеет. Она, брат, тоже командует. Как-то лежу под тыном — село одно брали. Лежу тихо, пули верхом идут. Кажется, чем не укрытие. Да что-то меня будто подмывает: а ну, Петро, перебегай. Не хочется вставать, пули свистят, но как-то встал и через плетень сиганул к хате. И только я это упал под стенку, сзади ка-ак шарахнет! В аккурат на том самом месте. Вот, брат, как бывает.

В другом углу, возле перегородки, видно, собрались бывалые солдаты, и у них уже другая тема и другой разговор.

— Пуля — что! Пуля аккуратная. Тюкнет — и маленькая дырочка.

— Особенно если навылет.

— Точно комар укусит. Месяц — и все готово, заживет, как и не было.

— Ну не говори. Бывает, рикошетом которая, та уж продырявит здорово.

— Пуля — что?! Осколок — вот это калечит!

— Осколок, оно, конечно.

— На четверть разворотит. Да еще доктора на две четверти располосуют.

— Ага. Рассечение называется. Я знаю. Уже четвертый раз попадает.

— Ну. Вот тогда повоешь. На квартал, не меньше.

А откуда-то неподалеку из шума и говора пробивается тихий, рассудительный голос человека, у которого, наверное, наболело на душе, ноет. И он делится, но не со всеми, а, видно, с одним, с тем, кто поймет и не высмеет:

— Понимаешь, пришел. А она возле меня увивается… Говорю: «Как живешь, Глафира?..» Так спокойна, но, гляжу, мельтешит у нее что-то в глазах. А знаешь, люди мне уже кое-что шепнули… «Стерва, — говорю, — кому изменяешь?..» Понятное дело, ремень, он хоть и брезентовый, но твердый… Ну, завязал вещмешок — и на станцию… Капитан говорит: «Ты что, Сокольников, досрочно?» — «Досрочно, — говорю, — желаю быстрее врагов бить…» — «Молодец, — говорит, — патриот. Берите, товарищи, пример с рядового Сокольникова».

Накинув на плечи полушубок, по ногам к нам пробирается Катя.

— А ну, подвинься.

— Пожалуйста, сестра, — говорит Юрка, с готовностью давая ей место у стены.

Катя молча садится, прикрыв колени полой полушубка. На койке с хмельным удовлетворением на лице ощеривается сержант:

— Ганс, ком!

Немец выдрессированно вскакивает с пола.

— Ты за кого? А ну скажи? Чтоб все слышали!

Пленный старается понять, но это ему не удается, и он мучительно моргает глазами. Сержант старательно разъясняет:

— Ну кто ты? Буржуй? Рабочий? Фашист?

— Их бин дейч лерер! — наконец догадавшись, отвечает пленный.

Но бойцы вряд ли понимают его и вопросительно глядят из углов, со скамьи, с пола. Они пока что отвоевались и теперь добрые. В глазах удовлетворение и покой. И хотя белеют в сумраке забинтованные руки, ноги, головы, но это теперь не беда, а скорее удача, ибо главное — живы. И если все же болит где-то, то разве в том вина этого вот покорного, услужливого и даже пугливого немца, который сам сдался в плен? Немец, наверно, чувствует это и спокойно смотрит, как из угла пробирается к нему низенький в обмотках пехотинец с рябоватым от оспы лицом. Под накинутой шинелью у него толсто забинтованное плечо. Это, кажется, тот, что беспокоился, налили ли немцу выпить.

— Слушай, Фриц! А у тебя дети есть? — спрашивает он.

Немец не понимает.

— Ну дети, кумекаешь? Пацаны, вот такие? — ладонью он отмеривает высоту вровень с поясом.

— Киндер? — догадывается немец и торопливо отвечает: — Цвай киндер. Два ребьенка.

— И у меня двое детей! — радостно удивляется пехотинец, и его рябоватое лицо сияет в простодушном восторге.

И тогда из-под шинели в углу поднимается темная большая фигура. Не разбираясь, что под ногами, на кого-то наступив и пошатнувшись, этот человек бросается к немцу.

— Врешь, гад!

Большой и неуклюжий, в промазученной телогрейке, он дрожащими руками выхватывает из кирзовой кобуры наган и, взводя, щелкает курком. Немец отступает на шаг, руки его инстинктивно вскидываются навстречу танкисту.

— Стой! — кричит с койки сержант.

— Ты что? — кричу я, неловко вставая из-под стены. Кто-то еще кричит. Рядом быстрее меня вскакивает Юрка. Одной рукой он хватает танкиста за локоть:

— Спокойно! Спокойно!

Сержант, вскочив с койки, заслоняет немца.

— А ну спрячь свою пушку! — властно приказывает он. — Вояка!

— Зачем... это самое... детей сиротить? — спрашивает рябоватый боец.

И тогда высокий взрывается:

— Ах, детей! Такую вашу... Его детей жалко! А моих кто жалеть будет?

Он бьет кулаком в свою грудь. На крупном костистом лице его ярость, губы дрожат, глаза ушли под лоб и не предвещают добра. Но все же хлопцы не дадут ему здесь учинить убийство. За сержантом, заметно испугавшись, стоит немец.

— Ты чего разошелся, как Гитлер? — говорит бойцу сержант и кладет руку на его плечо. — Ты же русский. Русский, да? Ну так чего ж ты, как бандюга, за пушку хватаешься? Он же пленный...

В хате становится тихо. Слышно, как в углу кряхтит обгоревший летчик. Его высокий сосед еще раз наделяет немца ненавистным взглядом и неохотно возвращается к товарищу. Кажется, конфликт кое-как улажен. Сержант, прежде чем залезть на кровать, легонько толкает немца:

— Не дрейфь, Гансик. Давай трави дальше.

Немец нерешительно отступает на свободное место.

— Их нике наци. Их бин ляндлерер, — говорит он поникшим голосом.

Я снова опускаюсь на солому возле стены. Рядом садится Юрка. Катя, кутаясь в полушубок, говорит:

— Не верю я ему.

— Ну почему? — не соглашается Юрка. — Бывают и среди них люди.

— Ирод он, а не человек.

— Почему так?

— Так.

— Вот те и раз! Это что такое? — вдруг удивляется сержант. В его руке колпачок от Юркиной фляжки, в который он наливал соседу по койке. Спирт в колпачке остался нетронутым.

— Эй, землячок, ты что махлюешь?

Он тихонько толкает раненого в плечо, еще недавно тот стонал и метался, а теперь и не пошевелится.

— Эй! — сержант встревоженно присматривается к нему. — Да он уже готов!

К кровати подходят санитары, встает Катя. Они долго щупают у бойца пульс.

— Фу ты, холера! — не сдерживает досаду сержант. — И сто грамм не допил, чудак.

Санитары в молчаливой угрюмости за полы шинели стаскивают труп с койки и, напустив холоду, выносят его из хаты. Им помогает немец, который затем, не зная, куда себя девать, жмется к порогу. Но его скоро замечает сержант.

— Ганс, ком сюда. Место есть. Ну что ж, помянем земляка, — говорит он и лихо опрокидывает колпачок.

Немец учтиво садится на койку:

— На здоровье!

Сержант крякает от удовольствия и хлопает немца по плечу:

— Правильно, Ганс. А ты где по-русски наловчился?

— Руссише шпрехен? О, биль фаль, — скромно отвечает немец.

Фаль! Будто знакомое слово, только я уж не припомню, что оно означает. В голове моей все устало путается, и я зову друга:

— Юрка! А, Юрка!

Юрка же, прислонившись к стене, молчит. Я заглядываю в его затененное лицо: вот тебе и на — он уже уснул.

Глава четырнадцатая

Юрка устало спит, уронив на грудь светлую голову. Здоровой рукой он осторожно поддерживает раненую и тихо посапывает в нос — по-домашнему мирно и сладко. Кругом успокаиваются, устраиваясь на ночь, раненые. Шум в хате постепенно утихает. Густо, не продохнуть, воняет шинелями, потом, бинтами. У меня

сильнее начинает болеть нога. Уснуть я уже не могу и молча гляжу на моего сонного друга.

Эх, Юрка, Юрка! В самом деле, как это здорово, что мы вот так нежданно-негаданно встретились сегодня, а завтра, возможно, сядем в санитарную машину и рванем в тыл — подальше от танков, от огня и бесконечных фронтовых тревог. А там — койка, чистое белье, покой и сон, сон… Может, нам повезет еще больше и мы попадем в один госпиталь. Вот было бы счастье.

Так же вот полтора года назад, совсем случайно и еще не зная друг друга, мы попали в один строй в училище и оказались в одной роте, в одном взводе и даже в одном отделении. Год мы проспали на нарах рядом, и почти каждую ночь, под утро, он нетерпеливо толкал меня в бок за мою дурную привычку храпеть. Было нам очень несладко начинать службу, по существу, подростками, вчерашними школьниками, вдруг оторванными от книжной науки и брошенными в беспощадную строгость военного училища с его уплотненной учебой, бессонными нарядами, дежурством, изнурительной усталостью оборонительных работ. Постоянно хотелось спать, есть, отдохнуть, а взводные, из нашего же брата — курсантов предыдущих выпусков, сами не знавшие тут поблажек, не баловали ими и нас. Говорили: так нужно, для того чтобы фронт потом показался раем после того предельного напряжения, в котором нас держали в училище. В самом деле, десять часов занятий при полной выкладке, марши, учения, земляные работы на окраинах города (строился внешний оборонительный рубеж Саратова), ночью — дежурства на самолетостроительном и крекинге, которые бомбили немцы. Там, еще до фронта, мы познали войну, огонь и острую скорбь по друзьям, растерзанным бомбами или заживо сгоревшим в огромных нефтяных пожарах на крекинг-заводе.

Это было очень даже нелегко, особенно если учесть сиротство многих из нас, родные места которых были заняты врагом. А немцы все перли и перли на восток, на Сталинград, Кавказ, стояли неподалеку от Москвы. И если все же нашлось такое, что давало нам душевную силу выдержать, то в нем немалую долю составило чувство товарищества с его неизменным юмором, добротой, искренностью. Все, оказывается, можно пережить, если у тебя есть друг, с которым многое делится пополам. Тогда все заботы и печали уменьшаются ровно вдвое, а радость — странное дело — вдвое увеличивается. И каким бы он ни был, твой друг, он становится второй половиной тебя самого и ты уже не можешь представить себя отдельно от него. Одним из таких друзей был для меня Юрка Стрелков.

Может, это и неприятно вспоминать теперь, но наше сближение началось с того, что мы поссорились.

Поссорились, как дурни, без серьезной на то причины, просто потому, что еще плохо знали друг друга. На политзанятиях, которые у нас проводили прямо в казарме на проходе между нарами, политрук Шаяхметов спрашивал о задачах, поставленных в первомайском приказе Верховного, и я не мог их перечислить правильно. Не то чтобы я не знал этих задач, но политрук был формалист и требовал ответить слово в слово, как это было напечатано в газете. Я же выучить их напамять накануне не имел времени. Когда было опрошено полвзвода, оказалось, что только курсант Стрелков может ответить более-менее правильно. Вот тогда политрук и прикрепил Стрелкова к трем отстающим по политграмоте. Но когда Юрка подошел к нам после занятий, мы его не послушались. Более того, мы с ним поругались (подумаешь, нашелся без пяти минут замполитрука!). Мы сами не хуже его могли выучить четыре или пять пунктов приказа, только мы не учили.

Стрелков, разумеется, обиделся, брякнул дверью и ушел — думали, докладывать начальству, но докладывать он не стал. Последнее обстоятельство несколько поколебало нашу к нему неприязнь, и, чтобы не подвести его (и себя тоже), к следующим занятиям мы все как следует вызубрили.

Зимой в училище стало очень голодно. В нетопленых огромных казармах гуляла стужа. Леденящий заволжский ветер на многочасовых полевых занятиях насквозь продувал наши потертые, на «рыбьем меху», шинели. Мы мерзли, и оттого еще больше хотелось есть. Про еду мы думали всегда — на занятиях, в наряде, на вечерней поверке и даже, просыпаясь, в казарме ночью. Возле столовки и около продсклада всегда толклись курсанты — больные, освобожденные от занятий, те, у кого порвалась обувь и не было в чем идти в поле. Все с голодной тоской в глазах ждали счастливого случая раздобыть что-либо съестное.

Однажды мы с Юркой были в карауле и простояли ночь на двухсменном посту, который на день обычно снимался. Этот пост давал нам право отлежаться в караулке на нарах (если только не было к нам никаких дел у грозного бога роты — старшины Шквары). Впрочем, в тот день с рассвета первым завалился спать я, так как отстоял свое время на посту, и прохрапел до самого завтрака. Юрка же, сменившись позднее, побежал к столовке раздобыть харчей, и там ему подвернулся прямо-таки невероятный по тому времени случай.

Возбужденный, он пулей влетел в караульное помещение и, с трудом растолкав меня, еще не пришедшего в себя ото сна, потащил к продскладу. Оказывается, там нас ждала автомашина-фургон, в которой возили из города хлеб и к которой Юрка только что подрядился в грузчики. Заведующий складом, молчаливый пожилой

мужчина в куртке, терпеливо ждал Юрку, хотя рядом, наперебой предлагая услуги, стояли человек шесть курсантов. И все же Юрка, рискуя остаться ни с чем, бегал за мной, и мы, едва переводя дыхание от усталости, наконец залезли в кузов машины. Заведующий сел в кабину.

Мы ехали, рассчитывая через час вернуться, наевшись свежего хлеба и (если повезет), может, еще и прихватив буханочку-другую про запас. Ради хлеба мы сознательно жертвовали завтраком — двухсотграммовой пайкой, миской супа и чаем, нам дороже был хлеб.

Правда, заведующий складом вскоре разочаровал нас. Оказалось, что, прежде чем ехать за хлебом, надо привезти мясо. Это было все же не то что хлеб, но что поделаешь — раз влезли в кузов, то должны были слушаться. Около часу мы таскали на мясокомбинате бараньи туши в машину и наложили их столько, что едва поместились сами.

Потом, голодные, мы сгружали туши на складе и, не позавтракав (так как уже опоздали), на той же машине снова отправились в город. Но и на этот раз хлебозавод остался в стороне, мы приехали на базу, где нам была подготовлена еще более трудная работенка — погрузить целый штабель мешков с мукой. Пожалуй, каждый из нас в отдельности весил меньше, чем любой из этих стандартных шестидесятикилограммовых мешков, которые мы просто не могли поднять. Но что мы могли сделать, коли вызвались в грузчики? Правда, помог завскладом, и, когда мы муравьиным способом перетащили муку в машину, оказалось, что сил у нас осталось только на то, чтобы самим залезть в кузов. А впереди еще ждала разгрузка. К тому же мы прозевали обед и опоздали в караульное помещение. В перспективе была гауптвахта, а может быть, и того хуже.

Но третий рейс действительно был за хлебом, и мы рискнули — все равно влипли. Что уж горевать по лишнему часу самовольной отлучки, если мы отсутствовали в казарме уже не меньше восьми часов.

Хлебозавод встретил нас такой концетрацией хлебного запаха, что мы готовы были забыть про все наши беды и вообще не возвращаться в тот день в училище. Поджаристыми, душистыми до охмеления буханками были уложены десятки ячеистых стеллажей с узкими проходами между ними. Целыми стеллажами взвешивали и отдавали на погрузку в машины. Мы были более чем голодны, казалось, могли съесть десяток буханок, но съесть даже кусочка тут было нельзя, и мы думали: пусть — наедимся потом.

Это «потом» представилось только тогда, когда в закрытой машине мы тряслись рядом с теплой грудой буханок и глотали,

почти не жуя, мягкие, распаренные корки. Впрочем, много ли их можно было проглотить за каких-нибудь пятнадцать минут дороги по ухабам окраинной улицы? Потом мы разгружали — честно, до последней буханки. Кстати, контроль за нами всюду был более чем строгий, но мы надеялись, и надеялись не напрасно.

Завскладом немало помучил нас, но и неплохо отблагодарил. Мы получили три еще теплые буханки и побежали в свои казармы. Спешить, в конце концов, не имело смысла, так как на поверку мы давно уже опоздали. В городке все утихло, только по дорожкам возле казарм ходили патрули. Они-то и задержали двух похожих на воров или диверсантов нарушителей воинского порядка.

Стычка с ними была не очень приятной, зато недолгой. Чтобы не попасть к дежурному по училищу и не потерять все, пришлось пожертвовать одной буханкой. Вторую мы предусмотрительно припрятали в снегу возле забора, а с последней под полой у Юрки, едва преодолевая страх, открыли двери казармы.

Нам решительно не везло в тот день, и мы окончательно поняли это, как только переступили порог и увидели между нар на проходе нашего старшину Шквару. Двое дневальных начинали мытье полов, а старшина, по-наполеоновски скрестив на груди руки, холодным взглядом всевидящих очей глядел на нас. «Где были? Отвечайте! Молчать, когда разговариваете со старшиной! Я вас спрашиваю, где были? Молчать! На губу захотели?..» И вдруг старшина сменил гнев на ехидную милость: «А ну, а ну, что это у вас? А ну?..»

Так безвозвратно погибла наша вторая честно заработанная буханка, вместо которой старшина тут же наградил нас четырьмя нарядами (мало в тот день нам пришлось потрудиться!). Сняв шинели и почти глотая слезы, мы принялись драить пол.

Мы проклинали тогда старшину, ледяную воду, которую надо было таскать в ведрах от самой столовки, проклинали заведующего складом, доведшего нас до стольких мучений, и все на свете. Единственным нашим утешением была третья буханочка, которая ждала нас под забором.

Но ту буханку, ту последнюю надежду голодных, раньше нас отыскали собаки.

Когда мы, далеко за полночь справившись с полами, увидели возле забора примятый собачьими лапами снег с красными, как кровь, крошками хлеба, то на минуту онемели. Я готов был взбеситься. Юрка, видно, первый раз в жизни выругался и в отчаянии опустился на снег. Я хотел кого-то убить. Мы едва добрели до нар…

Правда, наутро, позавтракав, уже гораздо меньше переживали все это, а еще через неделю даже рассказали ребятам

про наш злополучный заработок. И хлопцы надрывались от смеха. Да и мы тоже.

...В хате густой — не продохнуть — смрад. Кто-то бормочет во сне, кто-то стонет. В двух местах слышится храп. На припечке догорает последняя «катюша». Немец на кровати тоже утих и, навалившись на колени, спит сидя. На стене за ним зловеще чернеет его косая и широкая тень. Дремлет у порога санитар. Один только сержант возится в изголовье, поудобнее устраивая ногу и кутаясь в десантную куртку. Потом он собирается закурить и достает из кармана свой мефистофельский мундштук.

В который раз я поправляю на полу изболевшую ногу.

Сержант поднимает голову:

— Болит?

— Болит, зараза!

— Моя тоже. Днем еще терпимо, а ночью жжет, не уснуть.

— Наверно, ночью все раны сильнее болят.

— Ну, а ты думал, — соглашается сержант и после паузы сообщает: — Слушай, младшой, а твой немец, кажись, ничего.

— Кто его знает? Может, и ничего.

— Понимаешь... — Сержант сосредоточенно прикуривает от зажигалки. — Понимаешь, я было хотел его шпокнуть. Поначалу. Зол я на них, есть причина. Да гляжу — какой-то уж очень он не такой, этот Фриц. Учитель. Двое детей. Хотя бы уж буржуй какой-нибудь. Или эсэсовец.

Я молчу. Я понимаю его злобу на немцев. Только вот думаю: очень уж легки стали у нас на суд и расправу. Ни тебе начальства, ни трибунала, так просто, за здорово живешь — шпокну! Какое самоуправство! А может, он нужен где-нибудь в штабе? Впрочем, видно, виноват и я — пленных надо доводить до места, а не отираться с ними по санитарным частям, где раненые нервные, злые. Но это уже другой разговор.

— Понимаешь, третий раз не везет, — выдыхая дым, тихо говорит сержант. — Все не могу. Или, может, тюхтяй такой стал. Первый тяжелораненый попался, подняться не мог. Взял его винтовку, думаю, сейчас я тебя доконаю. Загнал патрон в патронник, а он так глянул на меня и говорит: «Данке, рус! Найн Сибир!» Ах ты, думаю, гад, Сибири боишься. Тогда живи, отведай Сибири! Не стал стрелять. Другого под Золачевом схватили. В разведке. Хотел пырнуть финкой, да не смог — молодой такой, пацан пацаном. Как наш Маковчик. Был такой в роте. Худенький, тонкий и кашляет. Ну, отвел в штаб, черт с ним, думаю. Попадется же в конце концов эсэсовец, тогда расквитаюсь.

Сержант, кряхтя, удобнее прилаживается на койке и прислушивается к грохоту какой-то машины за окном.

— Завтра эвакуируют. На месяца два теперь отдых... Перевязки. Сестра — утку! Паскудство одно. Не люблю! — отрезает он и затягивается из трофейного мундштука. Потом хмурится. — А Маковчика через неделю осколком в позвоночник. Эх! Разрази тебя в тысячу трах-тарарах!..

Он остервенело ругается пятиэтажным матом и злобно плюет в порог. Рядом поднимает голову Катя, и я удивляюсь: оказывается, она не спит — печально сидит, опершись на коленки, словно обособившаяся от всего и всех в этой хате. В ее невеселых глазах слезы. Я почти пугаюсь:

— Вы что?

Она даже не повернула головы.

— А тебе что за дело?

— Да я так. Думал...

— Отстань.

Можно и отстать, коли нет желания ответить. В самом деле, чего мне набиваться с сочувствием, как будто мне мало своих забот и своей боли? К тому же усталость берет свое, и меня снова начинает одолевать сон. До утра, видно, еще далеко...

Глава пятнадцатая

Чем ближе к вокзалу, тем все больше людей. На стоянке такси — большущая очередь, которой лихо распоряжается дежурный с красной повязкой. Запоздалые пассажиры спешат на пригородный поезд. С флегматичной неторопливостью, убивая время, по тротуару проходит комендантский патруль — двое солдат и майор. В петлицах технические эмблемы, майору на вид лет сорок пять. Да, постарел офицерский корпус, думаю я, не то что в войну. Когда-то у нас в полку самый старший офицер — начальник артвооружения — имел тридцать восемь. Командиру полка было тридцать два. Батальонами командовали двадцати-пяти-двадцативосьмилетние хлопцы. Впрочем, нам, взводным, они в то время казались почти пожилыми.

Вокзальный вестибюль гудит от народа. Суета, толчея и гомон. Слышен и плач. Действительно, у выхода на перрон плачет женщина, только ничего не видно — толпа любопытных отгораживает ее плотной стеной. Наверно, что-то случилось.

Задетый любопытством, я поднимаюсь по ступенькам на второй этаж и останавливаюсь возле перил. Отсюда уже можно кое-что разглядеть. Однако сцена кажется не совсем обычной, по крайней мере для нашего времени. На шее у растерянного мужчины с почти уже седой головой виснет женщина. Косынка ее сбилась на плечи, волосы растрепались. Навзрыд плача, она приговаривает что-то невнятное. Прощается, что ли? Но куда же он уезжает?

Мужчина с тоской во взгляде сдержанно утешает ее, гладит по плечу рукой. Кажется, там есть и близкие им люди. Два вполне взрослых парня — в пестрой тенниске и в вельветовой куртке — тоже пытаются успокоить женщину:

— Мама, ну хватит!

— Ну что ты? Люди смотрят. Кончай!

— Ну и пусть смотрят! — закидывает голову женщина. На ее покрасневшем, залитом слезами лице — боль и отчаяние. — Пусть глядят на мое горюшко! Родной ты мой Колюшка, зачем же я тебя спознала?! — причитает она совсем уж по-бабьи и снова припадает к груди смущенного человека.

Непривычное и странное какое-то прощание. Будто в сорок первом. Я недоуменно схожу по ступенькам. В вестибюле появляется дежурный по вокзалу:

— Граждане пассажиры! Прошу разойтись! Прошу разойтись, не нарушать правил! Граждане пассажиры!..

Но пассажиры его не слушают — их продолжает волновать этот отчаянный крик человеческой души. Только никто еще ничего не знает, и каждый старается заглянуть в середину толпы.

Однако через минуту плач притихает, и женщина с седовласым мужчиной направляется к выходу. За ними, неся чемодан, идут двое парней. Люди неохотно расступаются. Женщина все еще всхлипывает.

Из толпы вылезает тетка с корзинкой, ставит ее на пол и начинает перевязывать на голове платок. Ее быстро окружает вокзальный люд, которому не терпится что-то узнать. На лице тетки почти что испуг.

— Ой, бабоньки! Эту женщину ейный муж отыскал. С войны растеряли один другого. Теперича это он приехал. Да ведь с ним новая женка. Вон, в зеленой кофте, — шепотом сообщает она, оглядываясь на выход.

Еще мало что понимая, все сразу поворачивают лица на середину. Действительно, прислонившись плечом к мраморной колонне, стоит, сведя брови, женщина. Ни на кого не обращая внимания, она в растерянной задумчивости смотрит на пол. Потом, словно вдруг что-то поняв, круто поворачивается и решительно выходит в другую дверь — на перрон.

— Ой, бабоньки! Как же это? — спрашивает какая-то молодуха, видно, первой осознав весь драматизм этой необычной ситуации.

Однако все ясно. Я больше не хочу видеть такое. Это дико и страшно. Это выворачивает наизнанку душу. Не хватит ли, проклятое чудовище — война! Или тебе мало того, что ты натворила

на земле двадцать лет назад? Зачем же ты еще и теперь жалишь людей своим ржавым затупленным жалом?

Но я знаю: дьявольским козням ее нет предела. Страдают матери, потерявшие детей. Годами болят у калек оторванные руки и ноги. Притаившись в земле, поджидают своих жертв мины.

С опозданием открываются людям неслыханные злодеяния бесноватых выродков. На счету истории все увеличивается число невинных, неотмщенных жертв. Где же виновники?!

Конечно, одни в земле. Других судили и прах развеяли по ветру. Третьи готовятся начать все сначала. Но есть и четвертые, которые искренне удивятся, если им предъявить счет за некоторые их давние уже дела.

Держась за искромсанные перила, я поднимаюсь на второй этаж. Вдобавок ко всему с каждым годом сдает мое сердце. Одышка заставляет останавливаться и хватать ртом воздух. Вот тебе и молодой человек! Впрочем, я знаю: вылечив легкие, я «посадил» сердце. Проклятый тришкин кафтан. Рваные ошметки вместо здоровья.

Я раздражен и зол. Бывают такие минуты. Возле буфета, в зале транзитных пассажиров, — очередь. Длинный ряд людей вдоль прилавка до самой двери. Хотелось бы выпить чашку кофе и кое-что съесть. Только придется долго стоять. Однако куда мне спешить!

— Кто последний?

— Я.

Короткий, словно блеск, взгляд. Миловидное юное личико под бронзовой копной волос. Мгновенно вспыхивает и гаснет любопытство в широких глазах. Конечно, чем тут интересоваться? Худой, с залысинами на лбу дядька, увядшее, потрепанное жизнью лицо. К тому же хромой. Но, черт возьми, все-таки я хотел бы ей чем-то понравиться. Только зачем? Опять же я понимаю, что это невозможно. И удивляюсь своему желанию.

Нет, видно, об этом надо забыть. Мое отошло, отгремело.

Рядом, высматривая кого-то в очереди, ходят двадцатилетние парни. Ничего не скажешь — симпатичные ребята. Спортивная осанка, свежие воротнички отглаженных белых рубашек. Какие невежды когда-то с таким усердием ополчались против узких штанов! Ведь это красиво. А для молодежи красота, может быть, главное. По крайней мере, лет в двадцать. У нас, правда, все было иначе. Мы носили неуклюжие шаровары хабэ и кирзачи. Они мало благоприятствовали любви, хотя и не в состоянии были подавить наши чувства. Помню, когда мы с ней где-либо садились рядом, ноги у нас были одинаковые, не отличишь. Разве что ее сапоги — немножко меньше размером. И такие же одинаковые шинелки — жесткие, тяжелые в мокрядь и жару и холодные в стужу. И лицо

было мало ухожено. Однажды мы лежали под обстрелом в борозде, и взрывом ее всю залепило грязью, попало в лицо и в глаза. Она умывалась слезами и ничего не видела. И надо было бежать. Тогда я схватил ее за руку. Бойцы в залегшей цепи удивлялись: чего это они бегут, взявшись за руки, словно на прогулке?

Та прогулка под минными взрывами сделала свое дело. И без того к немалым заботам прибавилась новая. Я подкарауливал ее где только мог. При каждом удобном случае норовил сбегать в батальон, имел несколько неприятностей с ротным. Я собирался ей что-то сказать. Самое важное и самое мое первое слово. Только я опоздал. Смерть опередила меня. В большом приднепровском селе над плавнями остался свежий гравийный холмик, который отделил ее от живых. Все остальное, что случалось со мной потом, было не то и не такое. Да и сам я стал другим…

Однако очередь почему-то расходится. Кончились пирожки. Мило хмыкнув вздернутым носиком, уходит и моя девчушка. Оставшиеся в ряду продвигаются, и я оказываюсь у самого прилавка. Кофе еще есть, и то неплохо. После водки донимает жажда.

И вдруг я вижу его.

Какое-то время, словно окаменев, я молча гляжу в его нахмуренное лицо. Он отходит от очереди и останавливается. Потом снова возвращается к стойке и что-то рассматривает под стеклом. Бряцает мелочью в горсти. Вид у него молчаливо-озабоченный. Сахно! Ей-богу, Сахно. Да, теперь или никогда! Я буду размазней, если упущу его. Нет, бить я не буду. Зачем бить? Я скажу ему, что он гад. И предатель. Изменник родины! Скажу прямо в глаза. Пусть тогда бьет он. Будет скандал, прибежит милиция, и я объясню, почему я так поступил. Пусть тогда меня судят.

Я выхожу из очереди и делаю два шага вперед. Сердце мое тут же срывается в галоп. Однако держись, сердце! Не подведи!

Но тут кто-то подходит к прилавку и становится между нами. Я прикусываю губу — он мне мешает. Вдруг Сахно поворачивается, и его брови вздрагивают. Узнал, гад! Но глаза тут же становятся спокойными. Он сует в пальто руку и звонко ссыпает мелочь в карман. Потом спрашивает:

— Не удалось?

— Что?

— А в гостинице?

— Нет, не удалось, — говорю я не своим голосом и, будто загипнотизированный, гляжу в его выцветшие, малоподвижные глаза.

— Проклятый город, поесть не добьешься. Вы ужинали?

— Нет.

— Может, пройдем в ресторан? Тут напротив.

Поникший, я стою, как дурак, как идиот. По-видимому, он и считает меня идиотом. Но я снова не знаю, что делать. Я не узнаю его. Сахно и не Сахно.

— Ну? Составите компанию?

Он идет меж людей к двери, и я растерянно иду за ним. Первый, самый удобный момент упущен. Теперь я уже не могу отважиться, меня колеблят сомнения. Может, потребовать у него документы или спросить фамилию? Однако это не может тянуться долго. Так я не выдержу.

Мы выходим из зала ожидания. Он доверительно оборачивается ко мне:

— Бордель, а не город. У нас стоит позвонить в коммунхоз, и гостиница обеспечена. А тут не могут забронировать одно место. Республика, называется.

Сволочь! Что ты знаешь про эту республику? Не досталось места в гостинице? Кончились пирожки? А про полумиллионную армию партизан в этой республике ты слышал? Про девять тысяч белорусских орадуров и лидице ты знаешь? Про два с лишним миллиона жертв? Про то, что и до сих пор эта республика не достигла довоенного числа жителей?

Я едва сдерживаю нервную дрожь внутри. А он раздевается в гардеробе. Перед зеркалом старательно расчесывает на затылке остатки своей шевелюры. Потом мы заходим в зал. Тут также битком народу. Свободных столов нет, и мы медленно идем между рядами. Но вот у окна вылезают из-за стола четверо офицеров. Мы сразу занимаем их места. На скатерти гора неубранной посуды. Он брезгливо отодвигает от себя тарелки.

Разговаривать со мной у него, видно, пропало желание. Но и мне не до разговоров. Меня изводит вопрос: он или не он? В голове начинается пронзительный звон, руки заметно дрожат. Он же, очевидно, не узнает. Что ж, тем лучше! Я напрягаюсь, как перед рывком в атаку, и спрашиваю его в упор:

— Вы — Сахно?

— Что? Нет, не Сахно.

Не Сахно! Другой возможности узнать, кто он, у меня пока нет. Я напряженно стараюсь сообразить, как поступить дальше. Он забрасывает ногу на ногу и откидывается на спинку стула. Достает из кармана газеты. Кажется, он совершенно спокоен, целиком поглощен собою. Ни одна жилка на его лице не дрогнет. Шурша газетой, бросает на меня взгляд:

— А почему вы спросили? На кого-то похож? Да?

— Похож.

— Бывает, — вздыхает он и оживляется. — Я в Ростове одного инженера год путал с бухгалтером управления. Похожи как две капли воды.

Черт! Кажется, я влип! Неужели действительно не он? А может, притворяется? Что-то чувствует и боится? Пожалуй, кое-что из своего прошлого скрыл.

Однако нет. Держит себя без притворства, уверенно. Широко разворачивает «Правду», «Труд» протягивает мне:

— Почитайте. Пока тут дождешься…

И, не договорив, погружается в чтение. Я машинально просматриваю заголовки и ничего не понимаю.

Если не Сахно, то это ужасно. Я же мог его опозорить. А если, несмотря ни на что, все же он? Неужели я и теперь останусь в дураках, как и двадцать лет назад?

Что ж, подождем.

Он читает сосредоточенно, всерьез. К нам больше никто не садится. Официантка тоже не идет. Я невидящим взглядом смотрю на петитные строчки газеты и не могу заглушить в себе почти отчаянного крика памяти…

Глава шестнадцатая

Сон мой прерывается взрывом:

тр-р-рах!.. лоп-лоп-лоп… ши-ш-ш-р-р-ш-ш-ш…

И еще:

тр-р-рах! тр-р-рах!.. шр-рик!

Что это? Где? Фу ты, сыпануло чем-то за шиворот. На спине — будто муравьи или, может, песок. Я вскакиваю и сразу понимаю: беда!

В хате почти светло, за окнами — раннее рассветное утро. Меня обдает холодом, снежная пыль сыплется на лицо, голову, за воротник. На полу удивленные лица людей. Возле кровати, обхватив голову, согнулся, выжидая чего-то, сержант. С потолка осыпается перемешанная со снегом штукатурка.

Тр-р-рах! — кажется, под самым окном гремит новый взрыв. В окно врывается туча снега с землей. Мелкие осколки стекла, дробью осыпая раненых, оседают в складках шинелей. Невольно отшатнувшись от взрыва, я окончательно лишаюсь сонливого замешательства и пугаюсь — где Юрка?

Но Юрка рядом, он также недоуменно моргает заспанными глазами и спрашивает:

— Что такое? А? Бомбежка, а?

Нет, Юрка, не бомбежка и даже не обычный огневой налет. Это другое. Я боюсь его, этого «другого», от одной только мысли о нем у меня холодеет в груди. Тр-р-рах! Тр-р-рах! — рвутся снаряды

дальше, в огородах. Там кто-то яростно матерится — слышны испуганные выкрики, топот бегущих ног. Что-то там происходит неладное. А я с душевной дрожью вслушиваюсь в эту сумятицу звуков, и пропади оно пропадом, это вчерашнее мое предчувствие, — оно оправдывается. В промежутках между разрывами откуда-то издалека доносится тяжелый прерывистый гул танков.

Ну вот и дождались! Доспались, доотдыхались, донадеялись, черт возьми! Теперь расхлебывай!

Наверно, другие также что-то уже слышат. Сержант, за ним Катя и Юрка бросаются к вдребезги разбитым взрывами окнам. Вскакиваю на одной ноге и я. Еще кто-то припадает к окну. Вот так картина! Самая противная и страшная изо всех картин на войне — драп.

По улицам, по огородам, мимо нашей хаты и дальше одиночками и группами бегут из села люди. Бешено несутся кони, разбрасывая скатами снег, по одной мчатся машины. Видно, все, кто тут был, ринулись за околицу, мимо разбитых осколками мазанок, перепрыгивая через плетни, падая и вскакивая. Неподалеку на улице пылает разнесенный взрывом «студебекер». Возле опрокинутой повозки, издыхая, бьется головой о дорогу конь. Тр-р-рах! Тр-р-рах! Пи-и-иу… Пи-у-у-у… Тр-р-рах! Там и тут рвутся снаряды. Но мы уже не обращаем внимания на них — мы всматриваемся в даль, за село.

По отлогому склону из степи ползут в село танки.

Жвик-жвик-жвик! Тр-р-рах!

Взрыв отбрасывает нас на пол. Хата приподнимается и оседает. Кажется, рушится потолок. Сухим пыльным смрадом забивает дыхание. Кто-то стонет, кто-то ругается и, вскочив, бросается к двери.

— Ложись! Ложись, черт вас побери! — кричит в этом пыльном хаосе Катя. Она по-мужски ругается, но теперь это никого не удивляет — да и как же иначе, если такое творится кругом.

Штукатурка со стен и потолка густо запорашивает головы и спины. Юрка поднимает лицо, его не узнать — один только, полный тревоги и недоумения, взгляд: что делать?

— Сестра! Сестричка! Ой, спаси же!.. Ой! — кричит кто-то в хате.

Пыль быстро выдувает ветром, не ветром — настоящим вихрем, ибо уже ни окон, ни дверей нет. Дверь, очевидно, раскрыта, и на пороге распласталась неподвижная фигура. Это наш санитар, что вчера на том самом месте бросал кроликов. Над углом, в потолке, пролом с дыркой наружу. В ней курится снег, и под ним, внизу, на

соломе, слепо мечется обвязанный бинтами летчик. Коленями и локтями он толкает, тормошит соседа:

— Эй, товарищ! Товарищ!

Из-под шинели торчат длинные ноги в кирзачах, они не двигаются. Кажется, его сосед, который вчера бросался на немца, — «уже». Но попало в хате, видно, не только ему одному.

— Сестра! Сестрица! — причитает кто-то в другом углу (не тот ли рябой?). — Кровь... Второй раз гвозданули, гады!!!

— Что же это творится, братцы? Надо же что-то делать!

— Тихо! Тихо! Ложись! — командует Катя и с треском разрывает очередной перевязочный пакет.

Она, с распущенными волосами, без шапки, мечется по хате то к порогу, то к углу, где не унимается обезумевший незрячий летчик:

— Где сестра? Сестра!!!

Катя склоняется над обгоревшим и, безразличная уже к соседу, уговаривает его:

— Ладно, ладно. Все будет хорошо. Ты ляг! Лежи! Все будет хорошо...

Ее удивительно ровный, сочувственный голос на минуту кое-как успокаивает бойцов. Обожженный нерешительно умолкает. Катя, переступая через людей, подается в другой угол, к перегородке. Там тоже кто-то, надрываясь, стонет.

Возле печки поднимается с полу последний наш санитар — маленький напуганный пожилой человек, и Катя кричит ему:

— Ты! Бегом к начальству! Ну, живо! Повозки живо!

Санитар, пригнувшись, трусливо перелезает через труп напарника на пороге и исчезает в сенях. За окном с грохотом мчится подвода. Задворками бегут люди. Трещат разрозненные автоматные очереди.

— Счас, родненькие! Счас! Все будет хорошо. Все хорошо, — приговаривает Катя.

Я поглядываю на Юрку, он лежит на боку рядом и кусает губы. В глазах моего друга предельная напряженность. Наверно, в моем взгляде он улавливает немой вопрос и пытается успокоить дружеским пожатием руки:

— Ладно. Подожди. Подожди чуток.

Ждать, конечно, не самое лучшее — скорее худшее. Как раз ждать теперь и нельзя. Каждая минута промедления, видно, вскоре будет нам стоить многого. Но что делать? Попали из огня да в полымя! Называется, покимарили ночь — все прокимарили. Запоздалое сожаление о вчерашнем; боль, досада и страх овладевают моими чувствами. Хочется немедля что-то предпринять, кого-то обвинить. Только кто тут виноват? Разве что я сам. Надо же

было вчера так успокоиться, забыться в этой тишине, отдаться радости встречи с Юркой, махнуть рукой на танки в степи — и вот теперь получай. Понадеялись, называется, на предусмотрительность и заботу других.

Скорчившись на соломе, я вслушиваюсь в канонаду на улице. Рядом — также весь в слухе — Юрка. Взрывы прижали нас к полу, и мы живем болезненно напряженным слухом. Во дворе топот ног, стоны, короткие выкрики. Вдруг слух улавливает прерывистое дыхание. Я оборачиваюсь — в окне потное, встревоженное лицо.

— Эй, славяне, где тут сестра?

— А что, повозка? Ага? Давай сюда!

С пола неуклюже вскакивает сержант и хватается за подоконник. Но лицо там исчезает. Коротенькая надежда вспыхивает в сознании: а вдруг за нами? Хотя для одной подводы нас многовато. И тут я впервые за это утро встречаю забытый уже печально-терпеливый взгляд. Это из-под койки, где лежит «мой» немец. Как гость на чужой беде, он забился туда и ждет. Только чего ждет?

Пули и осколки прошивают крышу. Ветром заносит в хату соломенную труху со снегом. Мы вбираем головы — видно, они все же нас доконают. В сенях слышится топот. Сквозь раскрытую дверь, переступив через санитара, вваливается боец в телогрейке. За ним второй с винтовкой за спиной — они втаскивают кого-то в шинели и опускают возле печи.

— Сестра! Где сестра?

Катя, торопливо забинтовав чье-то окровавленное плечо, по солдатским телам лезет к порогу.

— А что вы мне его принесли? — через минуту кричит девушка. — Я не похоронная команда. А ну тащите назад!

На потном лице бойца — удивление, почти что испуг.

— Как это назад? — тихо спрашивает он.

— А так. Не знаете как? — бросает она и спешит в угол к почти обезумевшему летчику.

— Ляг! Ляг! Ну что ты — ляг! — уговаривает его Катя.

Боец растерянно стоит возле печи. Мне хорошо видны отчаяние, удивление и испуг, что одновременно отражаются на его заросшем щетиной лице. С минуту он недоуменно вглядывается в труп на полу, потом поднимает рукавицу, чтобы вытереть пот. И тут: тр-р-рах!

Это близко, но все же не так, как в предыдущие разы. На Юркину шинель отскакивает гниловатая щепка от подоконника, а боец с рукавицей, вытирая спиной побелку, быстро сползает на пол. Я еще не успеваю сообразить, что произошло, как он, обмякнув,

падает на бок, глухо ударившись головой об пол. Изо рта его хлещет кровь. Его напарник бросается в сени.

На полу матерится сержант:

— Где санитар? Где начальство?..

Хватаясь за койку, он неуклюже встает и, неся впереди прямую, как бревно, ногу, поворачивается ко мне:

— Ты, дай автомат! Я им наведу порядок!..

Это так уверенно и категорично, что я сразу, не подумав, отдаю ему свой ППС. Сержант торопливо скачет к двери. Катя кричит из угла:

— Подводы! Подводы давай сюда! Слышишь?!

— Не глухой! — долетает уже из сеней.

Мы снова ждем, припав к забросанному штукатуркой полу. В селе бой. Вовсю гремят танки, бьют их пушки, неистово заливаются пулеметы. Однако что-то там застопорилось — все же, видать, опомнились славяне, зацепились на той окраине и оказывают сопротивление. Только надолго ли?

Юрка, должно быть, обеспокоен тем же и, привстав, выглядывает из-за косяка. Я гляжу на него снизу, но на лице друга ни капельки облегчения. Пожалуй, на этот раз беда обрушилась на нас со всей ее неотвратимостью.

Вскоре Юрка опускается на солому.

— Ты идти не можешь?

Я шевелю раненой ступней. Болит, холера, как тут идти? Юрка понимает без слов.

— Так. Значит, так. Я... Надо туда. — Он кивает головой за окно. — Там мало народу.

Все ясно. Придется драться. Оказывается, война для нас еще не окончилась, передышки не будет (глупые, наивные мечты). Борьба продолжается, и надо идти в бой. Легко здоровым — вон сколько их дало волю ногам! У нас же выбор небольшой: плен или смерть. Ну что ж!.. Только вот рана...

Юрка тем временем сдвигает наперед кирзовую кобуру, левой рукой достает ТТ. Магазин у него неполный. Одной рукой он шарит в карманах, достает несколько патронов, неловко запихивает их в магазин. Я также выгребаю из своих карманов остатки боеприпаса. Набирается десяток автоматных патронов, и я отдаю их Юрке. Тот решительно поднимается на ноги:

— Ну, держись!

Он пытается улыбнуться одними губами, и в этой его улыбке — проблеск надежды, в которую он и сам слабо верит. Значит, снова расставание, снова он уходит, и, наверное, уже навсегда.

Ну конечно, вряд ли он вернется оттуда. Тогда и я не хочу быть тут — умирать, так вместе. Я вскакиваю в хмельном порыве — была не была! Так или не так — додумывать теперь некогда.

— Дай руку.

Он недоуменно смотрит на меня, секунду медлит и нерешительно подает здоровую руку. Я встаю и, придерживаясь за койку, прыгаю к порогу. Черт, на одной ноге все-таки неудобно. Если бы на что-нибудь опереться. Я приостанавливаюсь, Юрка впереди, поняв мои заботы, оглядывается. В углу, у порога, стоит чья-то винтовка, он хватает ее и сует мне. Это обыкновенный немецкий карабин с черной ложей, и я опираюсь на него, как на палку.

Уже с большей уверенностью мы перелезаем через троих убитых и выбираемся на закиданный комьями земли двор.

Глава семнадцатая

Во дворе нас сразу оглушает взрыв, мы оба падаем, потом Юрка, вскочив, перебегает за угол какого-то сарайчика. Там он оглядывается, намереваясь бежать дальше, но я в этом деле ему не ровня. И он, присев за углом, терпеливо поджидает меня.

Я прыгаю на одной ноге и шарю вокруг глазами — авось где увижу гранату. Нужны гранаты. С винтовкой да пистолетом мы не долго навоюем против танков. От сарайчика Юрка подбегает к полуповаленному взрывом плетню и опять приседает.

За плетнем на снегу серое пятно воронки, дальше забросанный грудами земли огород.

Пи-у-у-у!.. Пи-у-у-у!.. Пи-у-у-у-у-у-у...

Эге, да тут не одни танки — тут еще и мины! Три громовых взрыва сотрясают поблизости землю. Меж хат взлетает в небо сизое снежное облако. Юрка хочет перескочить через плетень, но оборачивается и опять приседает. Доковыляв до него, я опускаюсь на колени, пережидая длинный пронзительный визг мин. Бьют с околицы навесными крутыми траекториями. Мины летят долго и своим визгом, кажется, переворачивают все внутри. Сколько я на фронте, а все никак не могу привыкнуть к этому их проклятому визгу. Я гляжу на Юрку — мне еще не приходилось видеть его под огнем. Э, да он молодчина: собранный, сосредоточенный, быстрый. Он бы, конечно, одним махом перескочил этот огород и уже был бы там. Вот только я...

— Если тут не сдержим — в поле хана! — кричит Юрка сквозь скрежет, который в это время достигает наибольшей силы и вот-вот оборвется взрывами.

В такой момент не до разговоров, и я мысленно соглашаюсь: в поле, конечно, гибель.

Тр-р-рах! Тр-р-рах! Тр-р-рах! — сзади и с боков рвут мерзлую землю взрывы. Мы распластываемся под плетнем. Большие комки земли бьют по спинам, головам, ногам, потом на снег падают куски поменьше, а земляная мелочь еще долго будет сыпаться с неба. После третьего взрыва Юрка оглядывается:

— Ты, если что… Адрес не забыл?

— Ну что ты!

Адрес я помню: Ачинск, Набережный переулок. Там живет Юркина мать — бухгалтер детского сада. О себе я молчу. Мой адрес теперь не понадобится — он по ту сторону, под немцем.

— Ну, давай первый! — легонько толкает меня в плечо Юрка.

Ясное дело, он не хочет отрываться, терять меня, одноногого, из своего поля зрения и дает мне эту поблажку. Чтоб не отстал.

Опираясь на карабин, я перелезаю через полуповаленный плетень, раз-другой наступаю на забинтованную пяту. Болит, но надо держаться, иначе мне не пройти. На одной ноге далеко не уйдешь. Юрка, пригнувшись, бежит в трех шагах рядом. Порывистый ветер низко стелет черные космы дыма от «студебекера» с улицы, временами накрывая им середину огорода, которая от копоти будто посыпана золой. Мы бросаемся туда, в этот дым, и тут снова: пи-у-у-у… пи-у-у-у…

— Ни черта они нам не сделают! — кричит Юрка. — А ну, давай быстрей!

Он резко вырывается вперед. Нас окутывает дым. Рядом рвутся мины. В воздух взметаются клубы дыма. На несколько секунд я перестаю видеть и, пригнувшись, устремляюсь вперед, в сумеречную зловонную полосу дыма. Глаза заливают слезы, я едва не налетаю на обрушенную глинобитную стену. Взрыв! Падаю, отчетливо чувствуя, как осколок с лета пропарывает полу моей шинели. Но ноги, кажется, уцелели — это главное. Под стеной протираю запорошенные глаза и оглядываюсь.

Юрки нет.

Сначала ни испуга, ни сожаления, одно лишь недоумение — он же только что был рядом. Затем внезапная тревога заставляет меня вскочить. Сизое облако от мины рассеивается, ветер понемногу относит дым в сторону, и тогда я вижу на снегу Юрку. Он лежит ничком, широко разметав руки, и не двигается.

Минутный испуг во мне сменяется страхом. Не оберегая больше раненую ногу, я кидаюсь назад и через несколько шагов распластываюсь возле Юрки. Я переворачиваю его на бок. Подстриженная под бокс светловолосая голова его беспомощно запрокидывается на снег. Шапки на ней нет. Полузакрытые веки быстро-быстро синеют, и глаза совсем закрываются.

— Юрка! Юрка! — кричу я, бессмысленно ощупывая его тело, так как не вижу раны и не могу понять, куда ему попало. Все во мне дико протестует против этой самой большой беды: нет, нет, он выживет! Возникает надежда, что его только оглушило, контузило.

Но он, видно, не слышит меня, зубы его почему-то судорожно стискиваются, и, не разнимая их, он тихо, на выдохе, говорит:

— Черт… Не удалось…

И затем только хрипит. На губах появляется кровавая пена, он захлебывается ею. Тело его напрягается в моих руках, будто пытаясь повернуться на другой бок. Я пугаюсь, чувствуя, что он кончается, но я бессилен что-либо сделать.

— Юрка! Юрочка, куда тебя? Что тебе?.. — глупо кричу я, все ощупывая его, и только теперь ощущаю на руках кровь. Да, кровь на шинели и на снегу под ним.

Жвик-жвик-жвик! — проносится близкая очередь и тут же: тр-р-рах!

Нас снова накрывает взрывом. Возле моего локтя, зашипев, вонзается в снег горячий осколок. Рыжее глиняное облако стелется по огороду. Это угодили в мазанку, от которой я отбежал сюда. В сознании вспыхивает секундная радость — пронесло! Но только меня, а не его. Его не миновало, и в этом мое несчастье и, пожалуй, моя гибель. Я чувствую, что немцы приближаются, бой с окраины перемещается в центр села. Они взяли нас в огневые клещи, которые сжимаются все теснее. Кругом уже никого не видно, и я не знаю, как спасать Юрку. Но рядом на прежнем месте еще стоит хата, из которой мы только что выскочили. Ой, не вовремя выскочили, с запоздалым сожалением думаю я.

Я закидываю за спину карабин, хватаю Юрку под мышки и тут же падаю вместе с ним в снег. Поднять я его не смогу. Тогда я вцепляюсь в его портупею и, низко склонившись, волоком тащу его к поваленному плетню, назад в хату.

Вжик-вжик-вжик-вжик! Фить-фить!

Это очереди. Они в клочья разносят соломенные крыши, дырявят глиняные стены мазанок. В паузах между разрывами прорывается угрожающе близкий стрекот и лязг гусениц — танки уже на улице.

Задыхаясь, весь в холодном поту, я затаскиваю отяжелевшее Юркино тело в сени. Как и прежде, дверь в хату распахнута. На полу кто-то из раненых. Из угла на меня удивленно оглядывается Катя.

— Э, помогите! — кричу я, так как уже не в состоянии перетащить Юрку через порог.

К тому же я боюсь, что будет поздно. Я злой и жду, что они все кинутся ко мне.

Но кидаться тут некому — людей стало мало. Раненые, наверно, не дожидаясь худшего, разбрелись кто куда. Я вижу только Катю, которая хлопочет возле обгоревшего, и все те же трупы у порога. Да еще немец! Действительно, какой-то несуразный фриц! Он не сбежал и, увидев Юрку, удивляется:

— О, майн гот! Юнг официр!

— Майн гот тебе! — от злобы нелепо кричу я и обращаюсь к Кате: — Сестра! Спасай! Быстрей!

Только Катю торопить не надо. Она уже рядом и быстро расстегивает на Юрке ремень, портупею, шинель. Задыхаясь от изнеможения, я падаю на пол.

— Танки... Танки уже там!..

Катя бросает на меня жесткий ненавидящий взгляд, будто я виноват во всей этой беде.

— Где сержант? Где та сволота? Ты не видел?

Я отрицательно качаю головой. Катя приходит в ярость:

— Сбежал, зараза! Болтун, трепло! Расстреливать таких гадов! Подлец! Теперь погибай из-за него!

До этого недалеко. Дела наши — хуже некуда. Однако расстреливать некого, да и вряд ли этим поможешь. И все же напрасно я отдал автомат. Чем теперь будем отбиваться? Разве что одним карабином. Ну и ну!

Несколько пуль с улицы бьет по стенам. Одна через окно откалывает кусок угла от печи. Нас осыпает глиной. Катя склоняется над Юркой, покрикивает на немца — теперь тот помогает. Я приподнимаю голову Юрки — на висках у него сильно вздуваются вены, он еще жив.

— И на кой черт я с вами связалась! Мало мне в батальоне было! — зло говорит Катя.

— Быстрее! Быстрей, Катя! Он же задыхается... — раздраженно прошу я.

— Погоди ты! А, вот оно что... — говорит Катя.

Она возится под верхней завернутой одеждой Юрки. Там все окровавлено, я не могу смотреть. Сколько я уже видел их, окровавленных, живых и мертвых, своих и немцев, и ничего — смотрел. А тут не могу: это же Юрка.

— Та-ак, — сосредоточенно говорит Катя и, быстро заправив края рубашки поверх гимнастерки, обматывает бинтом грудь.

Я, с трудом сдерживая отчаяние, спрашиваю:

— Он выживет, а? Выживет, Катя?

— А я что — Бог? — кричит в ответ Катя. — Я не Бог тебе.

Она поспешно запихивает в сумку бинты и бросается к окну:

— Где повозки? Где повозки? Где та сволочь болтливая?

Но нет ни сержанта, ни повозок. В этом конце села мы, кажется, остались одни.

Хату сотрясает разрыв. В окно несет пылью и тротиловым смрадом. Катя падает, мы все приникаем к полу. А когда поднимаем головы, видим в двери огромную фигуру в темносерой незастегнутой куртке с меховым воротником, надетой прямо на нижнюю сорочку. В ее разрезе лохматится волосатая грудь.

— Бинта надо! У кого есть бинт?

Человек одной рукой зажимает на шее рану, из которой меж пальцев в рукав и на куртку течет кровь. В другой руке у него автомат. И тут я удивляюсь — это же мой ППС! Вон и медная проволочка на ремне, которую я приспособил когда-то вместо оборванного тренчика.

Но, прежде чем я успеваю что-то сказать, к человеку подскакивает Катя.

— Где взял? Откуда это? — Она резко дергает его за полу куртки. На лице девушки ярость.

Человек сперва не понимает, хлопает глазами то на Катю, то на свою куртку. И тогда я вдруг догадываюсь, что как автомат, так и куртку он взял у сержанта, которого мы ждем.

— Это? — наконец догадывается человек. — Не украл. У убитого взял.

— Где убитый? — кричит, содрогаясь, Катя.

Человек, тоже раздражаясь, в тон ей отвечает:

— А ты что — прокурор? Вон на дороге лежит. Сходи погляди.

Катя, сразу обвяв, уныло опускается на пол. На ее лице — мучительная спазма боли. Не преодолев этой боли, она расслабленными движениями застегивает сумку и упавшим голосом спрашивает:

— Прут танки?

— Прут, сестра. Вам тут не место.

В углу кричит летчик:

— Сейчас же отправляйте нас! Не имеете права. Я к Герою представлен. Я требую…

Катя вскидывает на нас острый, моментально оживший взгляд, в котором уже решение:

— Выносить! Выносить всех! На дорогу! Быстро! Пулей! Живо!

Да, выносить! Но выносить — значит дальше тащить на себе. Только далеко ли утащишь от танков?..

Делать, однако, нечего. Сидя тут, пожалуй, дождемся худшего, и я под мышки поднимаю Юрку. Человек в сержантовой куртке торопливо обматывает бинтом шею и, запихнув за воротник концы, подхватывает Юрку с другого бока. Немец без понуждения услужливо подбегает к Кате. Он уже в чьей-то шинели и похож на

красноармейца, только шапка у него немецкая. Вдвоем они берут летчика.

— Огородами, огородами давай! Дорогой не пройдешь, — командует им мой помощник.

Мы выбираемся во двор, обходим разбитый угол хаты, которая давала нам пристанище, и бежим огородами. Сбоку высокий тын с натянутой поверху колючей проволокой. Мы бежим вдоль тына. Только бегун из меня все же плохой. Катя с немцем вырываются далеко вперед. Хорошо еще, что хата прикрывает нас сзади. И все-таки с улицы нас видят немцы. Не успеваем мы отбежать и сотни метров, как длинная очередь врезается в крышу этого строения. Наверху вдребезги разлетается труба, и осколки ее градом сыплются во все стороны. В воздухе летает солома и снег. Мимо наших голов проносятся пули.

— Дают, сволочи! — зло оглядывается боец. — Не война, а расправа. Я было кидался, кидался с тем одноногим. Человек двадцать задержали, да вот напоролись...

Я в каком-то душевном онемении. Мысли перепутались. Запальчивая горячность не позволяет сообразить, как действовать лучше. Я только чувствую, что погибает Юрка, что я не спасу его, не успею. Меня не перестает пугать его хрип. Изо рта у него сочится кровянистая пена, и мне кажется, что он вот-вот задохнется. Я то и дело сдерживаю шаг и неловко подхватываю его за голову, которая откидывается вниз. Юрка то стонет, то вдруг умолкает, и мне тогда кажется: конец! Нога моя окоченела и сильно болит в мокрых бинтах. Но я безжалостен к ней — я наступаю через боль, которая до бедра распирает ногу. Теперь не до боли! Надо быстрее, иначе смерть всем.

В конце тына мы продираемся через жесткие, как проволока, заросли вишенника на меже. Новая очередь укладывает нас в бурьян. Как только она идет стороной, мой помощник вскакивает и отстраняет меня от Юрки:

— Постой! Давай я!

Длинный, рукастый и, видимо, очень сильный, он одним махом взваливает на спину Юрку. Пригнувшись, широким шагом спешит по снегу. Я оглядываюсь — все танки уже вползли в село. На косогоре по ту сторону пусто. Скоро они будут тут.

— А ну быстрей!

Обеими руками опираясь на карабин, я бегу за человеком. Теперь немного легче. Если бы не нога...

— Вот холера! — говорит он, неуклюже оборачиваясь ко мне под ношей. — Выскочил без гимнастерки. С ней все документы накрылись. И надоумил же дьявол заночевать в крайней хате!

«Заночевали! — механически повторяю я, так как другого ничего и не слышу. Другое не доходит до моего сознания. — Заночевали. И проспали — проворонили все на свете…»

— А вы кто? — спрашиваю я сзади.

— Я? Да старшина из ДОПа. Евсюков. Не слышали разве? — говорит он, широко шагая по снегу.

Кто его знает, может, и слышал. Действительно, в ДОПе — не в батальоне, там даже сержанты известны по всей дивизии. Только теперь я уже не припомню. Теперь это уже не важно. Я отбрасываю в сторону жердь, которая мешает ему, и мы перелезаем в соседний огород. Впереди бегут Катя с немцем.

— Ничего! — успокаивает меня или, может, самого себя старшина. — Сдержат! Должны сдержать! Иначе что же за безобразие такое!

Да, безобразие, несчастье, позор! Ну и село! Ну и утро!

Вдруг мы слышим: Катя с немцем что-то кричат нам, а сами сворачивают меж хат к улице. Я приостанавливаюсь и слухом улавливаю, как где-то невдалеке за хатами дребезжит повозка. В грохоте разрывов мы не сразу услышали ее и, наверно, опоздали. Старшина пускается бегом, я опять отстаю. Вскоре, однако, мы пересекаем заброшенный соломой двор и выскакиваем на улицу. По середине ее прямо на нас бешено мчит нагруженная с верхом повозка.

Глава восемнадцатая

— Стой! Стой! — кричу я отчаянно и зло, сознавая, что это — последняя наша возможность спастись. Другой уже не будет.

— Стой! — ревет Евсюков. На мои руки он сваливает Юрку и бросается прямо под коней.

Но пара рыжих, видно, напуганных не меньше людей, проносится мимо. Из-под копыт в лицо мне летят крошки снега. На подводе целая гора каких-то тряпичных тюков, на которых, как на возу с сеном, — боец. Второй на передке яростно стегает коней.

— Стой! Хусаинов, стой!

Старшина после секундной остановки бросается вдогонку. Повозка, свернув на обочину, останавливается. К ней уже бегут Катя с немцем, им ближе. Я волоку под мышки Юрку. Он все еще в забытьи и, наверно, оттого непомерно тяжелый. Ноги мои вязнут в мягком, будто песок, перетертом колесами снегу — хоть бы успеть! Сзади нас прикрывает поворот у хаты, где мы ночью наскочили на придирчивого капитана. Танки нас здесь не видят.

Тр-рах! Тр-рах! Тив-в… Бах!

Это все еще там — за поворотом, откуда, на наше счастье, выскочила эта повозка. Хорошо, что в ней какой-то знакомый

старшины. Но, кажется, мы все в ней не поместимся. Разве положим Юрку. Старшина подбегает к повозке и хватается за веревку, которой перевязан груз.

— Скидай тряпье! Сгружай все! Быстро! — кричит он тому, что на самой макушке воза.

Но тот вроде не спешит разгружаться. Он еще ниже втискивается в тюки и толкает ездового.

— Пашел! Нельзя скидай! Не разрешал!

— Хусаинов, ты что, очумел? Вон раненые! — кричит старшина и срывает с воза веревку.

Два тюка с угла тяжело падают на дорогу. Несколько их скидывает старшина. Боец на повозке вскакивает во весь рост.

— Нельзя! Я отвечал! Я расписка давал!

Он сверху ногой толкает в грудь старшину. Тот хватает его за валенок и с силой рвет вниз.

— Дурак! Прочь отсюда!

Хусаинов, неуклюже выгнувшись, падает с воза задом на снег. Старшина в мгновение вскакивает на повозку и начинает отчаянно скидывать все на землю.

— К чертовой матери! А ну помогай! Быстро! — командует он ездовому, который в испуге едва сдерживает коней.

Я волоку Юрку и со все возрастающей надеждой думаю: авось успеем! Успеем. Возле повозки уже Катя с немцем. Они подтаскивают туда обгоревшего и, усадив его на снегу, также начинают кидать с повозки тяжелые тюки. Теперь мне видно: это — телогрейки, должно быть, с какого-то склада ОВС.

Хусаинов тем временем поднимается с дороги. Что-то невнятно прокричав, хватается за карабин, который торчит у него за спиной. Он снимает его через голову и отскакивает на шаг. В тот же момент раздается выстрел. Схватившись за руку ниже локтя, старшина на возу приседает и недоуменно выпрямляется. На его пальцах кровь.

— Ах ты, гад! — после секундной растерянности вызверивается он на Хусайнова. — Ты так? Так, сволочь?!

— Стойте! Постойте! Что вы делаете! — кричу я.

К Хусайнову прямо на его винтовку кидается Катя. Но он уклоняется.

— Стрелял вас буду! Убивал буду. Я расписка давал. Приказ бирал! — разъяренно кричит Хусаинов, снова клацая затвором.

Старшина все же опережает его и, дернув рукоятку автомата, прямо с груди бьет короткой, в три пули, очередью. Хусаинов взмахивает рукой, будто пробуя заслониться, и ноги его подкашиваются.

— Дурень! Идиот! — кричит на подводе старшина.

Я опускаю Юрку на снег — Бог ты мой, что это делается! Что творится, зачем это? Но мое недоумение тут же обрывается, сзади и совсем близко рвется снаряд. Тр-р-рах! Пыльные куски глины градом осыпают дорогу. Одним углом оседает в снег мазанка на повороте. Но это не мина — это уже танки. Они на подходе. Скоро влупят и нам.

Взрыв нас отрезвляет. Я подхватываю Юрку. От подводы ко мне бегут Катя с немцем — спасибо им обоим. На лице у Кати гнев и решимость. Волосы выбились из-под шапки, полушубок расстегнут.

Немец, неподвижно-напряженный и молчаливый, кажется, весь собран в слух. Будто его внимание не тут, а где-то далеко, возможно, там, где гремит бой. Вслушивается, ждет своих, что ли? Только теперь черт с ним, теперь бы скорее.

— Быстрее! — кричит с повозки старшина.

В ней почти уже пусто, на дне лежит обгоревший. Сбоку на дороге разбросанные связки стеганок. Мы укладываем на повозку Юрку. Следом в угол забиваюсь я. Катя вскакивает уже на ходу. Ездовой безжалостно стегает коней. Повозка вздрагивает, я едва удерживаюсь в ней и оглядываюсь — из-за поворота пока никого не видно. Неужели вырвемся?

И вдруг впереди огонь, треск и грохот. Туча земли со снегом взлетает к небу, и мы с ходу вскакиваем в это мрачное пекло дыма, земли и снега. Кони шарахаются в сторону, повозка клонится набок. Чтобы не вывалиться, я обеими руками цепляюсь за ее борт. Рядом в отчаянии ругается Катя:

— В сторону! Сворачивай в сторону!.. Раззява!..

Ездовой, едва не угодив с лошадьми в глубокую воронку на улице, кое-как объезжает ее. Кажется, пронесло. Повозка выпрямляется, кони рвут в галоп. Но тут же под колесами треск — что-то ломается. Это мы наскакиваем посреди дороги на разбитую пустую телегу. В оглоблях бьется на снегу конь, под его брюхом — лужа крови. Поодаль у плетня распласталась неподвижная солдатская фигура в задранной измятой шинели.

Я хватаюсь за Юрку, оглядываю своих. Кажется, обошлось — все целы. Только старшины почему-то здесь нет. Он сзади. Вместе с немцем, ухватившись за перекладину, вприпрыжку бежит за повозкой. С его пальцев на полы моей шинели течет кровь.

Сквозь взрывы и густое тивканье пуль мы прорываемся на околицу. Дальше, за гатью, — широкая балка-лощина. Снег истоптан множеством ног людей и коней, изрыт колесами повозок, машин. Все из этого села устремились туда. Мы, наверно, последние. На гати низко осел брошенный ЗИС с раскрытыми дверцами.

Повозка наша сворачивает в балку. Тряска становится сильнее. Я хватаюсь за борта обеими руками.

— Ой! Ой! Стойте! Не могу. Что же это делается! — кричит закутанный в полушубок летчик.

Катя молча придерживает его забинтованную голову, чтоб не билась о доски передка. Позади потные лица немца и старшины. Евсюков все еще не может успокоиться от своей стычки на улице и остервенело ругается:

— Дурак набитый! Обормот! За расписку — пулю. За кучу вшивого тряпья. Вот гад! Остолоп! Лучше б уж разгильдяй, да с головой чтоб!..

В самом деле, это ужасно: свой — своего! И за что? Хорошо еще, что попал в руку. Рана у старшины, кажется, не опасная, крови он теряет немного.

По балке везде бойцы. Бегут в одиночку и группами. Конных уже не видно. Далеко впереди скрываются за поворотом повозки. Некоторых пеших мы уже и обгоняем. Теперь мы — не самые последние. Появляется надежда — а вдруг вырвемся!

Я прижимаюсь к Юрке. Шинелка на нем окровавлена, наверно, сдвинулась повязка. Он по-прежнему молчит, сжав зубы. Эх, Юрка! Держись, брат, крепись, перетерпи, молю я мысленно, сам едва удерживаясь за борта повозки. И в такой вот момент над нашими головами размашистый сверк молнии. Невольно мы пригибаемся — далеко впереди взлетает вверх столб снежной пыли. Это болванка.

Все, как по команде, мы оглядываемся. Так и есть — они уже вышли на окраину. На гать возле ЗИСа из-за крайних хат их выползает около десятка. Некоторые останавливаются, сверкают огненной вспышкой с дымом и опять направляются по балке вслед за бегущими.

Тр-рах! Трах! — рвет сзади и сбоку. Над нами в воздухе еще проносится снаряд. Его прерывистое фырканье укладывает нас в повозку. Впереди на склоне балки вырастает красивый клубчато-пушистый разрыв. Сзади в снежном просторе густо рассыпается пулеметная трескотня.

— Гони! — кричит Катя. — Гони ты, растяпа!

Ездовой приподнимается на передке и из-за плеча кнутом лупит коней. Те все в мыле и мчатся так, что, кажется, разнесут повозку. Мы нагоняем нескольких бойцов в расстегнутых шинелях, без ремней. Один, молодой, без шапки, с круглой, под нулевку остриженной головой, на ходу пробует вцепиться в подводу. Старшина гонит его:

— Куда? Куда прешь?! Тут раненые.

Парень с отчаянием в глазах сворачивает и какое-то время трусит рядом. Я жду нового взрыва. В самом деле, сколько так можно проехать на прицеле у танков? Хоть бы они не останавливались — с ходу все же труднее попасть. Но ведь нагонят. Черт побери — где же выход?

Да, скверно! «Гони, браток, гони!» — мысленно прошу я ездового. Впрочем, он и без того гонит изо всей силы. Только надолго ли? Впереди, кажется, поворот, вот бы успеть до него.

А пулеметная трескотня все ближе.

Тут уже много бойцов — молчаливые, раскрасневшиеся, со страхом в расширенных глазах. Ими никто не командует. Это тылы — обозники, кладовщики, ездовые, техники... Многим такая горячка, видно, в диковинку, к огню они не привыкли. Я знаю: единственное, что теперь правит их чувствами, — это власть страха. Средство к спасению у них теперь одно — ноги. Только средство это не самое надежное. Скорее наоборот.

Старшина дико ругается:

— Стойте, растакую вашу неладную! Куда прете! Раздушат, расстреляют, как зайцев. Стойте! Остановитесь!

Люди оглядываются на крик, только никто не останавливается. Незнакомый человек в куртке для них не начальство. Тем временем над самой повозкой снова фыркает снаряд. В полусотне шагов впереди грохочет разрыв. Кони вскакивают дыбом и кидаются в сторону. Нас обдает снегом. Повозка едва не переворачивается. Кажется, она вот-вот опрокинется на косогоре. Каким-то чудом мы минуем занесенную снегом рытвину.

И вдруг совсем рядом на склоне я вижу знакомую фигуру в полушубке и черной кубанке. Одна рука у него под полой: наверное, ранена. Пустой рукав болтается на ветру. Это Сахно. Капитан оглядывается, на его чернявом потном лице растерянность. Ко лбу прилипла черная прядь волос, рот широко раскрыт от усталости.

— Эй, ребята! Постой!

— Придержи! — бросает ездовому Катя.

Кони замедляют бег. Капитан обессиленно подбегает к повозке, хватается рукой за борт и, придерживая на голове кубанку, неловко вваливается в повозку. У меня все омрачается внутри: зачем он тут?

Ездовой гонит коней. Повозку сильно подбрасывает на присыпанных снегом кочках. Где-то сзади рвутся подряд два снаряда. Старшина ругается:

— Что только делается, а? И где начальство? Проспали, проворонили весь Кировоград!

Сахно на повозке медленно приходит в себя, то и дело начинает оглядываться. Но молчит.

Старшина злится все больше:

— Разведка, хрен ей в глаза! Шнапсу, конечно, надулась! На радостях! Еще бы: ударили, прорвались, пошли без оглядки! Давай наградные писать. Ясное дело, лишь бы на передовой все по графику. А тут что делается — наплевать!

Сахно вдруг круто оглядывается. Впервые в его ястребиных глазах вспыхивает строгость. Недобрым, злым взглядом он окидывает старшину, но тот сознательно этого не замечает. Кажется, старшина может сказать и больше, и не только такому начальнику, как этот капитан. Он производит впечатление человека сильного во всех отношениях.

Тряска тем временем становится невыносимой. Кажется, разнесет повозку. Обожженный под полушубком кричит:

— Сестра! Не могу я! Стойте! Остановите коней!.. Я не могу...

С передка в злой несдержанности оборачивается Катя:

— Замолчи! Замолчи сейчас же! Что ты кричишь! Не можешь — слезай к черту!

— Болит! Болит же, у-у-у-у-у...

— Терпи!

Мы взлетаем на бугорок. За ним спуск, там нас уже не достать. Ну еще минутку, полминутки... От напряжения я впиваюсь зубами в губу, будто так легче. Еще немножко... И тут...

Тр-р-рах! И-у-у-у-у-у...

Что это?.. Откуда?.. — ошеломляет меня недоумение. Повозка взлетает передком вверх, перекашивается. Какая-то сила подхватывает меня в воздух и больно швыряет головой в снег. Рядом, возле плеча, пропахав в снегу борозду, вдруг останавливается расколотый угол повозки.

Я тут же подхватываюсь и на руках и коленях отскакиваю в сторону. Повозка опрокинута набок. Кто-то отчаянно матерится. Катя поднимает со снега летчика. Один конь, упав на передние ноги, бьется головой о снег. Второй дергает повозку. Его хватает за уздечку старшина.

Но я, кажется, цел и, вскочив, бросаюсь к обернутой набок повозке. Юрка чудом держится в перекошенном кузове. Меня опережает немец. Плечом он сильно поддает снизу и ставит повозку на колеса. Впереди крик Сахно:

— Режь постромки! Постромки!

Старшина хватается за постромки, а Сахно заваливается в повозку. Немец уже суетится возле Кати. Вдвоем они через борт втаскивают в кузов летчика. На снегу сбоку лежит ездовой. Голова у него... Впрочем, головы нет. Лучше туда не глядеть.

Старшина чем-то перерезает пару толстых постромок и хлещет коня. Последнего нашего коня, который обессиленно дергает

повозку. Второй остается сзади и гребет ногами по снегу. Ему уже не подняться.

— Быстрее! Быстрей!

Я не знаю, это кричит кто-нибудь или, может, это вопль моей души. Я только каждой частицей тела чувствую, что надо торопиться. Вот-вот снова ударят танки, они уже настигают нас. Над балкой гул и лязг. Гремят выстрелы, танковые пулеметы захлебываются в огневой ярости. Кругом крик и ругань. К повозке подбегает какой-то сержант в гимнастерке, без шинели. Его грудь с орденом Славы густо залита кровью. Он удушливо хрипит и молча переваливается в кузов. Я едва успеваю отодвинуть Юрку.

Наконец мы за пригорком. Тут уже нас не достанут. Впереди в балке, в полукилометре отсюда, село. Заснеженные мазанки, плетни, утренние дымки из труб и — дорога. Бегущих тут уже больше. Наверно, полагая, что в селе спасение, они мчатся туда изо всех сил. Но я замечаю, что в селе пусто. Организованной обороны тут нет. Тут вообще уже никого не осталось. Видно, поддавшись панике, драпанули и здешние подразделения. А дорога — вот она, отличное шоссе, ведущее на Кировоград. Займут, перережут — быть тогда и еще большей беде.

Все время боком, рискуя перевернуться, повозка катится по снегу. К нам бегут люди. Кто-то еще заваливается в кузов, несколько раненых цепляются за борта. Пожилой боец в разорванной шинели, устало труся рядом, глухо и молча плачет без слез. Его щетинистый подбородок судорожно дергается сверху вниз. Старшина не переставая лупит коня. Мы минуем группу, несколько одиночек и еще, видно, человек десять. И тогда Сахно решительно соскакивает на снег.

— А ну, стой! Стой! — кричит он на бойцов и выхватывает из кобуры пистолет. — Назад! Пристрелю всех как изменников! Назад!

Бросив вожжи Кате, соскакивает с подводы и старшина. Он также начинает кричать «Стой!» и кого-то догоняет. В шею толкает его к капитану. Сахно направляется в другую сторону. Вдали по склону пригорка бегут несколько человек, и он, не целясь, стреляет туда из пистолета. Беглецы сначала останавливаются, потом, разбредясь, идут вниз. Около старшины набирается десятка полтора случайных людей.

— На бугор! Марш на бугор! — кричит Сахно и выбрасывает в поле руку.

От группы отделяется старшина:

— Братва, а ну бегом! У кого гранаты — ко мне! Покажем им кузькину мать!

Усталые, они не очень решительно бегут назад на пригорок. Сахно еще кого-то останавливает и гонит за всеми. Кого-то бьет

рукояткой по шее. Что ж, может, так и надо. Надеяться теперь не на кого, никто тут нас не защитит. Разве что сами себя.

В какой-то неопределенной решимости я также соскакиваю с повозки. Соскакиваю и приседаю на одну ногу (поспешил все же!). Ну, черт с ним! Погибать, так на поле боя. На мое место сразу кто-то влезает.

Я ковыляю в степь. Сзади, отдаляясь, стучит повозка, только я не оглядываюсь. Я знаю — нам уже больше не встретиться.

Уже немало пройдя по свежим следам, я бросаю короткий взгляд назад. Вблизи никого. Далеко внизу повозка въезжает в село. Но где же Сахно?

Капитана нигде не видно. Впереди его нет, а сзади... А сзади на повозке чернеет знакомая кубанка.

Между тем небольшая группа со старшиной во главе быстро разворачивается в цепь. Давясь обидой, я достаю из-за спины карабин и выхожу на пригорок.

Глава девятнадцатая

Однако довольно.

Нам приносят ужин и обед — на сегодня все сразу. Немолодая полнолицая официантка в наколке ставит две тарелки с бифштексом и по селедке с луком. Наблюдая за быстрыми движениями ее ловких рук, я думаю, что так можно сойти с ума. Вспоминать все это не намного легче, чем когда-то было переживать. Все муки повторяются почти с прежней силой. Впрочем, оно и понятно: слишком много душевных и физических сил все это мне стоило.

Мой сосед оживляется. Откладывает газету и, довольный, придвигается к столу. Перво-наперво берет пузатый графинчик и наливает две рюмки.

— Ну что ж! Глотнем. Кстати, я не знаю, как вас величать, — говорит он, задерживая поднятую рюмку.

Я рассеянно беру свою.

— Василевич.

— Василевич? Белорусская фамилия. А я Горбатюк. Павел Иванович.

Исподлобья я вглядываюсь в его лицо. Нет, черт возьми, для Сахно он ведет себя чересчур уверенно. Пожалуй, там, в гостинице, мне померещилось все это, и я едва не наделал глупостей.

Он бросает на меня короткий, почти приятельский взгляд:

— Ну, будем здоровы!

И со сдержанным наслаждением выпивает. Хакнув, берется за вилку. Я сижу со своей рюмкой в руке. Чтоб выпить за здоровье, надо его иметь, иначе это пустой и формальный тост. У меня есть

другой. Я буду пить не «за». Я выпью «против». Против того, что меня привело сюда. Чтобы больше оно мне не мерещилось.

Мы принимаемся за еду. Я перетерпел и без особой охоты выбираю с тарелки лук. Внимание мое переключается на соседей, что за спиной Горбатюка (если только он Горбатюк). За двумя сдвинутыми столами четверо парней и три девушки пьют шампанское.

Одна, что сидит напротив в конце стола, — маленькая, вся в черном, миловидная брюнетка, — кажется, само оживление. Там она центр внимания. Глаза ее так и горят восторгом. К ней обращены обожающие взгляды парней. Да и блондинок тоже.

— Вы воевали? — ни с того ни с сего прямо в лоб спрашиваю я Горбатюка.

Тот с достоинством выпрямляется на стуле:

— А как же. Всю войну. На Западном, а потом на Втором Белорусском.

— А на Втором Украинском не были?

— Украинском? Нет, не был. На Украине, к сожалению, не пришлось. Больше в Белоруссии. В Польше. Берлин брал. Вот где была баталия!

Он энергично и с аппетитом работает сильными квадратными челюстями. И снова то же спокойствие с нотками горделивости в тоне — брал Берлин! Нет, пожалуй, я круглый дурак. Идиот! Едва не устроил скандал. И все потому, что двадцать лет держу в памяти каждую мелочь из моего не столь уж богатого военного прошлого. Не лучше ли махнуть на все и забыть? Как это сделали многие другие.

Если бы только это было возможно!..

Горбатюк тем временем отодвигает пустую тарелку и снова поднимает графинчик.

— Ну так что? По второй? За Победу.

Припомнил! После своего дорогого здоровья он пьет за Победу. Ничего себе ветеран! На этот раз он протягивает руку, и мы чокаемся. Горбатюк сразу опрокидывает рюмку. Я нерешительно держу свою двумя пальцами. За соседним столом, лукаво улыбаясь глазами, пригубливает бокал чернушка. Ее компания за столом взрывается хохотом.

— Эрна, восхитительно!

— Два — ноль в пользу Эрны!

— Любушка, твою лапушку!

Плечистый блондин в серой, с карманами на груди рубашке склоняется над ее рукой. Горбатюк оглядывается и со значением кивает головой:

— Тунеядцы белорусские?

Я не отвечаю. Посуда на столе сверкает россыпью ресторанных огней. Рядом возле своего столика в простенке хлопочет официантка. В зале — приглушенный гул. Хорошо еще, что вокзальные рестораны обходятся пока без оркестра. Иначе раскололась бы голова.

Тем временем Горбатюк берется за нож и вилку.

— Вы офицер? — спрашиваю я.

— Гвардии майор запаса.

Отрезав кусок бифштекса, он посылает его в рот. Майор? Может быть. Конечно, после капитана следует майор. Если действительно не Сахно, то, видно, какой-нибудь командир батальона. А может, политработник? Или помпотех. Если, скажем, служил в танковых войсках. Если танкист — я ему признаюсь во всем и попрошу извинения. Перед танкистом я сниму шапку.

В графинчике колюче блестят, сходятся и разбегаются огоньки-искры. Потеют выпуклые стенки фужеров. Радужная подковка нежно лежит на белом полотне скатерти…

Глава двадцатая

Ну вон и танки. На суженных интервалах, выстроившись все в ряд, они ползут по широкой балке-лощине. Правда, ползут осторожно, видно, не стараясь давить бойцов гусеницами — они их уничтожают огнем. Глубинный, металлический гул, все усиливаясь, плывет над землей.

На фланг я уже не бегу. Пригнувшись, вхожу в цепь, где она несколько реже, и падаю в снег. Снег тут неглубокий и рыхлый, повсюду торчат серые стебли бурьяна. Справа от меня шевелится кто-то в полушубке. Возможно, какой-нибудь командир. Только он не командует. Теперь он, как и все, рядовой в цепи старшины Евсюкова. С другой стороны от меня торопливо устраивается на снегу длинноногий боец в короткой шинелке.

Над заснеженной морозной степью сквозь дымку просвечивает невысокое зимнее солнце.

— Огонь! Какого черта лежать! Огонь!

Это в цепи встает на коленях старшина. Его темная десантная куртка резко выделяется на свежем снегу.

Да, конечно, нужен огонь. Иначе чем мы можем сдержать эти танки? Вот только что мы им сделаем нашим огнем? Если бы хоть парочку ПТР. Да чтоб гранаты…

Из цепи редко и недружно начинают бахать винтовки. Кто-то пускает длинную очередь из автомата. Танки, наверно, пока нас не видят. Я лежу в каком-то оцепенении, вобрав руки в мокрые рукава шинели. Мерзнут пальцы. До самого колена горит, ноет нога. В

карабине всего пять патронов, и я выпущу их, когда танки подойдут ближе. Чтобы попасть хоть в какой-нибудь триплекс.

Танки приближаются с каждой минутой. В балке тяжелый моторный гул, приглушенный лязг гусениц. Беглецов перед ними уже не видно — живые все за пригорком. На широком пологом склоне, истоптанном сотнею ног, несколько трупов, разбитая повозка, а чуть ближе — наш издохший конь. И вдруг кто-то там оживает и начинает ползти. Изнеможенно волочит по снегу, видно, перебитые ноги. Сразу же на лобовой броне переднего танка вспыхивает огненный сверк, и человек навсегда вытягивается на снегу.

— Огонь! Огонь, черт бы вас побрал!.. — кричит Евсюков.

Я кладу на ладонь карабин и прицеливаюсь. Приклад туго отдает в плечо, и мне жалко напрасно истраченного патрона. Скоро он мне ой как понадобится. Неторопливо начинаю целиться снова. И тут рядом рвется снаряд. Взгляд теряет цель, меня обдает тротиловым смрадом и снегом. На взрыв я не оглядываюсь — я только чувствую: ну вот и увидели! Теперь держись! Теперь дадут жару.

Но что это? Сбоку на снегу через балку, будто стремительно натягиваясь и обрываясь, нет-нет да и сверкнет красноватая нить. Раз, второй. И над танком на косогоре появляется дымок. Я кидаю взгляд на соседа в полушубке. Так и есть — это он бьет трассирующими. Только почему дым? Неужели поджег?

Тр-р-рах! Тр-р-рах!

Рвет с недолетом, перед цепью. На несколько секунд танки пропадают за снежно-земляной тучей разрывов. Я утыкаюсь лицом в землю. Вокруг шаркают комья, и, когда ветер сгоняет с воронок дым, впереди открывается чудо: один танк горит.

Просто не верится, но так. Танкисты из него уже повыскакивали. В борту и в башне раскрыты люки, корма его вся в огне. Два ближних к нему танка останавливаются. Бугор отзывается трескучей огневой яростью.

— По бочкам огонь! По бочкам! — сквозь гул и грохот прорывается издалека крик Евсюкова.

И только тут я понимаю: на танках — бочки с горючим. Потому и такая удача.

Я торопливо прицеливаюсь в ближний к нам танк, который медленно поворачивает свою широкую грудь в сторону нашего пригорка. Кажется, у него на борту что-то торчит. Бочки или что-то другое — отсюда не рассмотришь. И я быстро стреляю сбоку, пока это «что-то» еще не закрыла башня. Только знака от моего выстрела никакого — ни огня, ни дыма. А рядом посверкивают трассирующие соседа.

Задний уже горит густым пламенем. Красные космы огня шугают на ветру, и черный хвост дыма размашисто стелется над степью. Остальные его оставили, обошли и торопливо разворачиваются на нас. Воздух над цепью туго пронизывают их густые малоприцельные очереди.

«Нет, это вам не в балке! Это вам не в балке!» — кричит во мне злой мстительный голос. Недавнее уныние исчезает. Я уже готов драться. Я даже хочу, чтобы они скорее подошли ближе. Странное, непонятное желание! Но все равно хочу. Меня распирает азарт боя и жажда отмщения. И, видно, только потому, что горит их подожженный пулей танк. Остальные одиннадцать двигаются ближе. Вскоре нам будет туго.

Но пусть!

Цепь отвечает нестройным залпом, беспорядочно грохочет выстрелами. Торопливо бьет трассирующими сосед. Я присматриваюсь к его винтовке — кажется, она трофейная, как и мой карабин. И сразу же возникает решение. Я подхватываюсь со своего места и бросаюсь в снег. Сзади близко рвется снаряд. Земля подо мной упруго вздрагивает, осколки с визгом распарывают небо. Я подползаю к человеку в полушубке.

— Как бы патрончиков? Хоть обоймочку, а?

Человек, не реагируя на мое появление, сосредоточенно целится и стреляет. Потом судорожно хватается за рукоятку затвора. Он уже немолодой, с седыми висками. Под белым воротником полушубка виден красный кант кителя — значит, командир.

— Нет патронов! Нет патронов! — хрипит он прокуренным шепелявым голосом, который мне кажется знакомым. Да это же тот капитан, который ночью в селе разгружал «студебекеры». Вот тебе и ДОП! Не послушал тогда, а теперь приперло. Из его оттопыренного кармана торчат цветные головки патронов. Но вот не дает.

— Хоть одну обойму! — раздраженно прошу я.

Капитан отрывается от карабина:

— Катись отсюда! И не демаскируй!

Он коротко поглядывает на меня, и я впервые вижу его растерянное лицо, бегающие глаза, раскрытый рот — он явно боится. Но как же он тогда подбил танк? Боясь? Наперекор страху? Впрочем, и я, пожалуй, такой же, только не вижу себя! Все мы тут не в лучшем виде, и ничего удивительного. Выругавшись с досады, я по снегу бросаюсь от него на свое место. Но не проползаю и половины пути, как сзади в неистовом грохоте разверзается земля, меня совершенно оглушает. Одновременно что-то сильно бьет по бедру и по шее. И все же я смутно чувствую: это не осколок, это — комья. Крутнувшись на снегу, сразу же оглядываюсь — вдогонку

шугает тугой клуб дыма. Секунд пять капитана не видно, затем в дымном месиве на земле начинает обозначаться воронка. Одна пустая, свежая, пыльная воронка, и больше ничего и никого. Я круто поворачиваюсь и, разгребая руками снег, почти обрадованно бросаюсь к ней. Теперь там укрытие, а возможно, и спасение: второй раз в одно место снаряды не падают.

Мягкая и теплая воронка скрывает меня от огня. Правда, здесь сильно воняет тротилом и неглубоко, не больше чем на одного человека. Но пулям тут меня не достать. Капитана нигде нет. Даже странно! Только под боком что-то твердое, я шарю рукой и вытаскиваю закоптелый приклад карабина с обрывком ремня. И все. Выбрасываю обломок в снег и невдалеке вижу нечто бессмысленное. Это помятый, вывернутый шерстью наружу полушубок с обрывками ремня и портупеи. И возле него еще что-то сизо-парное, залитое кровью. Кровь и рядом, на перемешанном с землей снегу. Эх, капитан, капитан!.. Но мысль о патронах придает мне неожиданной прыти. Оглянувшись, я выскакиваю из воронки и ползу к окровавленным останкам человека, от которых на морозе клубится легкий парок. Подавив брезгливость, лихорадочно разгребаю клочья одежды. В дырявом кармане нахожу две обоймы бронебойно-зажигательных патронов. Одна, правда, уже начата, но Бог с ней. Рядом, в рукаве полушубка, коченеет на снегу полуоторванная капитанова рука. Воскового цвета пальцы медленно растопыриваются и замирают. Я хватаю патроны и бросаюсь в воронку.

«Ну, гады, теперь идите! Теперь мы продырявим ваши бочки!» — думаю я, запихивая в магазин патроны. Тем более что танки уже гораздо ближе. Теперь можно выбирать, куда целиться.

Только почему-то они не идут. Они становятся в ряд, метрах в четырехстах от цепи, и направляют на бугор пушки. Я удобнее устраиваюсь на краю воронки и не успеваю еще сообразить, как быть дальше, как бугор во всю глубину сотрясается от нескольких взрывов. Высоко над головой фыркают осколки. По ветру несет сернистой гарью тротила. Я прижимаюсь к мягкому, утыканному осколками боку воронки, втягиваю в плечи голову. Танки начинают беглый огонь из орудий.

Тр-рах! Тр-р-р-р-рах! Трах-рах!

Ого, сволочи, вот это дают! Бугор заволакивает пылью, в воздухе сумеречный туман от разрывов. Снежный покров быстро темнеет от множества оспин-воронок. Я вижу, как на том фланге кто-то перебегает. Но не поймешь куда — назад или в воронку. Теперь тем, кто на поверхности, — гибель.

Выждав минуту, я начинаю стрелять. Правда, пользы от этого никакой. Впереди только сверкнет короткая молния — и все. Куда

попадают пули, и не поймешь. На танках если и есть бочки, то они уже все прикрыты башнями. Теперь их не возьмешь — это не с борта. Бить же по броне — мало толку.

И тут совсем рядом — разрыв. Меня снова оглушает, будто ватой затыкает уши. Сверху сыплется пыль. Ну и ну! Полой шинели я прикрываю карабин и сжимаюсь в воронке. Рвет еще и еще. При каждом разрыве тело невольно и до боли сжимается. Нутро мое то и дело содрогается, кажется, вбирая в себя болезненные толчки земли. Но надо поглядеть, где танки. Оказывается, они не спешат. После первого дружного напора их стрельба становится реже. Разрывы тоже редеют. Теперь они бьют прицельным огнем. Сволочи! Что делают! Выстрел — разрыв, и одного бойца в нашей цепи нет. Потом разрыв на месте другого. Вот это тактика! Такой я еще не видел. Они выбивают нас по одному. На местах бойцов в цепи — ряд черных воронок. Так нас ненадолго и хватит.

Хоть бы повезло попасть в триплекс! Ослепить какой-нибудь танк! Я снова прикладываюсь и торопливо стреляю в колпак перископа, что едва угадывается на плоской верхушке башни. Только не попадешь — далеко. Хватаюсь за рукоятку, чтобы перезарядить, как вдруг по лицу размашисто хлещет что-то, залепляет глаза, рот… Утеревшись рукавом, вижу: в двух шагах впереди торчит из снега снаряд. Рванет! Я сжимаюсь в воронке, обхватив голову, но тут же догадываюсь: не рванет, это болванка. Они уже бьют по нас и болванками!

Выругавшись, осторожно высовываюсь из воронки. Нетрудно догадаться, какой из танков выпустил по мне болванку. Он вон, неподалеку от того, что догорает сзади. Отсюда хорошо виден черный зрачок его пушки. Он смотрит в меня. Значит, выстрелит еще. Хотя бы не осколочным! Я прицеливаюсь в этот зрачок, думается: а вдруг попаду в кого-нибудь через пушку. Может же так случиться, когда перезаряжают орудие и открыт затвор. Конечно, это маловероятно, но чем черт не шутит. Старательно целюсь, теперь я не имею права промахнуться. Однако еще не успеваю нажать на спуск, как сзади, тяжело дыша, кто-то вваливается в воронку. Выстрел получается преждевременный, и я чувствую: не попал.

Я поджимаю ногу и оглядываюсь. В воронке молодой боец. Он с испачканным землею лицом и в каске, которая сползла ему на глаза. Один рукав его шинели порван и залит кровью. Я думаю, парень попросит перевязать.

— Фу, добежал! — запыхавшись, говорит он, взглянув на мои погоны. — Мне бы вот связать чем.

Из-за пазухи на полу шинели он выкладывает несколько гранат. Это «лимонки». Я гляжу на них и не понимаю, зачем их

связывать? Обычно связывают РГД, когда бросают под танки, а «лимонки»?.. Всего три, да и те неизвестно, как скрепить вместе.

— Я бы сам, да вот!.. — шевелит он окровавленной левой рукой. — Одной не управлюсь.

— А кинешь? — недоверчиво спрашиваю я.

Парень поднимает на меня свои озабоченные глаза:

— Кину. Правая же вот! Пусть подойдут.

Действительно, может, стоит попробовать. Только чем их связать?

— А если обмоткой? — подсказывает парень.

— Давай.

Мы быстро раскручиваем на его ноге зеленую заскорузлую обмотку. Отложив карабин, я связываю ею все три гранаты. Гранаты черные с зелеными взрывателями. На планке одной из них выцарапано чем-то острым: «М. Коваль».

Рядом снова грохот, на голову сыплется снег. Я торопливо поглядываю на цепь — видно, скоро тут уже никого и не останется. Вот тогда они, ясное дело, и пойдут. А так зачем рисковать?

— А вы, наверно, снайпер? — говорит парень и кивает головой на танки. — Ловко его! Бронебойно-зажигательной, да?

— Это не я.

— Да ну? Я же видел, — возражает Коваль, устраиваясь рядом на боку воронки.

Он молод и самонадеянно упрям в своем мнении. Меня это начинает раздражать.

— Ничего ты не видел, — говорю я. — Шпарь-ка лучше в тыл. Ранен — нечего тут отираться.

Парень косит на меня недовольным взглядом:

— Нет. Я подорву хоть одного гада.

— Подорвешь! Вот сейчас как влепит — так сам сперва подорвешься!

Боец недоверчиво выглядывает из воронки. Кажется, он действительно намеревается своими «лимонками» подорвать танк.

А они все стреляют. Они на глазах выбивают нашу цепь. Бьют болванками и осколочными. Для каждого — персональный снаряд. Не слишком ли много чести! Должно быть, снарядов у них хватает. Наверно, это в отместку за тот догорающий уже танк. Капитана давно нет, а танк, им подожженный, еще горит.

Трах!

Мы оба пригибаемся, стукнувшись в воронке головами. Разрыв окатывает спины волной земли и снега. Это, кажется, по нас. Но воронка спасает. Парень поднимает глаза. В них, однако, ни капельки страха, только настороженность и терпеливость упрямца.

— Герой!

— Чего? — не понимает парень.

— Говорю, герой! — кричу я сквозь грохот разрывов.

— Конечно, злой! Потому, что безобразие!

Безобразие — это факт. Отбили половину Украины, прорвали фронт, окружили Кировоград. А тут вот заминка — гоняют, как зайцев по степи.

Мы стряхиваем с себя снег, землю, и я думаю, не слишком ли они израсходовались на нас? Два снаряда на одну цель! Хотя третий, наверно, уже будет последним. Идиотское все же дело — лежать и в совершенной беспомощности ждать смерти. Появляется желание, чтобы танки двинулись с места, пошли хоть назад, хоть вперед, лишь бы только прекратили огонь. Со временем я также начинаю поглядывать на серую обмотку, которой связаны три «лимонки».

И в такое вот время где-то вдали над степью мелькает трассер. Нет, это не пуля. Красная огненная звездочка, сверкнув на башне крайнего танка, высоко взвивается в небо. Я сразу оглядываюсь на село — в вишеннике возле мазанки стоит танк. Откуда он взялся? А второй выползает со двора и останавливается за плетнем. И на улице — за хатами и вишенником — шевелятся серые, в облезшем зимнем камуфляже, танки. Они только что подошли. Это наши танки, их не очень густо, но все же это подмога. С ними нам уже легче. «Ага, не нравится!» — внутренне кричу я. Немецкий танк, по которому ударил снаряд, дергается на месте, дрыгает гусеницей и торопливо разворачивает башню. Еще одна молния широко сверкает над пригорком и балкой, но — мимо. Бронебойный бросает охапку снега в бок рябого танка, потом, отскочив, рикошетом бьет в снег еще раз и исчезает. Но тут проносятся новые трассеры. Село начинает яростную орудийную пальбу, и она теперь так нам по душе!

Из цепи уже кто-то бежит вниз, к хатам. Кто-то встает и падает. Мелькает среди закопченной, перемешанной со снегом земли и, видно, прячется в воронку. Отход? Кажется, да. Вскоре я вижу на снегу знакомую фигуру в куртке — это Евсюков. Он бежит меж воронок и рукой машет оставшимся: назад!

А немецкие танки на склоне балки один за другим дают задний ход. Разрывы на пригорке почти одновременно стихают. Весь свой огонь немцы переносят в село. Через наши головы с двух сторон вжигают трассеры. Фурк, фурк — едва не сшибают головы болванки. Но из балки танки не уходят — они перестраиваются и берут вправо, в сторону от села. И мы ничем не можем помешать им — там мы бессильны.

Что делать дальше? Может, теперь мы тут и не нужны? Действительно, надо убираться — гибель пока откладывается. Возможно, еще все обойдется? Я встаю в воронке и окликаю бойца.

Он, однако, нахмурив светлые брови, почему-то не проявляет никакого проворства.

— А ну, перебежками!

Коваль сопит и замирает на дне:

— Не пойду.

— Что? Ты команду слышал?

— А что команда? Я ранен.

Он притворно несгибающейся левой рукой, правой прижимая к груди сверток с гранатами.

— Чудак! — кричу я. — Что ты им теперь сделаешь?

Наши перебегают по склону вниз. Немецкие танки там уже их не видят. Грохочет в степи и на той стороне, в селе. Началась танковая дуэль, в которой пехоте уже нет дела.

— Гады! — ершится парень и вытягивается на моем належанном месте. — Они Москальчука убили.

Он вдруг всхлипывает и грязным кулаком размазывает по лицу слезы. Взгляд его понуро упирается в немецкие танки. А те куда-то ползут и ползут. Видно, обходят село.

Тогда парень всхлипывает сильнее и выскакивает из воронки.

— Стой! Ты куда?

Но он даже не оглядывается. Вскоре падает в воронку, потом вылезает из нее и бежит дальше. Как будто наперерез танкам.

Вот же дурень! Упрямства и ярости хоть отбавляй, а соображения ни на грош. Допустим, он их нагонит, но что он там сделает со своими тремя «лимонками»?

Скоро он пропадает где-то среди воронок, мне же надо в село. Как это ни странно, а кажется, еще доведется увидеть Юрку. Как он там, дружище?..

И я вылезаю из воронки на разметанный и искромсанный взрывами снег.

Глава двадцать первая

Обессиленные и подавленные, мы бредем по неглубокому снегу в село.

Нас немного — человек двенадцать. Одного двое несут на шинели. Второй изнеможенно плетется, опершись на товарища.

Все молчат. Многие с обнаженными головами. Кто-то прижимает к боку обвисшую, как плеть, руку. Я ковыляю последним. Карабин, который ничем не послужил мне в бою против танков, теперь с успехом заменяет костыль.

Узкой тропкой вдоль тына мы выходим на улицу и сразу натыкаемся на «виллис» и «додж». Машины аккуратно приставлены к самой завалинке хаты. Возле них несколько командиров. Впереди видна высокая смушковая папаха на маленьком вертлявом

полковнике. Этот полковник злым окриком останавливает всю нашу группу:

— Кто командир?

Хлопцы по одному подходят и останавливаются. Все хмуро молчат, полные еще не до конца пережитого страха. Даже не верится, что мы уцелели. А сколько погибло в воронках!.. Полковник нетерпеливо переступает валенками и зло щелкает себя прутиком по голенищу. Рядом молча стоят несколько командиров из его группы. Все мрачно смотрят на нас.

— Кто старший, я спрашиваю? — со скрытой угрозой выкрикивает полковник.

— Ну, я старший, — подходя к начальству, хриплым басом говорит Евсюков. По-прежнему он распахнут, из-под куртки видна нательная рубаха. Бинт на шее в крови.

— Кто вы такой? Ваше звание? — спрашивает полковник и сводит над переносицей брови.

— Старший артмастер старшина Евсюков, — мрачно рапортует старшина, приставив ногу к ноге.

Полковник в упор приближается к старшине. Тот внутренне весь напрягается и сверлит полковника упрямым неуступчивым взглядом.

— Почему ушли с высоты? Кто разрешил?

— А кто нам приказывал там быть?

Видно, как полковника передергивает от этой дерзости, и он деланым басом кричит:

— Что? Я вас спрашиваю: кто разрешил оставить высоту? Вы что — в трибунал захотели?

Евсюков, как-то не в лад с этой строгостью, тяжело вздыхает и расслабляется всей своей сильной фигурой.

— Эх, где вы раньше были, товарищ полковник?

Бритое лицо полковника краснеет от возмущения:

— Молчать! Вы с кем разговариваете?..

— Идите вы!.. — вдруг бросает старшина и, склонив голову и пошатнувшись, шагает на улицу.

Кто-то из командиров отступает в сторону, давая ему дорогу. Двое поднимают с земли раненого. Хлопцы медленно идут за своим командиром.

— Старшина! Приказываю вернуться! — кричит полковник, резко повернувшись назад.

Поравнявшись с ним, я тоже останавливаюсь. В душе у меня вдруг вспыхивает гневное чувство обиды:

— Он танки остановил. Если бы не он, немцы бы давно село заняли.

Полковник впивается в меня сокрушающим взглядом и минуту бессмысленно смотрит, будто не понимая, что я сказал.

— Вы кто такой?

— Младший лейтенант Василевич! — выпаливаю я, с вызовом уставясь в его злое лицо.

Я не боюсь. Что он мне сделает, раненому? Все, чего мы добились и что сумели, было совершено по нашей доброй воле. Не надеясь уже остаться в живых, мы легли под самые танки. Действительно, где ты тогда был, товарищ полковник?

— Марш туда, младший лейтенант! Приказываю подразделению оборонять высоту!

— У меня нет подразделения.

— Как нет? Где ваше подразделение? Марш один, сам! Черт вас возьми! Я вас заставлю!..

— Я ранен! Вот, не видите? — кричу я в ответ. После пережитого этот тон и требовательность, этот наскок неизвестного полковника раздражает и злит до бешенства. Пусть бы шли и защищали — вон сколько их тут, свежих, здоровых, высоко образованных в военном деле! Зачем заставлять калек!

Полковник что-то кричит и замахивается на меня прутом. Но тут где-то рядом раздается взрыв, который, видно, впервые в жизни меня не пугает. Соломой и какой-то трухой бьет в наши лица, чем-то горелым густо посыпает возле машин снег. Полковник падает, и тогда я невольно спохватываюсь: не убит ли? Черт с ним, пусть бы уж жил. Все же командир. Но я напрасно пугаюсь. Вскоре полковник поднимается, выползают из-под машин его командиры, и чей-то встревоженный голос предостерегающе вскрикивает:

— Товарищ полковник, генерал!

С улицы к нам сворачивает еще один «виллис». Полковник торопливо отряхивает с бекеши снег, а я, уже безразличный к его тревоге, бреду себе, куда пошли наши. Меня уже никто и не останавливает: им не до меня. Вскорости слышу, как генерал принимается отчитывать полковника:

— Что у вас тут делается? Почему дорога не перекрыта? Почему не выполнен приказ о выдвижении ИПТАПа? Разгильдяйство и головотяпство! Я отстраняю вас от командования…

Оказывается, он сам не выполнил приказ, потому так и накинулся на нас. Но мы не в силах заменить противотанковый полк. Мы не можем искупить его оплошность. Мы можем только погибнуть. Однако мы уже совершили что-то значительное, к чему не имеет касательства полковник, и это дает нам право не подчиниться несправедливому приказу. Не вполне осознанно еще, но я чувствую нашу правоту в этом конфликте.

Я вижу, как впереди какой-то боец с забинтованной рукой спрашивает о чем-то второго, встречного, и тот указывает ему вдоль улицы. Нетрудно догадаться, что они имеют в виду. Я иду за этим, перевязанным, стараясь не упустить его из виду. Тем более что уже темнеет: солнце скрылось и меж мазанок сгущаются сумерки. Просто странно, как быстро пролетел день, который там, на пригорке, казался таким бесконечным. Танки в другом конце села куда-то уходят. Теперь стрельба и скрежет болванок слышны за бугром в степи. Там же дым. То ли от того, подожженного капитаном, то ли на этот раз уже от нашего. Возможно и такое.

Прежние переживания отступают, и меня все больше охватывает беспокойство за Юрку. Жив ли он хоть? Неужели не выживет, погибнет теперь, когда чудом выбрались из самого ада? Теперь наши танки, видно, немцев сюда уже не пустят. Тем более когда появился генерал. Уж он наведет порядок. Так я полагаю, ковыляя по улице. Вернее, мне хочется, чтобы было так. Я совершенно выбился из сил, чувства мои одеревенели. Единственное желание владеет мной — прибиться где-либо к теплу и свалиться.

Боец, идущий впереди, сворачивает к домику с обведенными синей краской окнами. Похоже, это нежилой дом, может, сельсовет или немецкая управа, под жестью, с высоким крыльцом. С помощью костыля-карабина добираюсь туда и я. Скрипучая дверь неохотно открывается, пропуская меня вовнутрь.

Глава двадцать вторая

— Ну, может, и по третьей? Раз не повезло с гостиницей, так хоть выпьем, — раскрасневшись с лица и заметно подобрев, говорит Горбатюк. — А ты почему не ешь?

— Я ем.

— Что это за еда? Вспомни, как, бывало, на фронте ели. Котелок пшенки на двоих и — как вылизанный. Ординарцу и мыть не надо.

— Котелок давали на четверых. По крайней мере, в пехоте.

— Ну, в пехоте я не был, — благодушно признается Горбатюк.

Перед нами еще что-то блестит в графине. Горбатюк наелся, полноватые его щеки сыто лоснятся, глаза щурятся в снисходительной доброте. Я также готов подобреть. В конце концов, черт с ним, с этим Сахно! Ошибся, так, может, и лучше. Зачем мне встречаться с ним?

Горбатюк откладывает нож и вилку и мнет в кулаке бумажную салфетку. Я облокачиваюсь на стол. Не терпится узнать о нем до конца. Чтоб уж без всяких сомнений.

— Скажите, вы не танкист?

— А как же! Танкист! — с горделивой радостью восклицает Горбатюк. — Три года в танковой армии. От Курска до Берлина. Все стежки-дорожки прошел. Что, может, тоже танкист?

— Нет, пехота, — отвечаю я.

Но мой ответ его не разочаровывает.

— Пехота — царица полей. Основной род войск.

Взрыв веселого смеха за соседним столом заставляет его оглянуться. Возле чернушки, положив ей на плечо широкую руку, улыбается плечистый блондин.

— А тише нельзя? — строго спрашивает Горбатюк.

— Можно, — отвечает крайний за столом, круглолицый и светлобровый, в темном костюме парень. — Эрна, просят на полтона ниже.

— На полтона ниже! — с озорной властностью приказывает Эрна соседу.

Тот, выждав, пока за столом уймется оживление, несколько тише, но все с тем же нарочитым пафосом продолжает:

— Ну скажите! Скажите, почему я ее люблю? Что в ней? Осанка? Грация? Красота? — наивно округляя глаза и жестикулируя широкими ладонями, спрашивает он. — Шпингалет! Кого она может родить, такая блоха? Разве что другую блоху! Это в биологическом, так сказать, плане. А в общественно-политическом?..

— Отставака! Хвост по политэкономии, — саморазоблачительно напоминает Эрна.

— Грубиянка! — подсказывает ближайшая к ней блондинка.

Остальные за столом кричат:

— Задира и насмешница!

— В стенгазете не зря продернули!

— Поспорила с ректором.

— Правильно! Все правильно! Спасибо за помощь. Сплошной пережиток прошлого. И частично будущего. А вот люблю. И все! Так объясните, почему? Вы! Философы! Моралисты! Комсорги! Почему, а?

Он притворно недоумевает. Ребята наперебой пробуют что-то объяснить. Одна Эрна лукаво улыбается. Она-то отлично понимает это его «почему».

— Ну так что? Взяли? — для приличия спрашивает Горбатюк и разливает остаток водки. — Как говорят, дай Бог не последнюю.

— Ну!

— А впрочем, куда спешить? Посидим до закрытия.

Он отставляет рюмку и закуривает. Жадно затягивается. Потом окидывает меня пристально-испытующим взглядом.

— Что-то невеселый, гляжу. Или характер такой?

— Характер.

— Откуда приехал?
— Да тут недалеко. Из-под Менска.
— Ага. Белорус, значит. А где работаешь?
— В клубе.
— Значит, по культурной линии?
Мне неприятен этот сухой допрос, и, чтобы прервать его, я, в свою очередь, спрашиваю:
— А вы по какой линии?
— Я? Юрисконсульт. На полставке. Больше не выгодно — пенсию режут.
— Понятно. Пенсионер?
— Вроде этого. Пятьдесят два года. Но у меня выслуга. Всего двадцать восемь. С льготными, конечно.
Ничего себе, как говорят, протрубил человек! Двадцать восемь лет солдатской лямки — не шуточки. У меня три — и то переживаний на всю жизнь.
— Эх, жаль, пивка не заказали. Духотища такая!
Он поворачивается к залу и зовет официантку:
— Девушка! Девушка! На минутку.
Но «девушка» не слышит или не хочет слышать и идет себе меж столов на кухню. Тогда он встает.
— Ты посиди. Я закажу все же...
За столом я остаюсь один.

Глава двадцать третья

В хате совсем темно (или, может, так кажется) и очень людно. Так людно, что я не знаю, куда ступить от порога. И я стою, вглядываясь сквозь сумрак в неясные пятна лиц, бинтов, темные фигуры людей на скамейках и на полу. В нос бьет острый запах лекарств. Это обнадеживает — значит, медик тут есть, будет на кого положиться.
— Вот еще один защитничек! — с легким юморком отзывается кто-то у стены. — Ну как там: турнули немецких захватчиков?
Я вовсе не расположен к разговорам, тем более в таком вот тоне. Но легкая игривость в его голосе дает понять, что где-то тут женщина, и я всматриваюсь в полумрак — не Катя ли? От черной круглой голландки, возле которой копошатся бойцы, оборачивается кто-то в полушубке. Действительно, под шапкой знакомое лицо Кати.
— А, младшой! А тут дружок твой совсем нос повесил. Думали, крышка тебе.
Катя встает, и тогда я, уже несколько привыкнув к темноте, вижу на разостланной шинели Юрку. Он лежит на спине, без

гимнастерки, по груди туго перевитый бинтами; и еле заметно пытается улыбнуться мне уголками губ.

На кого-то наступив, не обращая внимания на брань, я бросаюсь к другу и неловко опускаюсь возле него на пол.

— Юра! Юр!.. Ну как тебе? Легче? А, Юрка?

Я всматриваюсь в его серое, без единой кровинки лицо с острым, каким-то не Юркиным носом. Не дождавшись ответа, чувствую: дела его плохи. Плохо Юрке, и еще как плохо!

— Так, ничего... Легче, — шепчет губами Юрка. В его запавших глазах на секунду вспыхивает радость, которая, однако, тут же и тускнеет.

Я все это вижу. Я понимаю и хочу его ободрить.

— Знаешь, отбились! Танки подошли. А то была бы хана всем. Теперь мы тебя, Юра, в госпиталь. В первую очередь, — говорю я, веря, что отправлю его. Теперь уж я этого добьюсь.

Но тут кто-то недоверчиво сопит рядом:

— Гляди, отправишь! На самолете разве?

Эта реплика меня настораживает. Я поворачиваю голову — у стены возле двери с винтовкой меж колен сидит и посасывает цигарку какой-то боец. И рядом (гляди ты, снова тут как тут) дремлет «мой» немец.

— Почему самолетом? — подозревая недоброе, спрашиваю я. — Машиной, подводой отправим. Видите, тяжелораненый?

— Гм!.. Мы-то видим. А вот ты?..

— А что? Чего я не вижу?

Я уже готов взорваться — не хватает выдержки, сдают нервы. Что тут еще произошло?

— Влопались, вот что. Промеж молотом и наковальней.

— Ну ты, там! — строго раздается из угла от стола знакомый голос. — Прекращай разговорчики!

Ну конечно же, тут и капитан Сахно. В темном углу. Его отсюда почти не видно, он же, наверное, видит всех. И что-то он чересчур уж начальственно покрикивает — наверно, тут старший по званию. Как от боли, сжавшись в недобром предчувствии, я поглядываю то в угол, то на бойца возле порога. Но тот, подмигнув мне одним глазом, тихо спрашивает:

— Понял?

Да, понял. Конечно, не хитрое дело снова попасть под удар, если в тылу черт знает что делается. Чего еще ждать, кроме как удара, окружения, разгрома? Но есть же и наши танки. Это не сорок первый год. Нет, паниковать все же рано. Еще посмотрим, кто попадет на наковальню.

— Ладно, хватит вешать носы, — говорит Катя, пробираясь от двери. Она несет котелок с горячей водой. Из-под крышки густо

идет пар. — А ну, славяне, у кого полушубок лишний? — обращается девушка к раненым. — Тут тяжелого согреть надо.

— Бери мой, — слышится в темноте. — Все равно не надеть. Вот только рукав оторван.

Кто-то с забинтованным плечом подает ей полушубок. Катя заботливо укутывает им Юрку. Затем, проливая воду, поит его. Зубы Юрки тихо стучат по краю алюминиевого котелка. Напившись, он часто, тяжело дышит.

— Вот так... Теперь легче...

— Ну и хорошо, — говорит Катя. — Согрейся и усни. Сон лучше профессоров лечит.

— Ладно, спасибо... — шепчет Юрка, и его посиневшие веки устало смыкаются.

Катя поворачивается ко мне:

— А как нога, младшой? Ну-ка покажи. — Она решительно и бесцеремонно берет на колени мою беднягу ногу и ругается: — И это называется повязка? Погляди, что тут у тебя делается!

Я и без того знаю, что там делается. Бинты мои раскисли от снега, сползли, размотались. Все там в крови, мокро. Болезненно-чуткая к твердым Катиным рукам, нога вдобавок ко всему, кажется, еще и обморожена. Пальцы вовсе онемели. Чтоб не растравлять себя ее видом, я, сжав зубы, отворачиваюсь. Напротив у стены сидит «мой» немец. Держится он тихо, несколько даже пугливо, с покорным выражением на лице. На его плечах все та же шинелка, на голове — козыркастая шапка. Обхватив руками колени, он будто бы дремлет. Его конвоир, заросший щетиной дядька, сидя возле порога, докуривает цигарку.

— Сороковочку оставь, браток, — просит кто-то из сумрака.

Боец еще раза два торопливо затягивается и, ступив между ранеными на полу, тянется к выставленной навстречу руке. Мои глаза уже начинают кое-что видеть в этой темноте. Среди бойцов я различаю на скамейке под окном вывезенного нами летчика. Он неподвижно лежит, словно неживой, под бинтами и только время от времени сдержанно стонет. Но стонут кругом. Тихих стонов, вздохов и охов тут полна хата.

— А ну назад! — сразу же раздается из-за стола команда Сахно. — Не забывайте, к кому приставлены!

Боец вяло оправдывается:

— Да не сбежит! Я же вижу.

— Плохо видите!..

В это время рядом со мной начинает шевелиться кто-то в полушубке с поднятым воротником. Кажется, он до сих пор дремал, прислонившись к стене, и теперь голосом, осипшим от сна, говорит:

— Не беспокойтесь. Я присмотрю.

Затем прокашливается и, будто самый настоящий немец, скороговоркой обращается к пленному. Это меня удивляет: гляди-ка, знает немецкий! На фронте не часто случается, чтобы красноармеец так складно говорил по-немецки. Пленный тихо что-то бормочет, и сосед, заметив мое любопытство, объясняет:

— Он говорит, что сам сдался в плен и обратно перебегать не собирается.

— Прижали, так сдался. А вообще я не спрашиваю, что он там говорит! — сухо обрывает его Сахно. — И вы бы лучше помолчали, лейтенант.

Лейтенант безобидно умолкает, а мою ногу вдруг пронзает острая боль. Невольно я вздрагиваю, и Катя незлобиво прикрикивает:

— А ну тихо! Что брыкаешься, как девочка?

— Ого! Так рванула!

— Ладно, выдержишь. А голова как? Ничего?

— Голова ничего, — говорю я, лишь бы не трогать раны.

Катя начинает туго забинтовывать стопу, и я снова поглядываю на лейтенанта, который не спеша свертывает цигарку. Он вызывает у меня интерес. То, что он так складно заговорил по-немецки, его тон и еще что-то, едва заметное в интонации голоса, выдают в нем интеллигента, командира, наверно, призванного из запаса. Эти люди всегда вызывают во мне уважение, так как есть в них что-то интересное и значительное, чего часто недостает кадровым. И хотя мне неловко теперь навязываться со знакомством, все же я спрашиваю:

— Вы не из сто одиннадцатой?

Лейтенант слюнявит цигарку и не очень сноровисто обрывает ее концы. Видно, что с самокрутками имеет дело недавно.

— Нет. Я из управления армии. Из газеты.

— Из редакции?

— Ну да. А что вас удивляет?

— Да так, ничего, — отвечаю я, несколько даже смутившись от такого знакомства.

Мне еще не приходилось встречать журналистов, тем более на фронте, и я уже не могу скрыть моего любопытства к этому человеку. А он, кажется, безразличен ко всему тут. Сосредоточенно прикуривает от спички и смачно затягивается. Щеки его, колючие от густой черной щетины, кажутся болезненно запавшими. Тонкое, почти изможденное лицо выглядит худым и некрасивым. Хотя по званию этот человек почти ровня нам, по возрасту он старше нас лет на пятнадцать. Во взгляде Юрки я также ловлю слабенький огонек любопытства. Понятно, конечно: я помню, как Юрка

рассказывал когда-то о своем намерении стать после войны журналистом.

Но лейтенант молча курит, и разговор у нас не вяжется.

— Ну вот и все, — говорит Катя, наконец обрывая бинт. — Береги рану, а то столько грязи набилось.

Она поглядывает на Юрку, но глаза у того уже закрыты, и девушка тихо, только мне одному сообщает:

— Слаб он. Смотреть надо. Чтоб ненароком не…

Я вздыхаю. Кажется мне, Юркины веки тихонько вздрагивают в темноте. Наверно, он чувствует наше внимание к себе.

— Ничего, как-нибудь.

— Сестра! Мне вот перевязать надо! — зовет кто-то Катю.

— Сперва мне. Я уже давно жду.

— Сейчас, сейчас, родненькие. Не всем сразу.

Катя пробирается меж людей дальше, а Юрка, заметно напрягаясь, чтобы сдержать стон, спрашивает:

— Что, пехоты у немцев много?

— Знаешь, пехоты не было, Юра. Если б пехота, нам бы не удержаться. А так с дюжину танков. Два подожгли.

Юрка раскрывает глаза и неподвижным взглядом уставляется куда-то в невысокий сумеречный потолок.

— Знаешь, десант — это сила. Если придется участвовать, старайся как можно… ближе подъехать. Главное… не спешить соскакивать. Чем ближе к ним, тем… лучше. Я знаю…

— Ну конечно, — соглашаюсь я, хотя в танковом десанте еще не участвовал.

Но я вижу, как тяжело Юрке говорить, его запекшиеся губы едва шевелятся:

— Так… Дай воды… Жжет, холера…

Я приподнимаю его голову и наклоняю котелок. Юрка пьет маленькими частыми глотками.

— Плохо? Ты лежи. Молчи лучше.

Юрка страдальчески опускает веки и вздыхает:

— Теперь я не скоро. Кажись, долбануло как следует. Теперь поваляюсь. А когда будут машины?

— Машины? Будут, Юр… Ты потерпи немножко. Я слышал, там генерал обещал.

— Ну что ж… — терпеливо соглашается Юрка. — Что-то я хотел сказать?.. Будешь воевать… раздобудь «эм-га сорок два». Не смотри… что немецкие. Это пулеметы… классные. Научишь ребят… Лучше станкачей будут. Патронов… в наступлении хватит. У меня четыре было. Подобрал…

Смысл его последних слов наводит меня на некоторые подозрения. Похоже, что он уже лишается надежды использовать свой опыт и хочет передать его мне.

— Хорошо, Юрка. Еще повоюем. И «дегтярями», и «эм-га». Не унывай, Юра.

— Та-ак! И еще — надо стрелять. В наступлении, а то… они нас изничтожают, а мы… Слабый огонь у нас. Стрелковый. Понимаешь? Слабина…

Он умолкает, и я не отзываюсь. Сдается, он засыпает. Я только внимательно всматриваюсь в его похудевшее за этот день лицо, которое неподвижно сереет на помятом сукне шинели.

Мысль-сомнение точит меня: выберемся ли мы отсюда? Я-то кое-как креплюсь, а вот Юрка… Эх, Юрка, Юрка!..

Я начинаю прислушиваться к сдержанным разговорам в хате, к звукам снаружи. Теперь в таком нашем положении все осложняется. Я думаю, что раненых пора бы уже отправить в тыл, если бы была дорога. Но коли об этом пока никто не заботится, то, видно, действительно ходу отсюда нет. Тогда надо ждать. Только чего дождемся?

За окном как-то сразу светлеет — это восходит луна. Край ее ярко врезается в стекло, подернутое слабым морозным узорцем. В хате становится виднее. Только в углах и под потолком еще сохраняется мрак.

Лейтенант у стены все же разговаривает с немцем. Я прислушиваюсь, и корреспондент, заметив это, сообщает:

— Он говорит, что вы его в плен взяли.

— Не взял. Только вел. Да не довел.

— Это почему?

— На танки наскочили. Было трое, один вот остался.

Лейтенант обращается к немцу с какой-то длинной фразой.

Немец охотно и подробно отвечает. Из их разговора я понимаю только несколько слов: лерер, Бунцлау, ефрейтор. Лейтенант выслушивает и поворачивается ко мне:

— Его фамилия Энгель. Он сельский учитель из Силезии. А его камарад был нацист. Тот случайно попался в плен. Обычно такие не сдаются.

И они вполголоса переговариваются снова.

Я невольно затаиваю дыхание, надеясь услышать что-нибудь интересное. Правда, понимаю по-немецки не много, и мне трудно уловить смысл их быстрых, невыразительных фраз. Лейтенант при этом оживляется. Энгель отвечает коротко, нередко пожимая плечами.

Однако они упускают из вида Сахно, который немедля напоминает о себе.

— Лейтенант, подойдите сюда! — приказывает он из-за стола.

— Вы хотите мне что-то сообщить? — спрашивает лейтенант.

Но Сахно замолкает, и лейтенант, помедлив, неторопливо встает.

С минуту у стола происходит не очень приятное для обоих объяснение. И когда лейтенант возвращается на свое место, я догадываюсь по его виду, что разговора с немцем у него уже не будет. Лейтенант многозначительно вздыхает:

— Да, странная командировочка!.. Поехал за очерком о наступлении. Да вот так все обернулось, что сам на карандаш попал.

— А вы напишите и про это. Про все напишите.

Лейтенант двигает бровями:

— Про это не напишешь. Не тот материальчик.

Глава двадцать четвертая

В хате становится тихо…

Должно быть, я начинаю дремать, так как вдруг тревожно спохватываюсь, — кажется, что-то говорит Юрка. Действительно, он беспокойно мотает головой. Полушубок сбился с его груди, глаза закрыты. В тревоге я прикладываю ладонь к его лбу. Он сухой и пылает жаром. Юрка на мое прикосновение не реагирует.

В хате по-прежнему светло. Разговор, впрочем, утих, видно, раненые спят. Хоть вряд ли все спят — у порога шевелится конвоир. На неподвижном лице соседа-лейтенанта у стены напряженно раскрытые глаза, и в них знакомое мне беспокойство: чем все это обернется?

— Юр… Воды, а? На воды, Юра…

Юрка не отвечает, только мотает откинутой головой и лихорадочно дышит. В груди у него булькающий хрип, который слышится издали. На губах — отчаянно-тревожный шепот:

— Ну!.. Что ты? Мамочка!.. Не надо!.. Не надо… Ну что ты! Так!.. Иначе нельзя…

Я прислушиваюсь и понимаю: Юрка бредит. Это уже плохо, он без сознания.

— Почему ты не идешь?.. Оля!.. Оленька! Прости!.. Я все понимаю… Оленька!.. Мама!..

Конечно, это бред, но какое-то время я невольно стараюсь проникнуть в смысл бессвязных Юркиных слов. Только напрасно. Тогда я начинаю бояться, как бы с Юркой не случилось то самое худшее, что теперь так близко бродит возле него. И в это время отзвук новой беды доносится до нашей хаты.

Сначала кто-то будто спросонок, неуверенно замечает: «Гудят, а?» Занятый своей заботой, я не обращаю на то особенного внимания. Затем слух начинает различать знакомый высотный гул.

Он быстро усиливается, и вот дощатый пол в хате вздрагивает от первых взрывов бомбежки. Правда, бомбят где-то далеко. Во всяком случае, не в этом селе. Но бомбят, слышно по всему, немцы. Кто-то, напустив в помещение холоду, выходит на улицу. За ним к двери пробирается второй. Сонное спокойствие в хате нарушается. По углам начинаются разговоры, кашель.

— Налетели коршуны проклятые. Теперь дадут прикурить.

— Хоть бы не сюда. Чтоб их черт!.. Страх не люблю бомбежек.

Кто их любит!..

И вдруг гул вверху прорывается близким обвальным грохотом. Где-то уже совсем близко (не на окраине ли села?) раскатисто громыхают несколько бомбовых взрывов. Наш дом вздрагивает всеми четырьмя стенами. В углу с лязгом падает на пол пустой котелок.

— Дождались! — выпаливает кто-то, и по резкому, обиженному голосу я узнаю нашего знакомого летчика. — Дождались, черт бы их побрал! Где начальство?! — почти в отчаянии выкрикивает он.

Но начальства нет. Мы все тут одинаково рядовые — раненые. И только Катя, как и всегда в таких случаях, грубовато прикрикивает:

— А ну все вниз! Прочь со скамеек. Все на пол!

Раненые неохотно слезают со столов, скамеек и размещаются на полу.

Я поглядываю в угол — за столом уже никого нет. Сахно, очевидно, где-то укрылся. И только на середине хаты — слабо освещенная луной фигура Кати в накинутом на плечи полушубке.

— Ложись, ложись! И чтоб тихо. Никакой паники.

Вблизи за селом начинается громовой грохот бомбежки.

Взрывы один сильнее другого сотрясают ночь. Земля каждый раз вздрагивает. С потолка на наши головы что-то сыплется. Мы, затаив дыхание, жмемся к полу, вслушиваемся и напряженно ждем, когда же наконец кончится это проклятое испытание. Кто-то зло и гадко ругается. Кто-то тихо про себя стонет. На улице беготня и встревоженные редкие выкрики. А возле меня всем телом дрожит, бьется в горячке Юрка.

— Мам... Мамочка, стой! Не иди. Огонь... Куда он? Куда катится? Держите ж вы...

Над хатой тяжелый моторный вой. Кажется, с неба обрушивается что-то ужасающе огромное. Но оно проносится мимо, и ночь раскалывают два близких взрыва. Огненные вспышки в окнах на несколько секунд ослепляют нас. Кажется, разлетится вдребезги хата, и даже странно, когда через мгновение оказывается, что она стоит, как стояла. Только почему-то с

запоздавшим скрипом открываются на крыльцо двери. Но это не от бомбы. Это в наше пристанище врывается какой-то боец.

— Эй, славяне! — запыхавшись, кричит он с порога. — На том конце немцы!

В хате на секунду все онемевают. Нас сковывает растерянность. Затем кто-то ругается:

— Погибать, что ли? В конце концов...

— Почему нас бросили? Где справедливость? Где забота о раненых?

— Тихо! Ти-хо! — прерывая шум, снова кричит Сахно. — Я запрещаю! Прекратить разговоры!

— Кто там запрещает? Ты вон запрети нас бросать! Где начальство? Давай начальство!

— Надо к начальству.

— Генерала сюда! — гудят встревоженные голоса.

Кто-то, хромая, быстро выходит из хаты. За ним к двери пробираются еще двое. На порог откуда-то из угла торопливо лезет сутулая фигура Сахно.

— Стой! Прекратить панику! Я приказываю!

Хата становится как разъяренный, растревоженный улей.

— При чем тут паника?

— Пошел ты...

— Нашлось пугало! Не таких видали!

— Ты начальство давай сюда!

— Давай транспорт! Нам тоже жить хочется.

Люди встают, кто может. Остальные лежат. Бомбежка, кажется, утихает. Гул удаляется. Видно, самолеты поворачивают назад. Зато усиливается пулеметная трескотня. Из раскрытой двери в хату ползут клубы холодного воздуха.

Негромко, по-мужски выругавшись, к выходу пробирается Катя.

— Нет уж, вчерашнего не будет! — говорит она. — Я скоро...

Девушка хочет выйти, но путь ей преграждает Сахно. Упершись ногой в косяк, он стоит в раскрытых дверях. В здоровой его руке пистолет.

— Назад!

— Ты что — очумел? А ну пусти! Я к начальству.

— Назад! — в каком-то остервенении кричит Сахно.

Катя вдруг с силой толкает его и, пригнувшись, шмыгает в дверь.

— Назад! Застрелю!

Он и в самом деле стреляет, неожиданно оглушая всех нас. У меня содрогается сердце: не сошел ли с ума этот законник? Рядом

поднимается с пола лейтенант и взволнованно обращается к разъяренному капитану:

— Послушайте, что за спектакль? Надо же доложить начальству. Надо подумать о раненых. Что вы уперлись?

— Молчать! Я приказываю замолчать!

Широко расставив ноги, Сахно серой неподвижной глыбой стоит в дверях. Пистолет его направлен в хату. Из раскрытой двери вовсю валит морозная стужа.

— Ему лишь бы молчать! — зло бросает кто-то.

И в хате действительно умолкают. Кто знает, чего можно ждать от этого человека.

Сахно стоит так довольно долго, и мы все молчим. Только обожженный летчик сильнее, чем прежде, стонет под окном. Юрка стихает, но в груди у него что-то часто и мелко булькает. Я не могу сообразить, что делать с ним, если опять, как и утром, придется удирать из села. Не лучше ли уж сразу застрелить его и себя?.. Автоматные очереди за околицей то притихают, то снова густо рассыпаются в ночной тишине.

Но вот на улице слышится гомон. За окном — чьи-то торопливые шаги, там группа людей. Не за нами ли? Скрипит крыльцо, и луч фонарика упирается в фигуру Сахно.

— Тут кто?

— Тут раненые, — со злым недовольством отвечает Сахно. Однако с порога не сходит.

— А вы кто? Что вы тут делаете? — осветив пистолет в руке капитана, строго спрашивает командир.

— Я пресекаю панику! — все тем же тоном говорит Сахно.

— Панику?

— Так точно. Панику.

— Какую там панику! — рассудительно вставляет кто-то из темноты. — Нас в госпиталь надо. Тут тяжелораненые есть.

Неизвестный командир поворачивается к людям. Его сильный фонарик обегает сидящие и лежащие фигуры людей и останавливается. Повсюду — шинели, полушубки, бинты и ожидающие, настороженные лица.

— Я не уполномочен насчет эвакуации, — твердым голосом объявляет опоясанный ремнями человек. — Село обходят немцы. Полковник Гордеев приказал: всех в строй. Кто может — прошу за мной! Немедленно!

— Это другое дело, — после короткой паузы отзывается голос в углу.

— По-людски. А то пистолетом грозит...

— А ну выходи, кто может!

— Известно, выходи. А то всем крышка.

Из угла вскоре выбираются двое. Встает кто-то от порога. Вздохнув, нелегко поднимается лейтенант из редакции. Я не знаю, как быть. Неловко отставать от других и не хочется бросать Юрку. Чувствую, что без меня он погибнет. И проклятая нога опять остро разболелась на ночь.

— Стой! — будто спохватившись, кричит Сахно. — Майор, остановите людей. Тут непроверенный элемент.

Майор, который уже хотел было уйти, останавливается и коротко сверкает на Сахно фонариком.

— Какой элемент?

— Антинастроенный элемент. Тут разговоры...

— Да бросьте вы, капитан! Какие разговоры...

Майор выключает фонарик и исчезает на крыльце. За ним выходят четверо бойцов. Сахно несколько секунд удивленно стоит у двери, потом бросается за ними вдогон.

— Майор, вы будете отвечать! Я доложу полковнику Косову! — доносится уже снаружи.

Кто-то в хате снова ругается.

Лейтенант у стены не спеша готовится выйти. Сначала он тщательно отворачивает уши своей шапки. Потом достает из кармана трехпалые рукавицы и натягивает их на руки. Все его движения неестественно замедленны. Я вижу все и понимаю, как не хочется ему идти туда, откуда неизвестно еще, суждено ли будет вернуться. У его ног покорно сидит, ожидая чего-то, немец. Я в растерянности — что делать? Лейтенант бросает взгляд на меня, потом — на Юрку. И я думаю: если только он скажет «пойдем!» — я встану. Но он аккуратно заправляет рукавицы и коротко улыбается в полумраке:

— Ну, счастливо оставаться. Желаю как-нибудь выбраться отсюда.

— До свидания! — говорю я, растроганный. Не знаю почему, но в душе моей незаметно созрело неосознанное еще расположение к этому человеку. И теперь, когда он уходит туда, мне оставаться здесь более чем неловко. Наверно, чтобы смягчить эту неловкость, я предлагаю: — Возьмите мой карабин.

— Нет, спасибо. У меня пистолет, — трогает он кирзовую кобуру на ремне. — Впрочем, все равно. Там танки.

Затем, переступив через мою ногу, выходит в раскрытую дверь на залитый лунным светом двор. Я же остаюсь, мучительно раздумывая над невеселым смыслом его последних слов. В хате становится тоскливо и пусто.

Ясное дело, не первый раз — каждый день вот так навсегда уходят люди. Друзья, малознакомые и вовсе не знакомые. Уходят, чем-то задев душу и оставив в ней свой не всегда понятный нам

след. Многие больше не возвращаются в нашу жизнь, и среди них — славные, так себе, а то и плохие. И нам невдомек порой, что все они известным образом формируют нас, нередко вопреки нашей воле лепят наши характеры, наши человеческие качества. Ушел вот и Сахно, и как-то сразу наступило облегчение — ну и человек! А с лейтенантом я не хотел бы никогда разлучаться. Хотя и вовсе не знаю его.

Юрка, что мне делать с тобой? Неужели нам не выбраться из этого водоворота, в который нас так неожиданно втянула война? Неужели я так и не уберегу тебя? И где же это наша спасительница Катя, что-то уж больно долго она задерживается. А может, оставила нас? Действительно, кто мы ей? Случайные спутники. Зачем ей погибать с нами?

В хате становится просторно и холодно. На полулежат одни тяжелораненые. У порога на прежнем месте, кутаясь в шинель, сидит немец. Конвоира возле него уже нет. Исчез Сахно, видно, сбежал и конвоир. А немец не убегает. Съежился и чего-то ждет, забытый и покинутый бедолага пленный, до которого тут никому нет дела. Под окном в каком-то нервном пароксизме дрожит обожженный летчик. Я подтыкаю под Юрку края полушубка и на коленях подползаю к нему. Хоть, по правде говоря, этот крикун уже изрядно и надоел нам. Но и ему не сладко.

— Как вы? Может, помочь чем?

— Да. Ты должен помочь! — быстро и настойчиво просит летчик. — Друг! Не дай погибнуть. Меня командующий знает. Я к Герою представлен. Ты должен связаться с командующим. Ты понимаешь?

— Как тут с ним свяжешься?

— Ты должен связаться. Или пусть выделят танк. Пусть отвезут меня в танке. Я не должен погибнуть...

Нет, это не то. Это слишком банально. Он боится погибнуть! Будто остальным тут безразлично: жить или умереть. Как будто оттого, что он представлен к Герою, его жизнь возымела большую ценность. А Юрка представлен к «Отечественной». Так что же ему — погибать? Сочувствие к летчику вдруг сменяется во мне досадой. Дает же Бог таких вот людей!

— Друг, ты понимаешь? Иначе я погибну. Ты слышишь?

Да, я слышу. Но я возвращаюсь к Юрке, так как не хочу его утешать. У самого от тоскливого предчувствия замирает сердце. За околицей вовсю гремит бой — и танковые выстрелы, и автоматы. Я чувствую: будет плохо! Хотя бы вернулась Катя, с ней как-то спокойнее. Мы уже привыкли за эти сутки к ее грубоватой заботе о нас. Я удивляюсь: действительно, только одни сутки, как я встретил

ее, а кажется, знаю давно. Странно, она некрасивая, резкая, а в общем, такая прямая и надежная. Видимо, на войне это главное.

Я прислоняюсь спиной к стене возле Юрки. Вслушиваюсь в трескотню боя и начинаю ждать Катю. Вскоре кто-то взбегает на крыльцо, потом шарит рукой по двери. Я уже готов обрадоваться, но вместо Кати на пороге появляется Сахно.

— Так. Кто днем был на высоте? — сухо спрашивает он тоном командира, который получил незаслуженный нагоняй от начальства.

Люди в хате настороженно умеряют стон.

— Я спрашиваю: кто оборонял высоту?

— Какую высоту? — спрашивает кто-то с обвязанной, в шинах, рукой. — Ту, где танки?

— Да. Ту.

— Ну и я оборонял. А что?

— Фамилия? — настойчиво спрашивает Сахно.

— А зачем? Орден дадите, что ли? — совсем не в тон капитану шутит раненый. — Цвиркун, ну?

— Как?

— Ефрейтор Цвиркун.

— Младший лейтенант Василевич, записывайте! — приказывает мне Сахно.

Не хватало забот, думаю я. У самого рука подвязана, так он заставляет меня. И откуда его пригнало на наши головы? В оборону, гляди ты, не пошел, а снова что-то расследует. Кого-то уже подозревает и обвиняет. Тоже воюет!

— Еще кто? — снова спрашивает и ждет ответа Сахно. Но больше, кажется, защитников того бугра тут нет. Все, недобро понурившись, молчат.

— А вы, Василевич, там не были? — вдруг поворачивается ко мне Сахно.

— Ну был. А что?

— Почему скрываете? Записывайте и себя.

— Я и так не забуду.

— Вы все помните, да? А где старшина Евсюков? — вдруг многозначительно спрашивает Сахно. — Вы же, кажется, вместе были?

— Вместе. Да тут разошлись. В селе.

Все напряженно молчат, глядя на капитана. Он также молчит, о чем-то соображая. Становится тихо, и в этой тишине появляются новые звуки. Где-то по улице идут танки. Их грохот придвигается все ближе и ближе… Хоть бы свои, не немецкие! Но если и наши, то куда они идут?

— А что, капитан, случилось?

— Что случилось? — въедливо переспрашивает Сахно. — Не знаете, что случилось? Оборону бросили, вот что случилось!

Ну ясно, где-то неполадки, кто-то проворонил, и теперь ищут виноватого, стрелочника — Евсюкова. Но при чем тут Евсюков?

Заглушая грохотом недалекую беспорядочную стрельбу, мимо окон проносится один танк, затем второй. Кто-то в шапке с растопыренными ушами ползет к подоконнику и всматривается в светловатое, тронутое морозцем стекло. Первые танки, слышно, отдаляются. Но с другого конца села снова нарастает грохот.

— Вот тебе, кума, и Юрьев день! — громко говорит от окна боец. — Танки-то уходят.

— Как уходят?

— Куда уходят?

И вдруг с обмершим сердцем я также бросаюсь к окну. Действительно, наполняя село грохотом, несколько танков быстро катятся по улице. Их броня густо облеплена серыми тенями автоматчиков.

Сахно, вдруг забыв про нас, молча выскакивает во двор. Я подползаю к Юрке. Что же это делается? Я начинаю тормошить друга, думая, может, очнется, иначе как бы не угодить в новую западню. Раненые торопливо один за одним выползают из хаты. Кто со стоном, а кто и молча. Теперь бы только на улицу, на которой последняя возможность спастись.

— Ох, братцы! Добейте, братцы, — глухо стонет кто-то в углу. — Лейтенант, браток! Сделай одолжение…

На улице бегут люди, фыркают танки. У них свои заботы, свои боевые задачи, что им раненые? Летчик, ругаясь, встает на колени и слепо ползет к выходу. В это время в углу раздается выстрел, и глухой стон там обрывается. «Так лучше», — говорит кто-то, и больше на выстрел в хате уже не обращают внимания. Сам или его кто-нибудь? — не могу понять я. Снаружи подлетает под самые окна и, очевидно, останавливается танк. Грохот его сразу затихает. Кажется, следом останавливается еще один. Вот бы успеть, может, возьмут…

Кое-как надев на Юрку полушубок, я укутываю им друга, затем хватаю его, чтоб тащить в дверь. И тут в хату врывается разгоряченная Катя. Я едва не вскрикиваю от радости, сразу почувствовав: это за нами! И действительно, Катя громко выпаливает:

— А ну — на машины! Быстро! Кто сам не может — крикни!

«Поторопился!» — с сожалением мелькает в сознании о том несчастливце в углу, и я тут же забываю о нем. Я подхватываю Юрку под мышки, немец услужливо поднимает его за ноги. Катя нам уступает дорогу и сама бросается к летчику, который

копошится у порога. Мы вытягиваем Юрку на двор и там натыкаемся на высокого и неуклюже толстого командира в комбинезоне и танковом шлеме. С шутливой легкостью он притоптывает валенками и хлопает рукавицами.

— Живее, орлы! Поторопитесь, всадничкu! А то коники остынут. А ну, давай подсоблю.

И подхватывает за полушубок Юрку. К нему подскакивает второй в шлеме: «Товарищ подполковник, дайте я!» Они вдвоем принимают из моих рук Юрку. И я чувствую щемящую благодарность к этому подполковнику. Какой молодец, остановил для раненых танки! Но, видно, это постаралась Катя? Они вдвоем с помощью немца взволакивают Юрку на броню танка, следом, неуклюже цепляясь за боковой трос, взбираюсь я. А подполковник легко соскакивает, чтобы помочь Кате.

— Давай этого туда, на тройку. Эй, герой, подсоби! — обращается он к немцу.

Тот сквозь шум малых оборотов мотора не слышит или не понимает. Стоит внизу возле танка, видимо не зная, можно ли ему сюда взлезть. И тут между танков откуда-то появляется Сахно.

— Товарищ подполковник, немца надо ликвидировать. Немедленно!

Подполковник, неся с Катей раненого, удивленно вскидывает голову. Сахно тем временем расстегивает кобуру. Он уже уверен, что подполковник не возразит. Его самонадеянность отзывается во мне бешенством. Не от жалости к немцу, а чтобы досадить Сахно, я кричу:

— Не слушайте! Товарищ подполковник... Это «язык». Его к генералу приказано доставить.

— Какому генералу? — недоуменно спрашивает подполковник и тут же машет рукой: — Пусть едет, черт с ним. Шлепнуть успеете.

«Ага, выкуси!» — злорадно думаю я и кричу немцу:

— Ком! Быстро!

Сахно, вижу, хочет возразить, но танкисты спешат. Башенный люк за моей спиной, лязгнув, закрывается. Оба танка, лихо заурчав, увеличивают число оборотов, и Сахно, сдвинув кобуру, бросается к нам на броню.

— Ты имей в виду: сбежит — под трибунал загремишь! — взобравшись, кричит он мне в самое ухо.

«Пошел ты к чертовой матери!» — с ненавистью думаю я.

Глава двадцать пятая

Убивая время, мы с ленивым наслаждением пьем пиво. Горбатюк разделся и сидит в светлой шелковой тенниске. Пиджак он повесил на спинку стула, ему душно. С моих плеч, кажется,

спадает гора. Он — не Сахно. Совсем другой характер, другое отношение к людям. Да и вид окончательно не тот. Я все удивляюсь: какая нечистая сила ослепила меня тогда, не дала понять, что я ошибаюсь? Ведь это совсем другой человек.

Людей в ресторане становится меньше. Некоторые столики вовсе освободились, и официантки сметают скатерти. Наши молодые соседи все еще сидят, живо переговариваясь между собой. На столе у них три порожних бутылки с ободранной фольгой. Горбатюк ворочается, сопит, облокачивается на спинку стула и с блаженной сытостью осматривает зал. Насколько это можно понять за вечер, он немножко с гонорком, но вообще простой, добродушный дядька.

— Знаете, а я вас принял за другого, — искренне признаюсь я. — За одного сволочного человека. С фронта еще.

Горбатюк понимающе улыбается:

— За какого-нибудь предателя?

— Да нет, он не предатель.

— Трус?

— И не трус. Иногда он даже был смелым. И другим трусить не давал.

— Строгий, значит?

— Строгий — не то слово. Скорее жестокий.

Горбатюк поворачивается к столу:

— Ну, на войне жестокость — не грех.

— Возможно. Но не настолько, чтобы добивать раненых?

— При отступлении?

— В окружении.

— Как сказать. А если бы они в плен попали? На этот счет, дорогой мой, был приказ Сталина. Ничего не попишешь. Тут уж он выполнял приказ.

Как-то мы теряем взаимопонимание. Похоже, он со мной не согласен. Но это недоразумение. Как бы ему лучше объяснить, что тут не просто выполнение приказа. Тут другое. А Горбатюк тем временем снисходительно ухмыляется: в нашем маленьком споре он чувствует свое превосходство. С этой ухмылкой он доливает в фужеры пива — сначала в мой, а потом в свой — и придвигается ко мне поближе.

— Я тебе скажу по собственному опыту. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира больше, чем немца, — многозначительно сообщает он и ребром ладони бьет по столу. — У такого командира все: и задача выполнена, и грудь в орденах.

— А люди?

— Что — люди?

— А люди — в могилах?

Горбатюк недоуменно моргает глазами и ерзает на стуле. Видно по всему, мой вопрос застает его врасплох. Где у такого командира люди — он о том не подумал.

— Ну, знаешь... На войне с этим не считаются.

Ну и ну! Что-то я вовсе перестаю его понимать. Этот танкист начинает меня удивлять. Я давно уже не слышал подобных высказываний. Просто нелепо слышать такое от фронтовика в наше время.

Горбатюк между тем залпом выпивает пиво и снова наклоняется ко мне:

— Слушай сюда! Вот ты говоришь: люди, люди. Помню такой случай. Под Витебском судили одного. Молодой такой Ванька-взводный. Скороиспеченный лейтенантик. Вел батарею. Отступали. Впереди речушка. Надо найти брод. Ему бы, дурню, послать кого-нибудь. А он пожалел: тот ранен, тот болен, тот стар, а тот плавать не умеет. Ну и пошел сам с ординарцем. Брод нашел, перебрался на другую сторону. Атам немцы. Ну и сцапали. Раненого. А у него карта. И маршрут. В батарее же ни одного командира. Так и накрылась батарейка. Лейтенант, правда, вырвался из плена, через неделю приходит. Тут, конечно, и погорел. А как же? Пожалел людей.

— Просто он дурак, этот лейтенант.

— Вот именно — дурак, — добродушно соглашается Горбатюк. — Или вот другой пример. Судили командира танка. Выскочил с экипажем раньше, чем подбили машину. Ударила болванка, ну, он и скомандовал: покинуть машину! На суде говорит: экипаж пожалел. Видишь ли, был уверен, что вторым выстрелом его подожгут. «Тигр» стрелял. Поджег действительно. А лейтенант прямо из танка в штрафную загремел.

Горбатюк сладко затягивается сигаретой. Неожиданная догадка заставляет меня вздрогнуть.

— А вы не прокурором были?

Он почему-то оглядывается и прищуривает в дыму один глаз.

— Председателем трибунала.

Мне кажется, я недослышал.

— Чего?

— Военного трибунала, — тихо, но выразительно повторяет Горбатюк.

Я не знаю, что сказать дальше, и медленно перевожу взгляд на стол. Теперь все понятно. Теперь мне его рассуждения знакомы, как дважды два. Как это ни удивительно, но за двадцать лет они не изменились. Менялись люди, происходили революции, человечество прорвалось в космос, освободило внутриатомную энергию. А те установки, вдолбленные в сознание их исполнителей, видно, стали

их убеждениями. Конечно, сейчас они не распинаются о них на каждом углу, но вот, оказывается, и не стыдятся. Попался же мне фронтовичок!

Горбатюк, наверно, замечает мою короткую растерянность и отчужденно хмурит брови.

— А что это вы так… удивляетесь?

— Да так.

Обеими руками я поворачиваю на скатерти фужер, бессмысленно разглядывая, как переливаются на его гранях искристые отражения бра.

Горбатюк с каким-то предостережением оглядывается на молодежный стол и вздыхает:

— Ты, наверно, думаешь: трибунал — это сплошное нарушение законности? Теперь так модно считать. Модно реабилитировать. Модно валить все на судей. И никто не задумается: во имя чего они все то делали? Распутывали преступления, не спали, недоедали, мотались по передовым, попадали под бомбежку. Во имя чего?

Однако деланый его запал меня не трогает.

— Может, во имя победы? — спрашиваю я с иронией.

— А как же? Ты что думаешь, в ней нет и нашего вклада?

Недавнее мое расположение к нему начисто исчезает.

Я не знаю, что он за человек и каким был председателем трибунала. Но я чувствую, что эта его горячность имеет свои корни. Он явно чем-то обижен, с чем-то не согласен и уже готов спорить, отстаивая свою непонятную мне правду.

Но я с ним спорить не буду.

Я не хочу с ним спорить, так как отказываю ему в этой его правде. Не может быть его правды там, где есть его перед людьми вина. В моих чувствах и памяти до сих пор живет немало несправедливо-обидного из тех давних времен, в которые неплохо хозяйничали такие вот председатели трибуналов. Не забылось, как ушли из полка и не вернулись ребята за сдачу позиций, которые невозможно было удержать, за неисполнение невыполнимых приказов, за стычки с начальством и за так называемые недозволенные разговоры тоже. Я помню, наконец, старшего лейтенанта Кротова, который на счастье свое или на беду не дошел до рук такого вот председателя. И за что? Я-то знаю, что ни за что, но это вовсе не означает, что Кротов вернулся бы назад, в батальон. Так неужели теперь, через много лет после войны, когда столько перевернулось в общественной жизни страны, неужели не коснулось этих людей чувство вины или хотя бы угрызения совести?

Я хочу спросить его об этом, но Горбатюк опережает меня.

— А я и не думаю скрывать, кто я и что я, — с заметным отчуждением говорит он. — Я поступал согласно закону. Если что —

можно поднять архивы. Там все налицо. Оформлено и утверждено. Я грехов за собой не чувствую. Можно справиться у сослуживцев, начальства. Я не прохвост какой-нибудь. Бывало, приеду в полк — почет и уважение. Командир полка первым честь отдает. Хоть я капитан, а он подполковник. Вот как!

Я молчу. Он, чувствую, однако, волнуется: то ерзает на стуле, то откидывается на спинку. На его мясистом лице — выражение обидчивой замкнутости.

— Война — не мать родная. Там твердая рука нужна. На смерть никому не хочется идти. А что же — сознательность? Сознательность — в газетах, а тут принудить надо. Чтоб боялись.

— Слушайте, Горбатюк! А не могло так случиться, что кто-нибудь из осужденных вами сейчас реабилитирован?

Горбатюк делает наивные глаза:

— Ну и что ж! Вполне естественно. Реабилитирован — и с Богом. Я всецело одобряю и поддерживаю.

— А вы не боитесь с таким вот на улице встретиться?

Горбатюк бросает на меня настороженный взгляд и, кажется, искренне удивляется:

— А чего мне бояться? При чем тут я? Тогда были одни законы, теперь — другие. — Он оглядывает зал и добавляет уже спокойнее: — Да и не встретятся. Еще не встречались.

— Что, разве всех — к высшей?

— Почему всех? Не всех. Разбирались, — говорит он и засовывает руки в карманы брюк. В глазах его появляется выражение нагловатой самоуверенности, он смотрит на меня почти враждебно.

Да, это его успокаивает. Не вернутся. Все сделано чисто. Все по правилам оформлено, утверждено. Осужденные не угрожают, совесть не грызет. А за все подлое и противозаконное пусть отвечает Берия.

Горбатюк встает и, отодвинув штору, решительно открывает окно. Широкий поток прохлады врывается в зал. Через минуту становится довольно холодно, и он надевает темный в мелкую клеточку пиджак с очками и двумя авторучками в нагрудном кармане. Он замкнут, однако мысленно, так же как и я, видно, продолжает наш не очень приятный разговор.

— Нет, дорогой, ошибаешься. Это теперь развели демократию. Готовы всех сволочей реабилитировать. Презумпция невиновности! Доказательства! Болтовня все это. Если что, он тебе так все перекрутит, что хоть ты его награждай. Тут нужно чутье иметь. Нюх. Правда, у меня глаз был наметан. Я, бывало, на такого взгляну — и насквозь вижу. Доказательства — десятое дело. Доказательства, если понадобятся, на каждого можно составить.

От соседнего стола встает плечистый, в серой куртке блондин:

— Окошко можно закрыть? Девчата просят.

Горбатюк резко поворачивается и недоуменно смотрит на парня. Тот широким жестом захлопывает фрамугу.

— А ну откройте! — мрачно приказывает Горбатюк и встает.

Блондин подходит к своему столу, и Горбатюк широко распахивает окно.

— Не вы открывали, без вас и закроют.

На лице у парня короткая растерянность. В его серых живых глазах вспыхивает острый огонек.

— Девчата замерзли! Вы понимаете?

— Замерзли — пусть дома сидят. В ресторан, как и в монастырь, со своим уставом не ходят.

— Ну, знаете!..

Сделав почти фехтовальный выпад, парень с треском захлопывает окно. Горбатюк резким рывком его открывает. Молодежь за столом оборачивается в их сторону.

— Игорь, хватит! Нам уже не холодно.

— Игорь! Игорь! Оставь ты. Мы сейчас пойдем! — вскочив, зовет друга Эрна.

Игорь сквозь зубы бросает что-то оскорбительное и возвращается за свой стол. Горбатюк, удушливо сопя, садится на место. Хватается за сигарету. Руки у него дрожат.

— Видел? — кивает он мне. — Видел, что делается? Пацан, молоко на губах не обсохло, а гляди ты! Нахальство какое!

Он прикуривает, бросает на пол спичку, на стол — коробку.

— Распустились, умники. Как те в войну. Старший который, так помалкивает или просит дать искупить вину в бою. А попадется лейтенант, только из училища, на губе пушок, а уже философию разводит. Как же — десятилетку закончил! То оружие ему не нравится. То приказ неправильный. Наглецы!..

Я поглядываю на его заметно помятое жизнью лицо, морщинистую короткую шею. В глубоко упрятанных под бровями глазах зло поблескивает что-то, не то испуганное, не то нагловатое. Отражение какой-то затаенной мысли блуждает в их глубине. Я не хочу думать об этом человеке предвзято. Но я не вижу в нем и того, что хотелось бы видеть, — ни тени сожаления, раскаяния, отражения передуманного и пережитого. Передо мной с обиженным видом сидит обозленный мужчина, который не намерен ни в чем отступать. И от этого его упрямства у меня потихоньку накипает гнев. С усилием я борюсь с собой. Надо быть спокойным. Мое оружие теперь — только логика, она мне послужит верно, ибо я — прав.

— Скажите, Горбатюк! А вы убили на войне хоть одного фашиста? — спрашиваю я спокойно, насколько мне это удается.

— Я? А зачем? Зачем мне их было убивать? Это не мое дело. В двадцатое столетие — полное разделение труда. В том числе и на войне. Кому бежать в атаку, кому стрелять из пушки. Кому летать в небе. А другой всю войну просидел за столом в штабах или варил сталь. У каждого свое дело.

— Ваше было — судить.

— Ну и что ж? Судил.

— Несчастных за плен? Командиров — за невзятие высот и деревень? Лейтенантов — за разговоры. За выдуманный контакт с врагом? За ночлег в одной деревне?

Я почти кричу. Что-то в моем поведении его, видимо, насторожило. Он оглядывается и кривит в гримасе губы:

— Случалось. Судили и за это.

— А теперь вы не раскаиваетесь?

Он вскидывает голову. В глазах его ненависть.

— В чем?

Мы уже оба кричим. За соседним столом оборачиваются в нашу сторону. В другом ряду оглядываются офицеры. А перед моими глазами — снова чадный туман. Я вскакиваю из-за стола. Он откидывается на стуле. Сердце мое делает несколько пропусков, затем судорожных сильных ударов. В груди знакомая пустота и слабость. Зал шатается. Я хватаюсь за грудь и, задевая стулья, торопливо шагаю к выходу.

Возле швейцара одеваются двое молодых. Он бережно прикрывает ее плечи плащом. Она нежно улыбается в трюмо, и я падаю рядом на стул. Пол плывет из-под ног, стены шатаются. Сердце редкими, сильными ударами бьется в груди.

Старый швейцар облокачивается на стойку и с презрительным осуждением смотрит на меня. Я понимаю его молчаливый упрек и думаю: как глупо все это! И отвратительно. Не хватает разве свалиться и оказаться в больнице. Скажут, от перепоя.

— У вас, случайно, валидола нет?

Швейцар, прежде чем ответить, вздыхает.

— Зачем он тут мне? Ресторан — не больница, — ворчит он. — Надо пить, да знать меру.

— Не в питье дело, отец. Вот... понервничал.

— Нервы! Теперь все нервные стали, — смягчаясь, ворчит старик и направляется в угол. Вряд ли он верит мне, но все же возвращается к стойке с какой-то бумажкой. Неторопливо разворачивает ее и прокуренными до желтизны пальцами достает беленький круглячок таблетки.

— Что это?

— А ты глотни. Поможет, если что...

Подумав, я глотаю таблетку. Во рту остается неприятный металлический привкус.

— Ну как? — спрашивает он спустя некоторое время.

— Немного проходит. Сердце, знаете...

— Эх, сердце, сердце! — с мудрой старческой рассудительностью ворчит швейцар. — Сердце, оно — мотор. Испортилось — и с ног долой. Не бережете вы, молодые, сердца.

— Не такое время, чтобы беречь.

— Не такое? А какое же вам еще нужно время? Деньги есть, квартиры государство дает. Должности. Почет. Что вам еще надо? Какого рожна не хватает? Мы, бывало, в ваши годы — лишь бы поесть вволю. А вы?

— Видите ли, к еде вволю хочется еще и справедливости.

— Справедливости? — с иронией переспрашивает швейцар и упирается в меня маловыразительным взглядом выцветших, немало повидавших на веку глаз. — Вон побледнел как. В поту.

Вот тебе и справедливость. Ты возле окна сядь. На ветерке лучше будет.

Я пересаживаюсь к окну. Фрамуга немного приоткрыта. Ночной ветер шевелит занавеску. За окном где-то неподалеку на путях сипло пыхтит паровозик. На запасных — длинные составы зеленых вагонов. Несколько женщин со шлангом моют их блестящие железные бока. На виадуке торопятся редкие пешеходы. По ту сторону станции светится длинный ряд уличных фонарей. Где-то далеко одиноким угольком в небе горит красный сигнал на заводской трубе.

Глава двадцать шестая

Залитая лунным сиянием степь. Грохот танков, смрад от двигателей, колючий ветер в лицо и — тепло. Да, тепло. Правда, греет больше у ног, где поддувает нефтяным духом сквозь жалюзи. И все же рай! Надо только держаться, чтоб не свалиться от мягкой, но размашистой танковой качки.

И мы держимся за башню, вцепившись в ее настывшие поручни. На моих коленях лежит голова Юрки. Я одной рукой придерживаю ее; немец же, пристроившись сбоку, занят собственными заботами и безразличен ко всем нам. Возле него, у самой башни, сидит Сахно. На боках и закрылках танка какие-то ящики (наверно, снаряды), рядом со мной скользкое окоренное бревно. Следом грохочет второй танк. Там Катя. Ее плотная фигурка едва высовывается из-за башни. Кажется, нам наконец повезло — теперь-то уж вырвемся.

Но мы несколько отстали от головной колонны и быстро нагоняем ее. Морозный ветер обжигает лица. Небо вверху ярко сверкает мириадами звезд, и в их гущине во всю силу светит луна. Резкие синие тени от придорожных столбов перечеркивают обе колеи. Вокруг видно далеко-далеко. Позади остались немцы — на горизонте то и дело взлетают в ночь стремительные молнии трасс. Там бой. Там те, что по приказу полковника остались на буфе, чтобы дать нам возможность вырваться из беды. Только куда? Кажется, мы едем дальше на запад, не в свой тыл, а туда — глубже, в немецкий.

Это, конечно, не очень радует. Но я не хочу думать плохо. Там, впереди, — войска, мощь боевых частей, начальство, там не дадут пропасть. Правда, сзади, пожалуй, не отстанут от нас и немцы. Им, окруженным, также надо прорываться туда, на запад.

Я отворачиваюсь от встречного ветра, глубже в воротник втягиваю забинтованную голову. Но в таком положении мешает за спиной карабин. Я снимаю его и с тоской в душе вглядываюсь в далекие приметы боя, что сверкают в ночной тишине. Только мы все же отдаляемся от того злополучного села. Мощно ревя на подъеме, танки обходят степную балку, проскакивают клин полегшего, не убранного осенью подсолнуха. Искры-трассеры вдали постепенно исчезают, лишь изредка короткая очередь невысоко взлетит над горизонтом и тут же погаснет. Кругом спокойно, и все было бы хорошо, если б не Юрка. Он без сознания. Я плотнее прикрываю его полушубком. Тело его кажется неуклюжим и длинным, сапоги едва не достают выхлопных труб. В качке того и жди — может сползти и свалиться в снег. Хоть бы живым довезти его до какого-нибудь санбата. Хоть бы успеть! Наш танк нагоняет колонну машин, качка и толчки становятся умереннее.

Неожиданно ко мне наклоняется и что-то говорит Сахно.

— Что?

— Говорю, приедем, пойдете со мной! — громче кричит он прямо в лицо.

— Куда?

— Не важно. Куда прикажу.

Вот тебе и радость! Не успели вырваться из одной беды, как в перспективе маячит новая. И странное дело — эти скупые слова Сахно впечатляют тут куда больше, чем все его угрозы там, под носом у немцев. Тут он — сила, а я — маленький винтик, тут уже не пошлешь его куда не следует — должен подчиняться.

Я сижу, прислонившись плечом к шершавому боку башни, и поглядываю в заросли подсолнуха, что снова обступают дорогу. Напряжение мое спадает, и я чувствую себя совершенно измотанным за эти сутки. Ноги согрелись, и в раненой стопе будто

шевелятся муравьи: зашлась или отходит — не сразу и поймешь. Зато чертовски мерзнет рука на башне. Я хочу погреть ее за пазухой, но не успеваю расстегнуть крючок шинели, как громовой взрыв раскалывает землю. Танк становится на дыбы и на мгновение словно зависает в воздухе. Какая-то бешеная сила подхватывает меня с брони и швыряет в снежную пропасть.

В первую секунду я не понимаю, что произошло, и, только почувствовав под собой землю, догадываюсь: мина?! Затем, выплюнув изо рта хлопья снега, вскакиваю среди стеблей подсолнуха на колени и снова падаю... На дороге, сбоку от нее и еще где-то впереди ночную тьму разрывают огненно-красные взрывы.

Гр-р-р-рах! Гр-рах! Грах-х-х-х!..

Нет, это не мина... Но тогда что? Откуда? Почему? В горячке я никак не могу чего-то сообразить. Я только чувствую: влопались!

Снова в следующее мгновение меня пронизывают страх за Юрку. Спотыкаясь о комья, я бросаюсь к танку. Он стоит наискось дороги. На башне живо мелькает чья-то фигура — кто-то будто выскакивает через люк. И вдруг в трехсекундную паузу до слуха моего доносится тяжелый, густой гул.

Бомбежка...

Худшего не придумаешь! Такая светлая ночь. В снежной степи видна каждая былинка, а тут, на дороге, — танки. Хотя — ясное дело, чего еще было ждать? На что надеяться? Все очень просто, иначе и не могло случиться...

В тревоге я добегаю до танка. Обсыпанный снегом, он все же уцелел. Сверху на прежнем месте раскинутые ноги Юрки. «Неживой!» — пугаюсь я и бросаюсь к борту, чтобы залезть наверх, но тут же едва не падаю, споткнувшись о немца. Тот корчится на земле, прижавшись к опорным каткам, обхватив голову руками. Будто на мертвеца, наступив на его спину, я взваливаюсь грудью на танк.

Вверху опять обвальный грохот и визг. Но в звездной черноте неба решительно ничего не видно. Я ужасаюсь, что не успею, и глупо кричу немцу:

— Фриц! Фриц!..

Он понимает и сразу же вскакивает. Я хватаю за плечи Юрку. Немец, протянув снизу длинные руки, принимает на них Юркино тело. Оба они сразу же падают на снег. Землю сотрясают мощные бомбовые взрывы. Я не успеваю соскочить с танка, как самый ближний из них швыряет меня в яркую, на полнеба огненную бездну, и я оказываюсь где-то в снегу. Однако тут же чувствую: цел и на этот раз. Сразу вскакиваю на четвереньки. Только почему-то ничего не вижу — ни танка, ни Юрки. В глазах багровая слепота,

заслонившая собой весь мир. На минуту я вовсе теряюсь, не понимая, что со мной и где я.

Руками отчаянно гребу снег, хватаюсь за мерзлые стебли, куда-то ползу. В рукавах до локтей снег, снег и за воротником, в ушах…

Новые взрывы снова укладывают меня ничком. Снежным пластом заваливает спину, голову, ноги. Но я жив и снова вскакиваю на колени. Ничего не видя, верчусь на снегу меж взрывами, не зная, куда податься. И вдруг из темноты прорезывается что-то яркое и острое — какой-то огонь… Ага, это горит танк. Нет, не наш, дальше на дороге. Багровый мрак перед моими глазами постепенно редеет. Я вижу забросанный землей снег, черное небо и знакомый силуэт нашего танка. С внезапным облегчением бросаюсь к двум ближним фигурам — к немцу и распластанному на дороге Юрке.

Юрка лежит на боку. Я запахиваю на нем полы шинели и рывком передвигаю его отяжелевшее тело ближе к гусенице. Потом, припав к нему, пережидаю новую серию взрывов. Они продолжаются вечность. Я жду, подавив в себе все чувства — и страх, и надежду, призвав на помощь только одно — выдержку. И взрывы, даже не верится, будто стихают. Задыхаясь от тротиловой вони, я несколько секунд жадно хватаю ртом воздух и жду нового визга. Но его почему-то нет. Пауза увеличивается, в ушах усиливается звон. Я не могу сообразить — то ли это тишина, то ли я оглох… Но вот впереди доносятся неясные голоса, брань — кажется, там что-то кричат или, может, командуют. Танк рядом, словно живое существо, вздрагивает. Ехать?

Я вскрикиваю. Немец сноровисто вскакивает на танк. Напрягшись изо всех сил, я поднимаю Юрку. Немец с натугой взволакивает его за воротник на броню.

И тут танк, резко взревев мотором, срывается с места.

Обида и злость, свившись в клубок, однако, придают мне силы. Танк проскакивает мимо, но я в последнее мгновение бросаюсь сзади в горячие струи его выхлопов. К счастью, под руки попадает петля троса, и я хватаюсь за нее. Но она вдруг подается и вытягивается. Я тяжело сползаю с брони и какое-то время отчаянно волочусь в дымной трескотне выхлопов. Я хочу крикнуть, но в грохоте дизеля не слышу даже своего голоса. И вдруг вверху — согнутая фигура немца. Он наклоняется и с силой подхватывает меня под мышку. С его помощью я взбираюсь на танк и распластываюсь на жалюзях.

Немец молча перебирается к башне, я остаюсь лежать. Мне как никогда за сегодняшний день хочется кричать и ругаться: что же это делается? Но я молчу. Я чувствую, как мной овладевает

безразличие. Ко всему. И так соблазнительно поддаться ему. Сахно, кажется, тут уже нет, видно, достукался. Черт с ним: у меня ни радости от того, ни горя. Мне все осточертели, и немец тоже. Остается один только Юрка. Он лежит рядом. Его голова бьется об угол запорошенного снегом ящика. Немного отдышавшись на броне, я с особой остротой чувствую, что Юрка — моя извечная боль и моя забота. Роднее его у меня нет никого на свете. Встав на колени, я пододвигаю его к башне и в какой-то необыкновенно обостренной к нему чуткости догадываюсь: он стонет. Значит, еще живой.

Это меня вдруг обнадеживает. Слишком дорогой душевной ценой оплачена его жизнь, чтобы так скоро согласиться на его смерть. Я наклоняюсь над Юркой, веки его вздрагивают, и серое, восковое лицо оживает.

— Юрка!.. Юрочка!.. Юр!.. — кричу я, не зная, что сказать, чем утешить его. Но я вижу: он узнает меня, только не улыбается, как прежде, а скашивает взгляд в сторону и секунд пять, будто силясь припомнить что-то, глядит на луну. Губы его тихо шевелятся, я низко наклоняюсь, — кажется, он о чем-то спрашивает.

— Все хорошо! Все хорошо, Юра! Скоро приедем! Скоро! Потерпи, браток!..

— ...куда?

— Куда едем? В госпиталь, Юра! В Знаменку! Там армейский госпиталь, ты же знаешь! — отчаянно вру я.

Нас резко бросает в сторону, я хватаюсь за башню. Рядом пылает развороченный бомбой танк. Груда железного хлама перегораживает дорогу; крутыми рывками мы поспешно объезжаем ее. А там горит снег, резина, броня. В колеях перекрутились гусеницы, за канавой валяется сорванная взрывом башня. В воздухе гарь, дым, смрад. По обе стороны дороги — вывороченные глыбы мерзлой земли, и повсюду — глубокие ямы воронок. Я осторожно поглядываю в небо, не ударят ли снова? Неужто они отвязались от нас?

На башне лязгает люк. Видно, чтобы лучше видеть дорогу, оттуда вылезает черная фигура в шлеме. Человек оглядывается на огонь и кричит нам:

— Ну что? Целы?

— Целы, — отвечаю я, хоть он вряд ли слышит.

— Ну-ну! Держитесь! Это вам не пехота-матушка. Танки!

Пошел ты со своими танками, думаю я. Хорошо тебе в этом стальном ящике, а каково нам? Но я не успеваю что-либо ответить, как на башне открывается второй люк, из которого высовывается сбитая набок кубанка. Сахно?

Да, Сахно. А я уже думал, что он пропал. Но он не пропал! Он сразу окидывает нас молчаливым взглядом, будто считает, и, видно,

довольный тем, что все на месте, отворачивается, чтобы смотреть вперед.

Только долго глядеть им не приходится. Я, наверно первый, замечаю, как в звездном небе что-то мелькает, или мне кажется так. И тут же вдоль дороги в снегу снова вырастает несколько высоченных взрывов. Правда, в этот раз они слабее, чем прежде. Может, потому, что дальше? Я клюю головой о броню. Рядом размашисто лязгают люки. Танк прибавляет газу.

Как можно плотнее мы жмемся к броне. Танк бешено мчит нас, и мы едва удерживаемся наверху. А кругом начинается ад. Земля перемешивается с небом, гаснут все до единой звезды. Над дорогой, густо начиненный осколками, бушует снежно-земляной смерч. Я пластом лежу на броне, тесно прижавшись к выступу башни, и обеими руками держу Юрку. Будь что будет, лишь бы только не сбросило с танка. Пусть убивает сразу — черт с ним! Если суждено погибнуть от бомбы — не страшно. Не такая она драгоценная, наша жизнь, чтоб за нее столько бороться. Гибнут и не такие!.. Так думаю я, пожалуй, в отчаянье. И все же мучительно и страшно ждать момента, когда в твое тело врежется зазубренный стальной черепок, способный перебить рельс.

В воздухе сплошной бесконечный гром. Взрывы, грохот танков, бомбовый визг, скулеж осколков. Хорошо еще, что с одной стороны нас прикрывает башня и наша машина последняя. Достается больше передним, но перепадает и нам. Особенно с боков. На шинели летят крупные щепки от бревна. На башне с той стороны, где немец, ярко сверкает вспышка — словно замыкание в сети. Сверкает и второй раз, уже совсем рядом — возле моего плеча… С необыкновенной, почти физической осязаемостью я ощущаю ужасающую незащищенность моего тела. Как просто его пронизать, пробить, растерзать. Раз за разом осколки высекают из брони горячие искры, брызжут на нас окалиной. Но танк, молодчина, не останавливается. Он мчит по дороге, кое-где сворачивая. В одном месте обходит подбитую машину с откинутыми люками и цифрой «20» на башне. Потом вдруг тормозит. Несколько человек цепляются за борта, за трос сзади и взбираются к нам. Я боюсь, что затопчут Юрку, они и в самом деле не очень осторожничают. Один из них ранен и прижимает рукой окровавленный бок. Второй, что в расстегнутой телогрейке, ругается и, взобравшись, сразу запускает автоматную очередь в небо.

— Огонь! Всем огонь! Чего горбитесь, огонь! — кричит он на нас с немцем.

Танк бросает с боку на бок, я одной рукой снова хватаюсь за скобу на башне, а немец вместе со всеми начинает палить в небо. Я

не сразу догадываюсь, что у него — мой карабин, и удивляюсь: по своим? Хотя тут не до соображений морали, тут — бой, и надо защитить свою жизнь.

Они то беспорядочно, то залпами палят в воздух, и, видно, никому невдомек, что крайний возле них — немец. И я молчу — пусть стреляет. Теперь я не боюсь, что у него оружие. Я почти уверен: нам он плохого не сделает.

Я теряю ощущение времени и не знаю, сколько продолжается бомбежка.

И все же самолеты наконец уходят. Становится вроде тихо, и в этой тишине слышен только рев танковых моторов и стрекот гусениц. Видно, скоро утро, небо становится особенно черным. (Проклятое ночное небо, от которого мы столько натерпелись сегодня!) Три машины из двенадцати остались на дороге.

Под утро девять танков въезжают в какое-то большое, по-ночному пустынное село.

Я думаю, что мы его быстро проскочим и где-нибудь наконец присоединимся к передовым частям. Но танки почему-то сворачивают к плетням и по одному останавливаются.

Сонная глухая тишина непривычно охватывает нас. Обнадеживает и озадачивает. Что дальше?

Глава двадцать седьмая

Нас ссаживают с танков и сводят в одно место на улице. Набирается человек десять — здоровые, что ночью присоединились к нам из других частей, и раненые. В том числе трое тяжело — Юрка, автоматчик с простреленным животом и все тот же наш летчик. Странно, какой он живучий — должно быть, переживет всех! К счастью, с нами опять Катя. Грубовато покрикивая, она тут же распоряжается перенести лежачих в хату.

Остальным приказано ждать. И мы молча стоим под глухой, искромсанной углем стеной мазанки, пока от головных танков быстрым шагом к нам не подходит знакомый подполковник.

С ним рядом Сахно. Пустой рукав его полушубка слегка болтается при ходьбе.

— Ну как, орлы? Дали жару? — живо спрашивает подполковник и сам себе отвечает: — Дали, сволочи! Лучшие экипажи угробили. Значит, так: дальше пойдете сами. Утречком у нас контратака. А вы до Лелековки. Восемь километров. Ясно?

Мы все молчим. Восемь километров — немного, если здоровые ноги. А если прострелены? Да еще трое тяжелораненых?

Как их дотащить? Только о чем спрашивать — и так спасибо этому человеку за его доброту. Не оставил, как другие, — выхватил почти из огня. Теперь у танкистов свои заботы.

— Ну, ясно не ясно — ничего не попишешь. С собой я вас не возьму. Сами понимаете. Тут оставаться не советую. Утром они могут ударить снова. — Подполковник машет рукой по дороге. — Вот так: старший — этот капитан, — кивает он на Сахно, и тот переступает на снегу. — Он поведет.

Здорово! — думаю я. Как говорят, всю жизнь мечтали иметь такого старшего. Судьба или дьявол словно насмехаются над нами. Но черт с ним, пусть ведет. Командиров, к сожалению, не выбирают.

Подполковник поворачивается и скорым шагом уходит к передним машинам, которые уже заводят моторы. Сразу же они начинают срываться с мест, и вскоре мы остаемся одни. Луны в небе уже нет, вверху гаснут звезды, тускнеет неровная полоса Млечного Пути. Кажется, скоро начнет светать. Непривычно тихо и пусто становится на улице этого молчаливого села, в хатах которого кое-где слепо просвечивают окна.

Когда танковый грохот на улице глохнет, Сахно поворачивается к нашей приунывшей группе:

— Так... Все тут? Раз, два, три, четыре, пять...

— Трое тяжелых в хате, — говорит кто-то из раненых.

Сахно снова начинает считать.

— Почему это в хате? А ну всех сюда!

Несколько человек идут через улицу в хату и выволакивают оттуда двоих. В одном я еще издали узнаю Юрку. Его несут немец и танкист в телогрейке — мешковатый, плечистый парень, видно, один из немногих, кому ночью посчастливилось, потеряв танк, остаться в живых. Второго несут двое разведчиков в рваных маскхалатах, которых подполковник присоединил к нашей группе. Сзади идет Катя.

Сахно нетерпеливо шагает навстречу:

— А где третий?

— Там, — кивает на хату Катя. — Не стоит трогать.

— Это почему?

— Почему, почему... Безнадежный. Кончается.

Сахно минуту молчит, видно, что-то решает, а потом оглядывается и указывает на меня:

— А ну давайте за третьим.

— Я не могу.

— А если через «не могу»? Это приказ!

— Зачем его брать? — огрызается Катя. — Умирает человек. Для чего мучить?

— Не ваше дело. Берите раненого! — ледяным тоном приказывает Сахно, стоя в надвинутой на лоб кубанке.

Катя вполголоса кидает ему что-то обидное и возвращается во двор. За ней, прихрамывая, иду я. Скрипнув дверью, мы влезаем в хату.

Раненый, весь мокрый от пота, неподвижно лежит на кровати. Над его головой чадит коптилка. У порога кутается в полушубок испуганная, с заплаканным лицом женщина.

— Ой, диточки, ой, лышэнько! Куда ж вы йёго! Вин же таки слабы…

— А ну помоги, тетка, — безучастно к причитанию этой женщины говорит Катя и приподнимает больного. — Дайте какое-нибудь рядно.

Покопавшись в тряпье, хозяйка расстилает на полу одеяло, и мы перекладываем на него раненого. Но он раздет, весь в бинтах и без шинели. Как его нести?

— Цэ ж вин змэрзнэ, помрэ, а у йёго ж маты е дэсь, — едва не плачет женщина и скидывает с себя полушубок. — Натэ, ухутай-тэ, все тэплишэ буде.

Тетка начинает светить над головами коптилкой. Катя укутывает автоматчика в полушубок и невзначай наступает на мою неуклюже обинтованную ногу. Я едва не падаю от боли.

— Еще не отморозил? Ну так отморозишь! — твердо обещает Катя. — И гангрена еще прибавится. Жди! — И вдруг прикрикивает:
— А ну, рвани! Хватит корчиться.

Наступив ногой на рукав полушубка, она пробует его оторвать, но не справляется и бросает мне. Я рву сильнее, она придерживает, и рукав с треском отрывается.

— Ой, што вы робытэ? Што вы рвитэ мою одэжыну? Штоб вам руки одирвало, ноги пэреломало! — вдруг сварливо кричит женщина.

Катя строго прикрикивает на нее:

— Замолчите! Вам не все равно? Того жалко, а этого нет?

— Нелюдска ты людына! Лайдачка! Моя свитка, што вы наробылы?

Черт, связались еще с этой женщиной. Раскричалась, будто ее ограбили. Мне неловко, и хочется кинуть ей и рукав, и полушубок, чтоб только отвязалась. Но Катя, не обращая внимания на перепалку, приказывает:

— Вот и натягивай. Тепло и мягко будет. На морозе спасибо скажешь.

Я молчу, затаив в душе благодарность к этой огонь-девке за ее заботу. Ноге в рукаве действительно становится тепло и мягко, немного, правда, неудобно, но не беда. Главное — тепло. К боли я уже притерпелся.

Мы выносим человека на улицу, где нас ждут, и Сахно нетерпеливо подходит к Кате:

— Все?

— Все.

Капитан еще раз окидывает нас продолжительным молчаливым взглядом (наверное, считает) и, ничего не сказав, идет в ту же хату. Когда шаги его стихают на снегу, Катя опускает раненого на снег.

— Гад!

Я не спрашиваю — я уже знаю, про кого она это. Конечно, он пошел проверять, не остался ли кто-нибудь в хате. Нам он не верит. Ну и как раз кстати: там расплачется эта женщина, поднимет скандал. И действительно, вскоре вернувшись, Сахно строго объявляет:

— Вот что! Без моего разрешения в хаты не заходить! Каждый отвечает за себя и за соседа также. Раненых не покидать, что бы там ни угрожало. Населению излишне не доверять. Половина из них националисты — немцев ожидают.

— Неужто? — вполголоса сомневается кто-то сзади.

Сахно оставляет реплику без ответа.

— Если в случае припечет, живыми не сдаваться. Ясно? Оружие есть? У кого нет — я помогу. Слабонервным тоже. Вопросы будут?

— Ясно. Не на лекции. Быстрее надо, — говорит танкист.

— Это не лекция! — мрачно объявляет Сахно. — Это приказ, и я требую его исполнения.

Глава двадцать восьмая

Горбатюк выбегает из зала и в чем был, в пиджаке и без шляпы, бросается в другую дверь — к выходу. Но дверь заперта, он резко дергает ее, и тогда из-за перегородки выходит с ключом швейцар, который его выпускает.

Я недоумеваю: что там случилось? Почему он не оделся и даже не оглянулся. Возможно, и не рассчитался. Удрал, что ли? Но тогда забрал бы пальто и шляпу.

Несколько оправившись от внезапной слабости, я возвращаюсь в зал. Сразу же замечаю, как молодежь из-за стола поворачивает головы в мою сторону. Все смотрят на меня. Там же, ожидая, стоят две официантки. Когда я подхожу к своему столу, одна выдирает из блокнота страничку:

— Одиннадцать тридцать с вас.

Оказывается, он не расплатился. Я отсчитываю половину. В кармане остается трешка, как раз на дорогу. Официантка недовольно косит взглядом:

— А вы разве не вместе?

— Нет. Не вместе.

— Пить так вместе. А платить…

Она уходит, оставляя во мне отвратительное чувство униженности. Связался на свою голову. Надо было.

Садиться за этот стол мне больше не хочется. Видно, лучше уйти. Перехватив мой взгляд, из-за соседнего стола оборачивается Игорь:

— Ну и товарищ у вас! Сплошной пережиток!

— За милицией побежал, — дружески, как союзнику, улыбается мне Эрна. — Сейчас приведет. Посидите с нами.

Ах вот что! Впрочем, так оно и должно было случиться. Старая привычка взяла верх. Но черт с ним! Пусть ведет милицию. Не те времена, чтобы бояться.

— Садитесь, садитесь! — приглашают девушки и Игорь.

Я сажусь за их стол — между Эрной и блондинкой с густо начерненными ресницами. Говорить мне ничего не хочется — только слушать. Они все возбуждены происшедшим, но, кажется, нисколько не теряют своей беззаботной шутливости.

— Чуть не подрался с Игорем, — сообщает Эрна.

Соседка с другой стороны спрашивает:

— Он ваш сослуживец? Или бывший однополчанин?

— Однополчанин, — подумав, говорю я.

— Сволочь он!

Игорь привстает и тянется ко мне с бутылкой:

— Раскричался, будто я у него планки сорвал. А я не видел у него никаких планок. Разве у него были какие-нибудь планки?

— Не в планках дело.

Игорь наливает полбокала шампанского.

— Ладно, черт с ним! Пусть ведет. Давайте выпьем. А то посадят еще.

Эрна, хлопнув в ладоши, подпрыгивает на стуле:

— Ой, как здорово! Я буду тебе носить передачи, Игорешка! Медовый месяц в тюрьме!

— Полмесяца, — бросает парень в черном костюме. — Больше не дадут.

— Смотря чего. Пятнадцать суток, а может, пятнадцать лет.

— Черта с два — лет! Минулось!

Я тихо сижу, как гость на чужом пиру, и чувствую: начинаю улыбаться. Мне хорошо. А они беззаботно радуются, как дети. Хотя, конечно, давно уже не дети, особенно Игорь. Рослый, рукастый, широкий в кости мужчина. И все же мне в два раза больше, чем каждому из них. Мы — разные поколения, у нас разный жизненный

опыт, образование, да, видно, и отношение к тому, что здесь произошло. И тем не менее я их понимаю. А это главное.

— Ну так взяли! — Игорь поднимает бокал и, заметив мою нерешительность, поясняет: — Есть маленький повод: мы с Эрной женимся.

— Вот как! Ну, поздравляю!

— Благодарим! — Он левой рукой нежно склоняет к себе невесту. — В годовщину Победы. Так сказать, по семейной традиции, как дети военных родителей. У Эрны — генерал-лейтенант. У меня — просто лейтенант. Небольшая разница.

— Почти никакой, — вставляет Эрна и нетерпеливо пригубливает бокал.

Я по справедливости оцениваю ее иронию. Трепетно живое, словно ртуть, лицо этой девушки таит столько шутливой игривости, что просто не верится в серьезность их намерения.

— А где же... ваши отцы-лейтенанты? Или вы без них?

— К сожалению, без них, — коротко вздыхает Игорь и, разлив по бокалам остатки вина, садится. — Лейтенанты далеко. Ее — под Харьковом, мой в Демьянске. На вечной прописке.

Поначалу я не нахожу что ответить. Это невесело. Это даже более чем печально. Только свою печаль они, видно, давно уже пережили, и после минутной паузы Игорь поднимает бокал:

— Значит, салют!

— Ну что же! За ваше счастье, лейтенантские дети! — говорю я. Что-то светлое щемящей добротой наполняет меня. На минуту я забываю и про Сахно, и про Горбатюка, и обо всех моих сегодняшних заботах.

Все за столом выпивают. Игорь отставляет бокал и срывает обертку с конфеты.

— Только тот дурень вечер испортил. Все шло хорошо...

— Ничего. Это еще не самое худшее...

Я не успеваю закончить мысль, как рядом вскакивает блондинка:

— Вон идут! Девочки, даже двое! Задний, смотри, какой бравый! Симпатяга!

По проходу к нам быстро шагает Горбатюк. За ним, несколько приотстав, со служебной степенностью на лицах идут два милиционера в белых кителях и красных фуражках. Передний — довольно уже пожилой, с морщинистым лицом старшина, задний — действительно симпатичный малый.

Горбатюк останавливается возле стола и поворачивается к милиционерам:

— Вот, пожалуйста! Пьяные. Нахальство, хулиганство и, наконец, политические выпады. Вон тот, высокий. И этот, в черном.

Старшина милиции официально-бесстрастным взглядом окидывает всех за столом, осматривает бутылки, дольше задерживается на мне.

— Так. Прошу названных пройти с нами.

За столом вскакивает Эрна. Встают девушки и ребята.

— А мы?

— Вы можете оставаться.

— Нет. Если забирать, то всех. Я Игоря одного не пущу! — резко заявляет Эрна.

Я тоже встаю.

— Все же они — свидетели. Если уж вести, то вместе.

Горбатюк пронизывает меня ненавидящим взглядом:

— В свидетели вы не набивайтесь. Вы мне тоже ответите. За оскорбление.

— Ах, за оскорбление! Ну что ж! Я готов! Пошли!

Я первым выхожу из-за стола. За мной остальные. Младший милиционер проходит вперед. Вдоль ряда столов мы идем к двери. Со всех сторон на нас глядят люди. Откуда-то слышится:

— Достукались!

— Тунеядцы!

— Наверно, валютчики!

Подавляя в себе неловкость, мы как можно скорее проходим мимо швейцара, спускаемся по ступенькам. Передний милиционер услужливо открывает дверь, от нее испуганно шарахается в сторону женщина. Девушки позади тихо посмеиваются. Игорь выдавливает на щеках желваки. (Вообще это не смешно.) Мы выходим на площадь.

Когда-то в запасном полку я попал на гауптвахту. Попал самым нелепым образом по милости нашего взводного лейтенанта Коржа. Этот сравнительно еще молодой человек среди остальных командиров выделялся своей феноменальной строгостью. Больше, чем за все другие проступки, он преследовал за так называемые «пререкания». И надо же было случиться, что на занятиях по физподготовке, когда Корж показывал перед взводом прием на брусьях, кто-то в строю хихикнул. Корж сразу соскочил со снаряда и, окинув строй зверским взглядом, приказал:

— Рядовой Василевич! Выйти из строя!

Как и полагалось, я сделал три строевых шага и повернулся лицом к ребятам.

— За нарушение дисциплины объявляю выговор!

Мне стало смешно.

— А это не я.

— Молчать! Один наряд вне очереди.

— За что?

— Молчать! Два наряда вне очереди.

— Вы разберитесь сначала. Это не я смеялся.

— Три наряда!

— За что наряды?!

— Молчать! Сутки ареста с содержанием на гауптвахте.

Тут я впервые смолчал. Я кусал губы и глядел на него.

Он — со злобой — на меня. Оба мы понимали, что зашли в своем упрямстве далеко и кому-то надо уступать. Но я уступать не хотел. Тем более что дисциплинарные права у лейтенанта должны же были в конце концов кончиться.

И я выпалил:

— А я не боюсь.

— Двое суток!

— Хоть десять.

— Трое суток!

После этого лейтенант впервые растерянно моргнул своими белесыми глазами. Но тут же нашел выход:

— Не думайте! Не хватит своих, я у комбата займу. Я вас проучу.

И он занял. Я ни за что получил восемь суток простого ареста с содержанием на гауптвахте. Помню, шел туда без ремня, с шинелью, в сопровождении старшины, кругом стояли бойцы, и их лица расплывались от ободряюще-насмешливых улыбок. Такая же улыбка была и у меня. Никакого ощущения вины. Дурной каприз, глупый выпад взводного — и только.

Теперь совсем другое.

Во мне все кипит. Я знаю, что причин для серьезных выводов никаких нет. И я не боюсь милиции. Но сам факт этого привода возмущает до глубины души. Я вижу месть. Мелочную, глупую, подлую. И я жажду отмщения. Только до отмщения еще далеко. Еще неизвестно, как отнесутся к нам в той милиции. Неизвестно, кто там. А вдруг такой же бывший председатель трибунала?

Милиционеры проводят нас через служебный ход и останавливаются у двери с табличкой. Старшина поворачивается ко всей группе.

— Зайдете только вы, вы, вы и вы, — указывает он на меня, Игоря, парня в черном и Горбатюка. Эрна хватает Игоря за руку.

— И я тоже.

— Прошу остаться.

— Я не останусь. Он мой муж! — выпаливает она тоном, рассчитанным на то, чтобы сразить старшину.

Однако тот не повел и бровью:

— Это не важно.

— Нет, важно!

— Ну хорошо, ступайте. Остальные свободны.

Глава двадцать девятая

Мы долго бредем притихшей ночной улицей, пока выходим из села.

Тем временем настает утро. Небо окончательно растворяет в себе предрассветную синеву и яснеет. Гаснут мелкие звезды.

Из серых сумерек проступает пестрота сельской околицы. Возле моста через ручей стоит покосившийся, с открытыми люками танк, подбитый или брошенный — не разберешь. Поодаль, остро воняя разлитым на снегу бензином, валяются два мотоцикла с колясками. Еще дальше на обочине лежит конский труп с вмятой в снег гривой. У дороги несколько зияющих чернотой воронок — значит, и тут бомбили. Тут уже начинается поле, большое село кончилось. На столбе указатель с готической надписью: «Minen».

Вместе с танкистом и Катей я несу Юрку. Мой друг тихо качается на треугольной немецкой палатке и даже не стонет. Мне почему-то кажется, что он просто утомился и спит. Впрочем, мне очень хочется, чтобы было так. Пусть поспит еще, пусть! Иначе что я скажу ему, когда он очнется? Чем обнадежу его, если сам не знаю, где мы и куда держим путь.

Дорога за селом круто заворачивает по склону вверх. Намотав на руку парусиновый угол палатки и все время оберегая раненую ногу, я устало ковыляю по снегу. С другой стороны идет танкист — черный, как грач, чубатый парень в промазученной телогрейке. На его голове добротный, подбитый мехом танковый шлем с ларингофоном, провод от которого болтается на плече. Дорога на подъем разогрела танкиста, и он то и дело сдвигает шлем на затылок. А у меня уже, кажется, окоченела голова. Катя придерживает палатку сзади. Двое разведчиков впереди волокут автоматчика. Позади всех, низко согнувшись, тащит на себе беспомощного летчика немец. Это его заставил Сахно. Впрочем, иначе и не понесешь — некому. И летчик уже не требует, как прежде, убить немца, а молча обнимает забинтованными руками-культышками его длинную шею. Один только капитан налегке шагает сбоку. Но он тоже ранен, и к тому же — начальство.

Наконец, выбравшись по косогору на степной простор, небольшая наша группа останавливается. Не сговариваясь, мы кладем раненых на снег и обессиленно падаем рядом.

Сахно несколько медлит, но соглашается:

— Пять минут!

Мой напарник-танкист широко расставляет в колее свои «кирзачи» и говорит с легкой завистью:

— Строгий!

— Дурной, а не строгий, — поправляет Катя.

Лежа на боку, она заботливо укутывает Юрку полушубком. Юрка часто и молча дышит. Танкист поворачивает к ней голову:

— Ну почему? А я люблю строгих. С ними в бою уверенней.

— Недолго ты, видно, в бою пробыл, — замечает Катя.

Танкист снова поднимает разгоряченное лицо. Взгляд его как-то недовольно темнеет.

— Да уж больше тебя. Из-под самого Курска газую.

Катя хмыкает:

— Из-под Курска! Тоже вояка! Ты бы в сорок первом погазовал. Или в сорок втором. А теперь что газовать!..

— Ты уж с сорок первого!

— Вот именно! С августа сорок первого. Насмотрелась таких вас... Строгих и ласковых.

— Оно и видно! — многозначительно замечает танкист и одним глазом подмигивает мне.

Но я не разделяю его иронии — Катя в моих глазах уже прочно утвердила свои человеческие достоинства, которые не может унизить ничто из того, что он имеет в виду. И я лежу молча. В груди еще все горит от усталости, а мокрая от пота спина начинает мерзнуть. Опять же — нога. В стопе будто дергает кто-то самый болезненный нерв, нога на снегу сама собой заметно подрагивает. Пальцев я, однако, не чувствую, они мне уже стали чужими.

Проходит значительно больше пяти минут. Ребята устало сопят, развалившись на снегу. Я поглядываю вперед, где сидят двое разведчиков, и думаю: хотя бы уж скорее кончался их автоматчик. Может, это подло — желать смерти товарища, но иначе мы тут, видно, засядем. Однако там, кажется, что-то происходит. Один разведчик, поворошив бедолагу, зовет Катю:

— Эй, сестра! Глянь-ка сюда...

Катя устало поднимается и идет к разведчикам. К ним же подходит Сахно. Они там еще что-то возятся, но уже ясно: автоматчик скончался. (Надо было тащить его из села!) Рядом поворачивается в колее танкист. Даже апатичного, вконец усталого немца задевает любопытство, и он приподнимается на дороге. Что ж, может, так лучше. Бедняга автоматчик простит нас.

Однако что это время от времени гудит? Будто где-то невдалеке прогазует и стихнет мотор. В селе или дальше? Нет, пожалуй, в степи. Я всматриваюсь в кривизну сельских улиц, но ничего подозрительного там не видно. Правда, дальний конец села скрывается за поворотом балки. Не подходят ли туда немцы? Я напрягаю слух, только гул вскоре глохнет. Или это мне кажется так от переутомления?

Тем временем над селом, над широкой балкой и степью в утренней морозной дымке восходит солнце. Какое-то оно сегодня удивительно большое и красное. Просто непривычно видеть такой его ярко-багровый шар, который выкатывается из-за горизонта и не спеша движется вверх. И весь небосклон на востоке широко и густо залит какой-то мутной, слабо подсвеченной краснотой. Что-то недоброе чудится в этом сегодняшнем восходе… Нечто беспокойно-загадочное рождается вместе с днем и гнетет. Я не могу осмыслить своего предчувствия, но смутная тревога все больше охватывает меня, и я уже знаю: не к добру это. Стараясь, однако, не выдать моего беспокойства, я поглядываю на Юрку. В высоко поднятом воротнике полушубка тихо покоится его сосредоточенно-отрешенное лицо. Юрка в забытьи, и, если бы не его редкие тихие стоны, он бы выглядел почти неживым. Танкист рядом спокойно хрупает снег, будто вокруг ничего особенного не происходит. Я же прислушиваюсь к возбужденным голосам тех, что возле автоматчика, и понимаю: Сахно приказывает нести покойника дальше, а разведчики отказываются. Конечно, негоже покидать его на дороге, но и мы не железные. Я встаю и, больше, чем до сих пор, прихрамывая, подхожу к капитану. Сахно, откинув полу полушубка, засовывает в карман документы умершего.

— Надо о живых больше думать!

Капитан круто поворачивается ко мне:

— Что вы имеете в виду?

— То, что слышали. Пусть бойцы берут младшего лейтенанта.

— Вашего дружка?

— Дружка, ну и что ж? Или того, — киваю я в сторону летчика, который молча лежит возле немца.

— Что, немца жалко?

— Не жалко. А гадко.

— Ах, гадко! А я думал, жалко. Сочувствие, так сказать, — сжав квадратные челюсти, цедит Сахно. И вдруг властно приказывает разведчикам: — Взять труп!

Потные и усталые разведчики переступают с ноги на ногу. Перепачканные их халаты подпоясаны кожаными немецкими ремнями. И у одного из них возле пряжки я вижу знакомые гранаты. Так и есть: на одной чем-то острым выцарапано «М. Коваль». Я не могу сдержать своего удивления и делаю шаг к разведчику:

— Слушай, где ты их взял?

Вместо ответа разведчик почему-то дергает головой, клонится, клонится на меня и вдруг всем телом грузно валится на дорогу. В следующее мгновение, не успев удивиться, я также падаю. В воздухе над головами проносится близкая череда пуль: жви-у, жви-у, жви-у… Немцы?

Выждав десяток секунд, я всем телом круто оборачиваюсь назад. Ну конечно, мы проворонили — в селе немцы! Четыре или пять автомашин или транспортеров (а может, и танков) двигаются по улице, и с передней в нашу сторону сверкают блеклые при утреннем свете трассеры.

Поняв все, я рывком кидаюсь к Юрке. Рядом вскакивает танкист. Сразу же к нам подбегает Катя. Танкист оглядывается и матерится.

— Гад, с ума сошел, что ли? Наверно, свой…

— Свой! Нашел свояка! Держи палатку! — кричит Катя.

— Бегом! Бегом! — торопит издали Сахно (или, может, разведчик).

Мы втроем неловко хватаем Юрку, но его тело тут же соскальзывает с узкой палатки наземь. Новая очередь брызжет нам в лица снегом. Чтобы прикрыться от пуль, я резко толкаю друга в колею, где глубже, и валюсь туда сам. Когда очередь минует, подхватываю его под мышки. Рядом вскакивает танкист. Ругаясь, он помогает. Над головами снова стремительно проносится огневая струя, но мимо. Кажется, мы целы. Чувства мои притупляются, в горячке я плохо соображаю, и единственное, почти бессознательное стремление побуждает: «Быстрее!» Больше я не оглядываюсь, все мое внимание устремляется только вперед. Сахно и разведчик, пригнувшись, уже далеко бегут по дороге. За ними тащит летчика немец. Второй разведчик лежит между колеями, рядом с трупом автоматчика. Конечно, те их оставили. Но и нам некогда задерживаться — быстрей! Хотя бы шагов сто за пригорок — там бы мы укрылись.

Пули то взбивают снег под ногами, то проносятся в воздухе рядом, ветер обдает нас снежной пылью. Мы вскакиваем и сразу же падаем, но изо всех сил волочим Юрку. Наконец, в который уже раз распластавшись в колеях, видим: скрылись. Село остается за пригорком, пули идут верхом. Тогда мы расслабленно поднимаемся. Юрку у меня забирает танкист, который за воротник сильно тянет его за собой в колее. Я плетусь последним и жду: вот-вот загрохочут моторы.

Ах черт, если бы были гранаты! Как теперь нам нужны гранаты! И я ругаю себя, что не взял их у разведчика. Только как было взять?..

Впереди снежная гладь, по которой пролегает дорога. Дальше два ряда столбов, какая-то постройка — кажется, там железная дорога. Туда устало бредут Сахно и разведчик. Разведчик останавливается и, подождав, начинает помогать немцу. Юрка в надежных руках танкиста и Кати. А я уже не могу. Я достаю из-за спины карабин и ложусь в колею.

Умереть, что ли? Пожалуй, это было бы блаженством — так вот тихо закрыть глаза и умереть. Да, знаю, такая смерть — роскошь. Будет совсем по-другому: перебитые кости, разорванное тело, кровь и муки. И будет скоро — вот-вот. Как только покажутся из балки немцы.

Однако в магазине у меня четыре патрона. Я перезаряжаю карабин и начинаю ждать. Колея подо мной мелкая и широкая. Грубые следы «студебекера» полузатерты Юркиным телом. Комья снега. Следы. Лошадиный помет. Если хорошо прицелиться — я могу подстрелить пару фрицев. На большее рассчитывать трудно. Но и для этого надо отдышаться, успокоиться. Хотя бы успеть!..

Но немцы не показываются. И за пригорком ничего не слышно. Что за напасть? Уж больно они медлят. А может, им наплевать на нас? Может, повернули на другую дорогу?

Я оглядываюсь. Танкист с Катей во весь рост несут Юрку. Остальные уже возле постройки. Похоже, там переезд. Как-никак — укрытие. А значит, и жизнь.

Это вдруг обнадеживает. Возможно, и я успею. Немцев все нет. Тогда я вскакиваю и, сильно хромая, быстро иду по дороге. Карабин в который раз служит мне костылем.

Хоть бы успеть! Хоть бы успеть! — в такт шагам пульсирует мысль, и я то и дело оглядываюсь.

Глава тридцатая

Не веря, что все обошлось, я пересекаю шоссе, которое по эту сторону бежит рядом с железной дорогой, и иду к переезду. Но это не переезд, а скорее будка обходчика — кирпичное строеньице, сарайчик, штабель шпал и несколько присыпанных снегом рельсов на невысокой подставке. Шлагбаумов тут нет.

Ребята лежат в снегу за редким поломанным штакетником. Сквозь его щели торчат на дорогу два автоматных ствола. Ждут. И ругаются. Впрочем, ругается один Сахно:

— Какое вы имели право? Я вас спрашиваю!

Его сосед-разведчик, ворочаясь в снегу, запальчиво оправдывается:

— Так ведь убит! Что я, слепой, что ли? Прямо в голову.

Доковыляв до штакетника, я боком падаю возле танкиста и просовываю в дырку свой карабин. Впереди так никого и не показалось. Видно, в самом деле плевали на нас немцы. Напугали, одного угробили, тем и ограничились.

— Василевич! — зовет меня Сахно.

— Я!

— Вы убитого видели?

— Ну, видел. А что?

— А вы уверены: он убит, а не ранен?

— Я не смотрел. Вы же там стояли. Могли поинтересоваться.

Сахно минуту молчит, раздумывая. Потом решительно встает на колени.

— Вот что! — категорически объявляет он разведчику. — Сейчас же пойдете и доставите сюда труп. Поняли?

Разведчик тоже встает:

— А зачем труп?

— Чтобы я видел, что он убит! — теряя терпение, кричит вдруг Сахно. — Вы понимаете или нет? Или вам это нужно пистолетом внушить?! Ну!

Он размахивает пистолетом, и я теперь не завидую парню. Уставившись в лицо капитану, видно, понимает это и разведчик. Немного помедлив, он зло плюет в снег и, ни на кого не взглянув, идет на дорогу. Под забором остаются трое. Остальные, кажется, в будке.

— Сопляки! Разгильдяи! — бушует Сахно. — Я вам покажу, как надо выполнять приказы!

Здорово, думаю я. Видна командирская хватка. И принципиальность. Однако зачем столько крику?

Сахно стискивает, словно замыкает, свои челюсти и ложится в снег. Мы смотрим на дорогу. Разведчик быстро идет с автоматом под мышкой. Справа, где-то совсем близко, — Кировоград. В небе над ним расплываются гривы дымов. От близкой канонады мелко дрожит под нами земля. В какой стороне передний край — не понять: кажется, грохочет повсюду. Невысоко, обрушив на землю гул, проносится стая Илов — пошли на штурм. На небосклоне бледным пятном сквозь реденькую дымку блестит холодное солнце.

На дороге по-прежнему пусто.

Я начинаю мерзнуть. И голова, и нога. В овчинный рукав набилось снегу, там мокро. Беспокоит мысль: как Юрка? По такой дороге, по-видимому, досталось и ему. И тут будто в ответ на мое беспокойство из-за угла будки появляется Катя:

— Младшой! А, младшой! Друг зовет.

В скверном предчувствии замирает сердце. Я вскакиваю. Вдали вскидывает голову Сахно. В его взгляде — придирчивая строгость службиста.

— На минуту, — говорю я и ковыляю за угол.

В будке полумрак. Выбитые окна завешены каким-то тряпьем. На полу слежавшаяся солома. (Пожалуй, за эти сутки заходим сюда не мы первые.) Но тут тепло. Меня встречает пожилой, согбенный человек в черной телогрейке. В углу на соломе уныло сидит немец. Рядом на пестрой дерюжке дрожит-трясется в грязных бинтах

летчик. Немец время от времени прикрывает его шинелью. Ближе к окну смиренно вытянулся на полу мой исстрадавшийся Юрка.

— Сядь, — тихо говорит он.

Я опускаюсь подле него на солому и молчу. Я не знаю, что с ним. Не самое ли худшее?..

— Тебя там не ранило? — тихо спрашивает Юрка.

— Нет, Юра. Обошлось. А ты слышал? — спрашиваю я, затаив дыхание. Неужели он все слышал, что делалось на дороге?

— Я понимаю, — имея в виду что-то свое, говорит Юрка. — С нами возни!.. Самим столько горя! Но знаешь... Не оставляй. Очень прошу. Я-то — черт с ним... Но мать... Ты же знаешь.

Он умолкает, и мне становится легче.

— Юр! Ну что ты! — удивляюсь я, чувствуя свою неискренность. Я ведь еще не знаю, куда мы подадимся, как выберемся из этой западни. Сумеем ли вынести его живым? Не знаю почему, но моя решимость спасти его с сегодняшнего дня поколеблена. И все же я с внезапной уверенностью обещаю: — И не думай даже: не оставим!

Юрка зябко ежится и вздрагивает.

— Знобит, холера. А вообще сегодня мне лучше. Я теперь чувствую: выживу. Вчера, признаться, думал, хана. — Он виновато улыбается уголками губ и снова становится печально-серьезным. — Выбраться бы только.

— Выберемся, Юра. Тут уже недалеко. Вот немец поможет. Еще есть двое здоровых. Не беспокойся.

Я поглядываю на Катю, которая стоит сзади, и вдруг вижу кого-то на полу у стены. Прикрытый шинелью, он неподвижно лежит в тени. Только ноги в немецких, аккуратно подкованных сапогах вытянулись к порогу.

— Кто это?

— Немец, кто же еще, — говорит Катя.

— Немец, сынок, немец, — подтверждает старик, видно, хозяин этого домика. Он расслабленно шаркает от порога и садится на край топчана. Потом в раздумье снимает шапку. На белой голове топорщатся спутанные поседевшие космы.

— Откуда немец?

— Да тут вчера... Помирал на шоссе. Ну, подобрал.

Я встаю, отворачиваю край шинели. На окровавленной соломе — пожелтевшее молодое еще лицо. Полураскрытые неподвижные глаза. Худая кадыкастая шея. На погонах по офицерскому значку. Обер-лейтенант вермахта.

— Всю ночь бился. И плакал, как дитя. Нелегко отходил, не дай Бог. Теперь уже что?.. Теперь Царство Небесное.

— Ты что: у немцев служил? — зло кольнув его взглядом, спрашивает Катя.

Человек поднимает глаза и снизу вверх глядит на нее с упреком:

— Почему так говоришь, дочка?

— Больно уж жалостливый.

— Может, и жалостливый. А немцам я не служил. Я работал. Двадцать лет в этих местах работал на железной дороге, — обиженно говорит человек. — Себя кормил. Невестку с детьми да еще ваших двоих в сорок первом выхаживал. Пока раны затянулись. Что же, сам солдатом был. В ту, николаевскую, натерпелся лиха. В плену у них был. Знаю.

— А этот? — киваю я на труп под шинелью.

— А что этот? Когда умирал — Бога вспоминать стал. Гота по-ихнему. Перед кончиной-то. Смерть, она всех уравнивает. Теперь он человек просто. Покойник.

— Очеловечишь его! — говорит Катя. — Мало ты, наверно, повидал их!

— Да уж сколько пришлось, — ворчит старик, и потрескавшиеся его руки свиваются в узел.

Мне кажется, что у немца на ремне оружие. Нагнувшись, я дергаю за язычок кобуры — действительно, там маленький вороненый пистолет. На боку надпись какой-то бельгийской фирмы. Удивительно удобная рукоятка, словно вливается в ладонь. Остальное меня мало интересует, а оружие пригодится. Тем более что магазин полон патронов. Ударом ладони я загоняю магазин в рукоятку и ловлю на себе взгляд Юрки.

— У тебя есть? Нету? На, возьми, — говорю я. — Пусть будет.

Юрка ослабевшей рукой берет пистолет. Но в его глазах уже нет и капельки интереса, обычного в таких случаях. Я уже заметил, что за время ранения во взгляде моего друга появилось что-то новое, неведомое мне прежде. Какая-то отчужденная настороженность все настойчивее овладевает им, делая почти неузнаваемым такого знакомого и привычного мне Юрку. Это огорчает и как-то невольно начинает отстранять его от меня, и я не знаю, что говорить дальше. Недавно еще бывшее прочным единство меж нами нарушается, бессловесная связь исчезает. И я молчу. Молчит, переобуваясь на полу, Катя. Молчит старик на скамейке. И вдруг под окнами раздается оклик Сахно:

— Василевич!

Вздрогнув, я бросаюсь к двери и на пороге сталкиваюсь с Сахно. Едва не сбив меня с ног, капитан хватается за карабин.

— Дай сюда!

И бежит за угол к штакетнику.

Я выскакиваю из-за угла. Однако танкист беспечно лежит на своем месте и как-то уж очень спокойно всматривается в даль. После сумерек слепит снежная яркость, однако мне кажется, будто по полю кто-то идет. Далеко и вроде один. Тем временем Сахно быстро перезаряжает карабин и, приткнув его к штакетнику, целится. Вскоре раздается выстрел.

— Что такое?

Танкист оглядывается, и во взгляде его — ни тени тревоги. Парень кивает в степь:

— Да вон тот драпанул.

Разведчик? Ну так и есть. Далеко, под самым пригорком, шевелится одинокая белая фигура. Видно, порядком отойдя от нас, он свернул с дороги и теперь напрямик шпарит куда-то по снежной целине. Эта новость сначала обжигает меня гневом, потом сменяется удивлением — куда же он направляется? Если к немцам, то не надо было сворачивать с дороги, немцы ведь так близко в селе. Сахно стреляет опять.

— Стойте! — кричу я. — Что вы делаете?!

Капитан, не отвечая, стреляет еще, только все же далеко и попасть трудно. Разведчик, наверное услыхав его выстрелы, останавливается и раза два взмахивает над головой: мол, черта с два вы меня достанете!

— Что вы делаете? Разве он к немцам!

Сахно, как затравленный волк, оглядывается и вскакивает на ноги.

— А вы замолчите! Замолчите! — кричит он. — Вы разгильдяй! Вы разлагаете дисциплину. Я в трибунал вас передам!..

Я внутренне смеюсь. Напугал! Трибунал! Дурень ты, хочется мне сказать, но я знаю — теперь с ним лучше не связываться. Я наклоняюсь за карабином, который он одной рукой бросает мне под ноги, и отхожу. Сахно торопливо идет к помещению. На углу встречается с Катей. За ней ковыляет старик. Катя встревожена:

— Что за пальба?

Не отвечая, капитан вскидывает свой подбородок:

— А ну, собирайте монатки! Марш отсюда!

— Куда марш? Кругом немцы, — спокойно говорит Катя.

Сахно с недоумением смотрит на нее.

— Туда! Вперед! К своим! — машет он в поле.

Девушка вздыхает и отворачивается. К Сахно, кутаясь в телогрейку, подходит старик.

— Там мины, сынок. Недавно немцы раскладывали. Сам видел, тут аккурат грузовики стояли. А они по полю разносили.

Катя застегивает полушубок. Танкист, подойдя сзади, сдвигает на затылок свой шлем и прислушивается к разговору. Сахно пронизывающе смотрит на старика.

— Где край минного поля? Где обход? Будешь показывать! — приказывает Сахно.

Старик разводит руками:

— А разве ж я знаю? Сперва так видел, а потом они меня в город отвезли. Сколько они тут разбросали — леший их знает.

Наступает тягостная пауза. Слышнее становится самолетный гул. Несколько воробьев слетает с крыши на снег и проворно суетится у ног. Сахно оглядывает окрестность.

— Так, — решает он. — Раненых оставить. Немца шлепнуть. Хотя нет! Немец пойдет с нами.

Подавшись вперед, я останавливаюсь перед капитаном:

— Младшего лейтенанта также возьмем!

Мой голос дрогнул. На этот раз я ему не уступлю. И Сахно, кажется, понимает это. Строго сверкнув на меня злым взглядом, он отворачивается.

— Только при условии, что сам его понесешь.

— Помогут. Они помогут, — говорю я и умоляюще гляжу на Катю.

Та, однако, отводит свой взгляд в поле, и я обращаюсь к танкисту:

— Друг, ты же поможешь?

Танкист недовольно хмыкает:

— А я что — лошадь?

Надежда моя рушится. Я едва сдерживаю слезы. Сволочи оба! И Катя тоже. А я полагался!.. Тяжко! Страшно! Конечно, своя рубашка ближе к телу. Трусы проклятые! Ну, да черт с вами! Еще поглядим — кому повезет.

Меня душит обида и гнев. Надо было бы им что-то сказать. Но я не нахожу слов и, сдерживаясь, чтобы не закричать, бросаюсь к крыльцу.

Дверь за собой я не закрываю — теперь мне плевать на все в целом мире. Я склоняюсь над Юркой. Он с усилием поднимает запавшие веки.

— Юр, ну как ты?

— Так, ничего, — тихо, пересиливая стон, говорит он и спрашивает: — Почему выстрелы были?

Я не отвечаю.

— Юра, ты можешь? Берись как-нибудь, а?

С внезапной тревогой в глазах он послушно протягивает ко мне руки. Я поворачиваюсь боком, чтобы подставить ему плечи. В

это время в помещение неслышно входит Катя. Рядом на полу я вижу ее валенки.

— Ну как раз! Только тебе и нести! — злится она, и от этого ее тона что-то во мне расслабляется.

Катя оглядывается:

— Эй, Фриц, а ну подсоби!

— Яволь. Айн момент!

Немец с готовностью вскакивает. Я слышу, как стучат по полу его подкованные сапоги. С помощью Кати он принимает с моих плеч довольно-таки тяжелое тело Юрки. Палатки на этот раз нет, и они берут Юрку за воротник и полы полушубка. И тогда на полу вскрикивает летчик:

— А я? А меня? Бросаете? Завели в окружение и бросаете? Сволочи вы! Пехота! — дико кричит он, размахивая в воздухе руками-култышками. И вдруг истерически всхлипывает: — Братцы! Что же вы делаете! Спасите! Я же командующего возил. Я его личным шофером был. Он из вас души повытрясает! Вы слышите! Сволочи! Я не прошу!

— Ах вот что! — приостанавливаясь, говорит Катя. — Вот ты какой летчик!..

— Я не летчик! Я личный шофер командующего. Поняли? Вы меня не оставите. У меня военная тайна. Я тайну имею!

В растерянности я не знаю, что делать. Противно и странно одновременно слышать все это. Но он такой здоровенный — нам его не поднять. Впрочем, может поднимет танкист? Надо бы перенести его отсюда куда-нибудь в более подходящее место.

Мы выносим Юрку на крыльцо, и я кричу танкисту, который рядом с Сахно стоит на дворе. Оказывается, они тут все слышали.

— Эй, слышишь? Возьми!

Танкист без слов закидывает за плечо автомат, но Сахно грубо отстраняет его:

— Стой! Я сам…

И решительно протискивается мимо нас в хату.

Сгибаясь, мы выносим Юрку во двор и удобнее берем его снова втроем: я, немец, Катя. В помещении слышатся ругань и крик. И вдруг раздается выстрел.

Танкист бросается к двери и сталкивается там с Сахно. Капитан с окаменевшим лицом на ходу запихивает в кобуру ТТ. В удивлении, граничащем с испугом, мы смотрим на него.

— Вот так будет с каждым! — властно объявляет он и, заметив наши неодобрительные взгляды, кричит: — С каждым паникером и нытиком! У меня не дрогнет рука. Ясно?

Холодом пахнуло в душу — такого мы не ожидали. И все ясно чувствуем: это не пустые угрозы. Решимости у него хватит.

Сахно выходит со двора:

— Ну! Шире шаг!

Примолкнув, мы быстро идем по дороге в поле. Сзади в воротцах остается старик. Он молча смотрит нам вслед.

Глава тридцать первая

В милиции нас, видно, не ждут. Пока мы по одному проходим через узкую дверь, за столом в комнате доигрывается партия в шахматы. Играют младший лейтенант в серебряных погонах, который сидит за столом, и милиционер, стоящий сбоку. При нас они поочередно делают несколько торопливых ходов. Но до мата, пожалуй, далеко, и милиционер осторожно убирает со стола доску. Младший лейтенант встает и, хмуря светлые бровки, окидывает нас взглядом, в котором начальническая строгость борется с обычным юношеским любопытством.

— К стенке! К стенке! Не толпитесь у двери.

— Не убежим! — говорит парень в черном.

Выдерживая определенную дистанцию во взаимоотношениях, офицер сухо бросает:

— Охотно верю.

Он совсем еще молод, видно, недавний выпускник милицейского училища, но деланой строгости на его лице предостаточно. Старшина, приведший нас, становится у двери. Мы все выстраиваемся в ряд, в трех шагах от единственного тут стола, и младший лейтенант опускается на стул.

— Ну, в чем дело? Кто объяснит?

Горбатюк подходит к столу:

— Они оскорбили меня. Кроме того, планки...

— Вас мы уже слышали, — довольно решительно перебивает его офицер и кивает на меня: — Говорите вы!

— Что говорить? Планок у него не было. Я их не видел.

Младший лейтенант бросает беглые взгляды на остальных и останавливается глазами на Игоре:

— А вы что скажете?

— Я присоединяюсь к товарищу. К сожалению, не знаю фамилии.

— Так. Значит, не признаетесь. Тогда будем писать.

Он разворачивает на столе канцелярскую книгу. Из кармана кителя достает авторучку.

— Та-ак! Пишем. По порядку. Вас первым. Фамилия, имя, отчество.

— Василевич, Леонид Иванович.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцать четвертый.

Ручка его почему-то не хочет писать, царапает бумагу, и младший лейтенант стряхивает ее в сторону. На красной скатерти, заляпанной чернилами, появляется новая клякса.

— Ч-черт! Дальше?

— Ковалев Игорь Петрович. Тысяча девятьсот тридцать четвертый.

— Так. Дальше.

— Теслюк Виктор Семенович, тридцать восьмого.

Ручка офицера снова царапает, и он, повернувшись, резко стряхивает ее в этот раз над полом.

— Теслюк. Дальше?

— Фогель, Эрна Дмитриевна. Тысяча девятьсот сорок второго.

Младший лейтенант поднимает голову:

— А вы что — свидетель?

— Она ни при чем, — объявляет Горбатюк и с мрачным выражением закладывает руки за спину.

— Нет. Я при чем. Пишите и меня.

Офицер с недоверием спрашивает Горбатюка:

— Она, значит, не оскорбляла вас?

— Нет. Она нет.

Младший лейтенант колеблется, и Эрна с внезапной решимостью на лице подскакивает к столу:

— Пишите, пишите! Я еще оскорблю.

Младший лейтенант удивленно снизу вверх смотрит на нее. В черных глазах девушки протест и решимость. Офицер, не отрывая от нее взгляда, вяло стряхивает ручку.

— Фогель?

— Фогель, Эрна Дмитриевна. Тысяча девятьсот сорок второго года рождения. Так? Записали? А теперь я скажу.

Крутнувшись от стола на тоненьких каблучках, она оказывается лицом к лицу с Горбатюком:

— Вы подлец! Слышали? Подлец!

Игорь, шагнув к девушке, хватает ее за руку:

— Эрна!

— Эрна! Брось ты! — с другой стороны подскакивает к ней Теслюк.

Игорь ставит ее рядом с собой. Живое, мягко очерченное лицо девушки горит возмущением.

— А я не боюсь. Ваше счастье, что их у вас не было. Я бы их сама сорвала. Вы их недостойны. Вы провокатор!

— Вы слышите? Вы слышите, товарищ младший лейтенант? Я прошу записать! — густым басом требует Горбатюк.

Младший лейтенант вскакивает из-за стола и становится перед девушкой:

— Замолчите!

Эрна умолкает, все еще дрожа от возбуждения.

Горбатюк тычет в ее сторону пальцем и кричит офицеру:

— Вы видели? Она пьяна! Они все пьяные! Прошу записать!

— А ну, ведите себя пристойно. Тут не ресторан, — строго приказывает младший лейтенант.

Эрна постепенно успокаивается. Обхватив ее за плечо, Игорь приближает девушку к себе. Я изо всех сил стараюсь сдержаться, чтобы выглядеть спокойным. Хотя чувствую: выдержки моей хватит ненадолго.

Хмуря редкие брови, младший лейтенант заходит за стол. У порога стоит милиционер. Затаив в себе гнев и неловкость, стоим мы. Один только Горбатюк в мрачном оживлении порывается к столу:

— Вот видите! Вот видите! Ведь это — прямые выпады! Да! Да! Правительственные награды есть акт Советского правительства. А она что сказала? Попрошу все записать. Я эти награды заслужил в боях!

— Безусловно, — нарушает напряженное молчание офицер. — Никто не дал права оскорблять то, что заслужено на фронтах Великой Отечественной войны.

Со сдержанной строгостью, которая вовсе не идет к его молодому лицу, он садится. Еще раз бросив осуждающий взгляд на Эрну, сильно встряхивает ручку.

— Ну, не все, что блестит на груди, в бою заслужено, — говорит в тишине Теслюк. Этот парень все время держится как-то удивительно ровно и спокойно. На его полных симпатичных губах, кажется, постоянно блуждает добродушная улыбка. Будто все, что тут происходит, его ничуть не касается.

Младший лейтенант замирает с занесенной над бумагой ручкой:

— Вы не мудрите мне тут.

— А я не мудрю, — во все свое кругловатое лицо улыбается парень. — У меня дядя — отцов брат — подполковник в отставке. Всю войну просидел в Архангельске в военном училище. Фронта и не нюхал, а уволился — четыре ордена.

Младший лейтенант недоверчиво хмыкает:

— Расскажите это кому-нибудь другому.

— Вполне вероятно, — говорю я. — Может и так быть.

— Бувае, — поддерживает меня старшина. Он прислоняется к стене и достает портсигар.

— Факт! — говорит Теслюк. — За выслугу лет и безупречную службу.

Младший лейтенант кладет на стол ручку и поворачивается к старшине:

— Прохоренко, у тебя «Шипка»? Дай-ка одну.

Он разминает конец сигареты и, будто раздумывая о чем-то, продолжает осматривать нас. Мы все уставились в него. Теперь он — наш бог, властелин нашей судьбы. И мы уже чувствуем в его недавней настроенности против нас маленькую щербинку.

Старшина Прохоренко тем временем закуривает сигарету и сдвигает на ухо фуражку. Его грубое немолодое лицо расплывается в добродушной ухмылке.

— В тылу их билын давалы, ниж на фронти, — рассудительно говорит он. — Я пришов з армии у сорок девятому роцы и имев тры мидали. А суседка Гануся на буряках запрацювала тры ордены Ленина. За тры роки — три ордены. Билын, ниж наш командир полка. Бурячки родили, от начальство и не обижало. И ей вишалы, и соби. А ей не ордэны трэба було давать, а стреху видрамантуваты. А то стреху я рамантував. Тры рокы текла.

Горбатюк круто поворачивается к старшине:

— Это не ваше дело.

— Почему ж не наше? Наше.

— Если не наше, то чье? — говорю я с вызовом. — Это что, справедливо, по-вашему, когда у звеньевой орденов полна грудь, а крыша дырявая?

Горбатюк, гляжу, вызов принимает. Глаза его загораются недобрым огнем:

— Да, справедливо! Если правительство и ЦК считают, что у звеньевой должны быть ордена, то справедливо.

— Вы за высокие слова не прячьтесь! — говорит Игорь.

Я наседаю дальше:

— А когда сажали в тридцать седьмом, вы тоже считали это справедливым?

— А это не нашего ума дело! — трясет головой Горбатюк и сам начинает дрожать. — То была государственная политика. Что в ней не так — партия поправила.

За столом снова вскакивает младший лейтенант:

— Прекратить эти разговоры! Прекратить сейчас же!

Он раскраснелся и волнуется. Я также волнуюсь. И все же жалко, что нам не дают тут скрестить шпаги как следует. Я бы вывел его на чистую воду.

— Товарищ младший лейтенант! Я попрошу это записать в протокол! — тычет пальцем в бумаги Горбатюк. Красное, вспотевшее его лицо пышет возмущением.

— Запишем! А как же? Это так не пройдет! — с угрозой говорит младший лейтенант и начинает торопливо излагать на бумаге нашу стычку.

Горбатюк с мстительной важностью поджимает губы. Похоже, что он победил.

— Сволочь ты, Горбатюк! — говорю я с едва сдерживаемой яростью.

— Гад! — поддерживает меня Игорь. Его глаза полны презрения к этому человеку.

Горбатюк хочет что-то ответить, но сзади через широко открытую дверь в комнату входят двое. Оба офицеры милиции.

— Э! Что за грубость? Молодые люди! По какому поводу?

Лейтенант за столом вскакивает и отдает честь:

— Товарищ капитан!..

— Так, что случилось? — миролюбиво спрашивает капитан и снимает фуражку. Потом, приглаживая редкие волосы, поворачивается ко мне: — По какому праву вы обругали этого гражданина?

— По праву фронтовика! — говорю я слишком твердо и, возможно, чересчур возбужденно.

Но благодушно настроенный капитан на мой ответ никак не реагирует. Он переводит взгляд на Игоря.

— А вы, молодой человек, по какому праву? Вы-то уж, пожалуй, не фронтовик?

Серые глаза Игоря становятся жесткими, тугие скулы выпирают еще больше.

— Я сын фронтовика.

Капитан сцепляет на животе пальцы рук и поворачивается к Горбатюку:

— Ну да ведь и вы-то, наверно, фронтовик?

Горбатюк подбирается всей своей довольно осевшей фигурой:

— Так точно. Гвардии майор запаса.

— Ай-яй-яй! — притворно сожалеет капитан. — Товарищи фронтовики! В День Победы и такие оскорбления! Как вам не стыдно! Что у вас такое случилось? А ну, Семенов, дай-ка протокол.

Младший лейтенант подает лист бумаги и с важностью поясняет:

— Политические выпады, товарищ капитан.

— Так, так, так… Так, — приговаривает капитан и быстро пробегает глазами по строкам протокола. — Так! Гм! Да глупости это все! Чепуха! Глупая ссора. Курам на смех…

Младший лейтенант хмурится и смущенно краснеет.

— И такими пустяками вы морочите мне голову? — наконец спрашивает у него капитан. — Пустячное дело. Согласен, Семенов?

— Так точно. Я думал…

Поскрипывая новыми сапогами, капитан проходит вдоль нашего притихшего ряда.

— Ну что вы, как дети? Ай-яй-яй! Фронтовики! Стоит ли сводить старые счеты? Да в такой день? Мало ли что, может, и было в войну. Так стоит ли вспоминать? Столько лет! Миритесь и — с Богом. Даже протокола писать не будем.

— Нет! Пишите. Раз мы тут оказались, то все пишите, — говорю я.

Меня поддерживает Игорь:

— У нас не ссора. Мы принципиально.

Капитан подходит к нему и останавливается:

— Бросьте вы! Какие там принципы! Ну, выпили и поспорили. Завтра проспитесь — самим стыдно будет.

— Мы не пьяные.

— Ну тогда просто вы злые. Молоды и злы… Ай-яй…

— Мы не злые! — говорит Эрна. — Мы за справедливость! Должна же быть хотя бы элементарная справедливость.

— Справедливость? Это похвально. Почему же тогда вы оскорбили этого гражданина? Он же вам в отцы годится.

— Не обо мне разговор! — со страдальческим оттенком в голосе отзывается от порога Горбатюк. — Я докладывал и просил записать: они допустили выпады против органов.

Капитан умолкает и, осторожно шагая блестящими сапогами, направляется к Горбатюку:

— Каких именно органов?

— Органов! — твердо произносит Горбатюк. — Вы понимаете каких.

— Враки, — говорю я. — Этого не было.

Капитан останавливается посреди комнаты. Губы его строго поджимаются.

— Нет, было! — горячится Горбатюк. — Я не могу тут при всех повторить, что он говорил в ресторане. Но я напишу. Если вы не примете соответствующих мер, я напишу куда следует.

Капитан делается строгим. Добродушный его тон меняется на отрывистый:

— Свидетели есть?

— Я свидетель! Я человек особого доверия. Этого достаточно.

— Вы ошибаетесь, гражданин. Этого недостаточно. Не те времена.

Мною овладевает злорадство. Ага — правда за нами. Черта с два он нас проглотит! Подавится! Он только играет на нервах. Проклятый бериевский рудимент. Из какой только щели он выполз?

Прилив гнева и решимости подхватывает меня из ряда и толкает к злому, раскричавшемуся Горбатюку.

— Слышал? Не те времена! Ты немного опоздал, провокатор! Я едва владею собой. До боли в орбитах округляются мои глаза. И сжимаются кулаки. Сзади кричит младший лейтенант:

— Гражданин! Прекратить! Сейчас же отойдите на место!

Но потное лицо Горбатюка также в ярости. С ненавистью он подскакивает ко мне:

— Возможно! Твое счастье. Я опоздал! А то бы я сломал тебе хребет! Не таким ломал. Жалко, мало! Не всем. Остались…

Мои кулаки становятся вдруг тяжелыми. В глазах туман, и в этом тумане не Горбатюк — Сахно. Сзади требовательный, суровый окрик, которого я уже не слушаю. Кто-то подскакивает сбоку, чтоб схватить меня за руку, но я опережаю и, подавшись всем корпусом, бью его в челюсть.

Дальше — крик, визг. Горбатюк бросается на меня. Но его уже хватают. Меня схватили за руки раньше. Возле плеча нахмуренное лицо старшины. Я не вырываюсь. Я его больше не ударю. Это один раз. И — странно — мне становится легче. Я быстро успокаиваюсь. Рядом слышу одобрительное «правильно». Это Эрна.

А он еще рвется из милицейских рук. Но напрасно. Хлопцы держат крепко.

— Это безобразие! Дайте мне начальника отделения! Я буду жаловаться!

Молодежь возле стенки оживляется.

— Сколько влезет!

— Ведь труп же! Воняет, а не выносят. Почему их терпят? Почему так долго не выносят? — быстро говорит Эрна.

— Надеются, что сами выползут! — отвечает ей Теслюк. Горбатюка сажают в угол на табуретку. Его держит молодой милиционер. Капитан строго обращается к молодежи:

— А ну, марш отсюда!

И ко мне:

— А вы останьтесь. Мы вас оформим.

Хлопцы и Эрна нерешительно топчутся у стены, с сочувствием поглядывая на меня.

Капитан повышает голос:

— Вам ясно или нет? Освобождайте мне помещение! Живо! С его лица исчезает и след недавнего благодушия. Теперь это лицо не обещает добра. Но это уже касается только меня.

— Ладно, счастливо, — говорю я ребятам и Эрне.

Игорь первый делает шаг в мою сторону:

— Дайте вашу руку.

Он молча и твердо жмет мне пальцы и отходит. Эрна, улыбаясь, подает мягкую теплую ладошку:

— Не бойтесь!

— Пустяки! Я не боюсь. Счастливо вам!

С заметным облегчением они пропускают Эрну и закрывают за собой дверь. В комнате сразу становится просторнее. За стол садится капитан. Сосредоточенно прикуривает от зажигалки. Подвигает к себе бумагу.

— Ну, фронтовички! Подали пример молодежи! Очень красиво! Что ж, теперь я разберусь с вами.

Глава тридцать вторая

«Minen» — предупреждает надпись на доске, прибитой к палке, торчащей на краю дороги. Надпись не сняли — значит, наших тут не ждали, мы первые. Это, конечно, хорошего не сулит. Но танковые части все же где-то прошли. О том свидетельствует грохот боя, который слышится впереди. Там же, низко над горизонтом, вьется карусель Илов, которые штурмуют немцев. Слева, далеко за балкой, видны длинные приземистые строения пригородного совхоза. Под их стенами — машины и повозки. Там немцы. Мы останавливаемся, кладем на снег Юрку. Сахно выдергивает из снега палку, ногой отрывает от нее доску, которую швыряет в снег. Затем с палкой в руке поворачивается к нам.

— Так! Пойдем через минное поле! — решает он и по очереди, будто испытывая, исподлобья оглядывает каждого.

Катя вскидывает голову:

— Вы в своем уме?

— Не ваше дело. Я с вами не шучу. Я приказываю! — уставившись в дорогу, мрачно объявляет Сахно. — А если кто дрейфит, говорите сразу. Я найду другой выход.

Мы все молчим. Я не совсем понимаю его. Если бы он отправлял нас одних, то все было бы ясно. Но ведь по минному полю придется идти и самому.

— Пошли вы к черту! — в гневе кричит Катя. — Вы же всех поугробите! И раненых. С ума вы сошли!..

Сахно терпеливо выслушивает Катю, стоя вполоборота к ней, и брови его оседают все ниже.

— Я приказываю, а не советую. А в армии полагается подчиняться. Опять же, кроме как через мины, дороги у нас нет. Немцам живыми я вас не оставлю.

В глазах его железная твердость. Набычив голову, он пронизывает Катю острым, недобрым взглядом.

— Почему это немцам? Если оставлять, то обязательно немцам? — говорит Катя.

Сахно, сжав челюсти, что-то обдумывает. Наступает мучительная пауза, и, чтобы разрядить ее, я говорю:

— А не подорвемся?

Сахно отвечает не сразу:

— Подорвется один — вперед пойдет другой. А вы как думали?

Самонадеянности у него с избытком. Будто перед нами не минное поле, а учебный плац. Но что делать — податься больше в действительности некуда: с трех сторон немцы. Авось проскочим. Капитан тем временем, бережно держа за пазухой раненую руку, поворачивается к нам:

— Ну! Кто первый?

Мы притихли и молчим. Глядим каждый себе под ноги. Одна Катя, нисколько не теряясь, злым взглядом меряет немца:

— Если так, пусть фриц! Их мины. Пусть по ним и топает.

Сахно несогласно бьет палкой по снегу:

— Ну да! Фриц тебя заведет!

Может, и так. Может, и заведет. Или бросится наутек. Догоняй тогда по минам. Может, и вправду пускать его первым нельзя. Но тогда кого? Не Катю же! И не меня. У меня нога сразу две мины зацепит. Остается танкист.

Исподлобья я тайком поглядываю на этого чернявого парня. Сахно же почти в упор смотрит на него. Танкист нерешительно мнется, поглядывая в сторону, но, видно, чувствует, что первым придется идти ему.

— Вот так! — говорит Сахно. — Берите палку — и марш.

Танкист вяло закидывает за спину автомат и промазученной рукой молча берет палку. Капитан, посторонившись, пропускает его вперед на снежную целину.

— Так. Дистанция пятьдесят метров. За ним пойдете вы! — тычет он в меня и прикрикивает на танкиста: — Быстрей! Не взорвешься.

Мы сворачиваем в степь, к трем скифским курганам, что возвышаются поодаль белыми шлемами. Юрка на этот раз достается Энгелю, который без приказа взваливает его на себя. Начинается поземка. Снежные пряди, вырываясь из-под ног, далеко расползаются по полю. Повсюду в степи дрожат на ветру стебли бурьяна. Невысоко в небе сквозь белесую дымку сиротливо блестит зимнее солнце. Я стараюсь идти по следам танкиста. За мной идет Катя. За ней — согнутый под тяжестью ноши немец. Сахно замыкает пятерку.

Внутри у меня все напряжено. Дыхание поверхностное — чуть-чуть. Идешь как по лезвию бритвы, как по горячим угольям. Все время надо глядеть под ноги, чтоб ступать след в след. А глаза невольно устремляются вперед, туда, к танкисту, где неизвестность

и смерть. На заметенной снегом земле действительно кое-где видны старые следы, они едва заметны. Мины же все в снегу, который тут не глубок — до щиколотки. Отличная маскировка!

Порядком отойдя от дороги, танкист останавливается и, поворошив палкой в снегу, вываливает на поверхность что-то большое и круглое. Это мина. Сзади кричит Сахно:

— Не трогай! Не трогай! Марш вперед!

— Противотанковая! — басит танкист и, пренебрежительно толкнув ногой это смертоносное колесо, идет дальше.

На сердце у нас немного отлегло. Если мины противотанковые, то еще полбеды. Под нами они не взорвутся. Если только нет противопехотных. Тогда, считай, нам повезло.

Танкист впереди, вижу, оживляется. Движения его делаются менее скованными. Видно, и у него поубавилось страху. Парень шагает шире. Я же, хромая, не могу поспевать за ним и постепенно отстаю. Но сзади меня подпирает Катя. Слишком вырвавшись вперед, танкист замечает это и останавливается.

— Шире шаг! Ни черта тут нет! — бодро говорит он издали.

Я стараюсь шагать быстрее, и вдруг все во мне обрывается.

Громовой взрыв, кажется, низвергает небо. Что-то со свистом проносится вверху. От неожиданности я приседаю, вскинув над головой руки. В сотне шагов впереди зияет черное рваное пятно на снегу.

Облако дыма и пыли, быстро редея, стелется по полю. А танкиста нет. На том месте, где он только что был, — вывороченные комья мерзлой земли и груды снега. В следующую секунду я оглядываюсь. Сзади все лежат, но, кажется, живы. Приникли к земле и замерли.

Меня обдает холодным потом. Рот полон горькой слюны. Становится тихо-тихо, и в этой тишине откуда-то из-за балки, от совхоза доносится далекая пулеметная очередь.

Первой вскакивает Катя. Снова, как и в хате, она решительно по-мужски ругается:

— Растакую твою!.. Куда завел? Куда ты нас завел, сволочь!

Сахно приподнимается на одно колено и стоит, вобрав голову в плечи.

— Вперед! — неистовым басом заглушает он крик Кати. — Вы, вперед!

— Ах, теперь я вперед? Меня гонишь! Самому страшно? Не хочется умирать? Детей жалко? Ласковой женушки?

Сахно, сжав челюсти, ждет. Катя кричит. Я молчу. По справедливости идти первым теперь надо мне. Но решиться на это непросто. И я оттягиваю время. Мне нужен приказ. Но приказ он отдает Кате. И, видно, не намерен его менять.

Не сводя осатанелого взгляда с девушки, он дрожащей рукой вырывает из кобуры пистолет.

— Гад ты! Душегуб! Думаешь, я боюсь? За себя дрожу? Догоняй, гад! — кричит Катя и срывается с места. Бегом она достигает воронки и, ни секунды не медля, бросается дальше. На сером, запорошенном землей и гарью снегу пролегает ровная цепочка ее свежих следов.

Какое-то время мы еще стоим, не в состоянии превозмочь нерешительности. Но вот из совхоза снова строчит настырная очередь. Несколько пуль, взвизгнув, прорезают воздух. Это отрезвляет, и мы живо срываемся с места.

Под пулеметный стрекот мы добегаем до неглубокой воронки. Тут мин нет. Но тут хуже, чем на снегу. Тут властвует уже не возможная, а реальная смерть. Смерть товарища. И то, что смерть досталась другому, а не тебе, теперь уж не обнадеживает. Я снова напрягаюсь, стараясь как можно ровнее ступать в Катины следы. Под ногами какой-то лоскут обмундирования, сбоку из снега торчит кость — кроваво-белая на земляной серости. Поодаль, отброшенный взрывом, валяется черный шлем танкиста. Это все, что осталось от человека. Остальное растерзано и разметано с землей и снегом.

Но Катя почти обезумела. Что она делает? Без палки, не разбирая дороги, она быстрым шагом, иногда бегом, без всякой предосторожности приближается к недалекому уже кургану. Будто ей известно, что там конец минного поля. Сахно что-то кричит ей, но она даже не оглянется. И мы идем по ее следам. Мы должны идти. Остановиться тут невозможно.

И происходит чудо. Катя целой и невредимой достигает кургана. Останавливается, поворачивается к нам и стоит. Во всей ее маленькой фигурке — вызов и укор. По полю к ней бежит спасительная для нас цепочка следов.

На сердце становится спокойнее. Я прибавляю шагу и вскоре догоняю ее. За мной спешит немец с Юркой на спине. Он уморился и прямо-таки шатается. Видно, умышленно отстав, сзади за всеми бежит Сахно.

— Разминировано! Куда дальше? — спокойно, но с оттенком недавнего гнева говорит Катя.

И мне почему-то неловко смотреть на ее покрасневшее, злое лицо. Конечно, мы виноваты перед ней, перед ее безрассудной смелостью, которой теперь обязаны жизнями. Но в этом не хочется признаться даже себе.

Минуту мы стоим рядом. Немец из-под Юрки старается взглянуть вперед. Юрка ничком распластался на его широкой спине. Серое лицо друга повернуто набок. Глаза чуть-чуть приоткрыты.

Тем временем нас настигает хмуро сосредоточенный Сахно. В пятидесяти шагах он останавливается и командует сорванным голосом:

— Василевич, вперед!

Да, теперь ничего не скажешь. Теперь должен идти я. Властная требовательность капитана полностью подчиняет меня. Я пойду.

Только куда вперед?

Приплюснутый пригорок от кургана покато спускается вниз. Из совхоза нас уже не видно. Несколько в стороне и сзади в неглубокой низине пролегает насыпь железной дороги. В насыпи чернеет круглое отверстие дорожной трубы.

— Вперед! — с пистолетом в руке яро требует Сахно.

Иду, иду. Я и сам чувствую, что надо идти! Надо вырваться из этого проклятого поля. И как можно скорее.

С еще большей, чем прежде, осторожностью я шагаю по снегу. Мой сапог грузнет до голенища. Раненая стопа в рукаве неуклюже загребает снег. Катя отправляется следом.

Сзади опять раздается голос Сахно:

— Дистанцию! Дистанцию!

Девушка огрызается, но приостанавливается, позволяя мне отойти дальше. Правда, мне вовсе не хочется отрываться от них. Как-то вместе со всеми спокойнее. Стараясь шагать как можно осторожнее, я осматриваю перед собой снег. Чужих следов тут, кажется, нет. Кое-где снег спрессован метелью до твердого наста, и я невольно выбираю ногами эти места. На них мне спокойнее и не так грузнут ноги.

Исподволь укрепляя в себе уверенность в удаче, я перехожу гривку бурьяна, в которой, тихонько пересыпаясь, шуршит снег, и оглядываюсь. Уже не видно и будки обходчика. Мы в лощине. Надо бы идти быстрее, но боль в ноге не дает шагать шире. К тому же со стопы сползает рукав. Остановившись, чтобы подтянуть его, я наклоняюсь и вдруг застываю в ужасе. Моя рука сама по себе, словно обжегшись, испуганно отдергивается. Из снега возле ноги, смертоносно напрягшись, торчат в стороны три проволочных усика. Между ними, словно шляпка гриба, выпирает из-под снега круглая зеленоватая крышка «шпрингмине».

Почувствовав, как похолодело внутри, я резко отстраняюсь. Но выпрямиться уже не успеваю. Трескучий взрыв гулко раскатывается сзади. Осколки или комья снега жестко хлещут по полам моей шинели. Я едва удерживаюсь, чтобы не опрокинуться на те предательски вытянутые усики.

Какую-то секунду затем я медлю, хотя уже знаю, что произошло страшное. Но я не могу оглянуться сразу, так как это

сверх моих сил. Смысл того, что случилось, будто издалека, медленно доходит до моего сознания. Только через какое-то время, преодолев оцепенение, я поворачиваюсь. Невдалеке с Юркой на сгорбленной спине, широко расставив ноги, стоит немец. За ним, ссутулясь, ждет чего-то Сахно. А между ними и мною корчится на снегу Катя.

Ноги мои вдруг наливаются неодолимой тяжестью. С усилием и необыкновенной осторожностью я вытягиваю из снега раненую стопу, затем сапог здоровой. Переступаю назад — след в след. Затем, высоко поднимая колени, ступаю еще. Нет, пока не рвет. Тогда, немного осмелев, бросаю взгляд на Катю. Там снова черная копоть на снегу. Комья земли. Катя, беспорядочно перебирая вокруг себя руками, кажется, пытается встать.

Меня охватывает гнев. Гнев против Сахно. Ведь это он виноват во всем. Он погубил Катю! Захлебнувшись от обиды, я порываюсь к капитану, но все мои намерения гасит Катя. Девушка судорожно поднимает навстречу свое широкое, теперь особенно некрасивое лицо. Его перекашивает гримаса боли. Зубы у нее сжаты. И внутри глохнет стон.

— Катя! Катюшенька! Катя!..

Упав перед ней на колени, я хватаю ее за плечи, потом за талию. И вдруг понимаю: ноги! Из рассеченного осколками валенка льется на снег теплая кровь. Другого валенка нет вовсе. Впрочем, нет и ноги до колена. Страшный, измочаленный взрывом мокрый обрубок. Ватные штаны и полы полушубка безжалостно иссечены осколками. Из множества дыр торчат клочья ваты и шерсти.

К нам подбегает немец. Дрожащими руками я приподнимаю девушку. Но что с ней делать? Кровь льется по моим рукам, в рукава, на шинель. Немец также беспокойно суетится и бормочет:

— Римен! Римен!

Он подает мне узкий брючный ремешок, и я понимаю: надо наложить жгут. Катя, сжав зубы и подавляя стон, закидывает голову, но молчит. Ее лицо на глазах белеет и быстро покрывается мелкими капельками пота.

Суетливыми движениями озябших рук я кое-как перетягиваю над коленом то, что осталось от ее ноги. Немец тем временем отстегивает, ремень от моего карабина. Этим ремнем мы кое-как обкручиваем вторую ногу, в валенке. Потом я вскидываю голову. Напротив, опираясь рукой о колено, стоит Сахно.

— Ну, доволен? Доволен? Ты этого хотел?

Сахно резко выпрямляется. Быстро оглядывается вокруг и молчит. Но я вижу — глаза его расширяются и как-то глупеют, теряя свое всегдашнее выражение властности. Он растерялся.

Но тут же волевым усилием он превозмогает себя и опять становится прежним — суровым и решительным.

— Замолчи! — с тихим бешенством шипит он и приказывает: — Бери Катю! Живо!

Да, пожалуй, надо уходить. Два взрыва на минном поле вряд ли остались незамеченными. И я подчиняюсь Сахно, уже зная: на мины мы больше не пойдем.

Опершись на карабин, я наклоняюсь. Сахно с немцем взваливают на меня обмякшее тело Кати. Затем они подбегают к Юрке, который покорно лежит на снегу. Его берет на себя Сахно. Я не совсем понимаю, что он задумал. Видно, не понимает этого и немец, которому капитан что-то объясняет.

Наконец догадавшись, немец налегке отбегает пол сотню шагов и оглядывается. По его следам медленно трогается Сахно.

За ним, опираясь на карабин, я.

По неглубокой впадине мы тащимся назад, к железной дороге.

Глава тридцать третья

Но за железной дорогой по шоссе движутся немцы.

Мы их не видим за насыпью, однако еще издали слышим: множество машин без конца ревет, гудит, воет моторами, сигналит — рвется из Кировограда. Они отступают. Но куда деться нам?

На счастье или на беду нам попадается труба.

Мы заползаем в ее бетонный туннель и обессиленно падаем в самом начале. Труба широкая, почти в рост человека. Внизу пласт спрессованного снега. Тут очень ветрено, пронизывающе холодно. Зато с шоссе нас не видно.

Опустившись на колени, я сваливаю с себя Катю и тут же падаю сам. Сзади на свежем снегу — мелкие пятна крови. Полы моей шинели также в подмерзшей крови. Катя просто истекает кровью. Глаза ее широко раскрыты, но зрачки все время закатываются. Ее надо перевязать. Но перевязать нечем. Санитарную сумку мы в спешке оставили в поле, на месте взрыва. Чтобы как-нибудь помочь девушке, я вконец замерзшими руками начинаю расстегивать снизу ее полушубок. Там также все в крови. Катя как-то сжимается, руками упрямо придерживает полы. Глаза ее умоляюще, почти в страхе глядят на меня.

Я снова настойчиво расстегиваю на ней полушубок, но девушка сводит колени, подтягивает их к животу и сжимается.

Я не понимаю ее и вопросительно гляжу на немца. Тот, стоя на коленях, пристально смотрит в другой конец трубы, где с пистолетом в руке замер Сахно. У наших ног на снегу тихо стонет Юрка.

— Капитан! Капитан! — приглушенно зову я.

Катя вдруг начинает дергаться и протестующе мотает головой. Кажется, я начинаю понимать ее. Но это уже черт знает что!

— Перевязать надо! — говорю я. — А ну пусти руки!

Пригнувшись, по трубе пробирается Сахно. Катя еще больше сжимается и дрожит всем телом.

— Вот, не дается.

— Да? — поглядывая на выход и, видимо, думая о другом, переспрашивает Сахно.

Катя расслабляется. Серая тень ложится на ее еще недавно краснощекое лицо. И тут я понимаю: она умрет! Но это нелепо и противоестественно — погибать девушке, если мы, трое мужчин и солдат, остаемся живыми!

— Катя! Катя! Что ты делаешь? — начинаю я невнятно упрекать ее. — Ты что — стыдишься?

Катя прерывисто, тяжело дышит и умоляюще смотрит на меня. Кажется, она слышит, только говорить не может. Потом взгляд ее устремляется куда-то в сторону и останавливается на немце.

Я догадываюсь:

— Он, да? Пусть он перевяжет? Да?

Катя протяжно выдыхает и расслабляется. Глаза ее медленно закрываются. Я не знаю — или это согласие, или, может, силы насовсем оставляют ее. Почти в испуге я зову немца:

— Ком! Перевязать! Бинтовать, ферштейн?

— Я, я.

Немец начинает торопливо расстегивать на ней одежду: полушубок, ватные брюки — окровавленные, иссеченные осколками клочья. Катя тихо лежит, безразличная к его прикосновениям, и я начинаю помогать ему. Вдвоем мы, не стесняясь, обнажаем Катино тело — окровавленное, израненное девичье тело, которому уже не жить. Это я понимаю сразу, с первого взгляда.

Впрочем, принять смерть тут, наверное, придется всем.

Мы еще не заканчиваем перевязку, как где-то поблизости раздаются немецкие голоса. Сахно с пистолетом в руке сразу бросается в дальний конец трубы. Отшатнувшись от Кати, я хватаю вдавленный в снег карабин и устремляюсь туда же. Сзади пробует приподняться Юрка.

Вобрав головы, мы прислоняемся спинами к настывшему бетону трубы и вслушиваемся. Я медленно снимаю затвор с предохранителя, то и дело поглядывая на второй выход. Однако там пусто. Юрка держит в кулаке пистолет и не сводит с нас полного тревоги взгляда. Его глаза резко горят на бледном, каком-то уже не юношеском, слишком сосредоточенном на чем-то своем лице. Немец, в неудобной позе, настороженно ждет возле Кати.

Отчетливо слышится немецкая речь, потом голоса умолкают. Настает тишина, в которой натужно гудит, грохочет шоссе. Сахно осторожно выглядывает из трубы и тут же резко отскакивает.

Совсем рядом слышится:

— Верден унс ди панцер нихт бис цум абенд цердрюккен, зо шлюпфен вир дурьх. (Если нас до вечера не раздавят танки, то мы проскочим.)

И в ответ несколько дальше:

— Мит дем оберст фон Майер верден вир унс шон дурьхшлаген. Об тод одер дебендиг цвинтер унс дацу. (С оберстом Мейером проскочим. Он нас заставит, живых или мертвых.)

Это уже плохо. Они возле самой насыпи. На дороге, слышно, брякают дверцы кабины, значит, машины стоят. Но другие идут, видно, остановилось несколько. Только зачем?

Меня пугает немец. Наш Энгель. Его лицо напряженно вытянуто, в глазах не то страх, не то последняя степень решимости. Руки ладонями лежат на снегу, как у спринтера на старте. Того и гляди, бросится наутек. Я круто поворачиваю карабин:

— Хальт!

Немец бросает на меня бессмысленный взгляд и опускается. Ноги его расслабляются. Черт, наверное, надо бы его пристрелить. Да стрелять нельзя...

И тут все оттуда же, от насыпи, долетает новый звук — слабое бряцание солдатской пряжки. Оглушенный обидной догадкой, я осторожно выглядываю. Так и есть. Сделав свое дело в кювете, два немца торопливо сворачивают к шоссе. На ходу застегивают амуницию. Они увешаны катушками с кабелем. Очевидно, снимали связь.

Разом потеряв силы, я бреду к Кате. Возле нее падаю в снег. Потом, кое-как совладев со своими чувствами, поднимаю голову. Катя умирает. Я знаю, как умирают люди, и в этом, пожалуй, не ошибаюсь. Она напрягается, дергается, выдыхает. Голова ее неестественно запрокидывается, русые волосы разметаны на снегу. Глаза полуоткрыты. Рукой она раза два машет возле лица, словно отгоняя мух.

И вдруг говорит:

— Отойди. Не темни.

Меня это удивляет. Так трезво и так внятно! Невольно я оглядываюсь. Кто темнит? Я? Или немец?

Она говорит снова:

— Митя! Митенька! Темно очень...

— Катя!

Но она выдыхает и успокаивается. Глаза ее задерживаются на чем-то вверху, взгляд постепенно угасает. Опершись на руку, я сижу рядом. С другой стороны сидит немец. Лицо у него окаменело. Он весь напряжен. И неудивительно: в каких-нибудь двухстах метрах

свои. Стоит ему закричать, и нас схватят. Но он не кричит. Мне даже кажется, что он не менее нас боится.

А мне уж, пожалуй, ничего не страшно. Смерть Кати меня ошеломляет. Сколько уже погибло на моих глазах — знакомых и неизвестных, но я никогда не раскисал так. Возможно, потому, что они были мужчинами и солдатами. Как-никак к их смертям мои чувства были подготовлены. Смерть на войне — очень простая штука. Но почему здесь умирает девушка? Кто ее послал на войну и зачем? Разве что сама напросилась? Но что она знала о войне? То, что писали газеты. А умирает вот в какой-то трубе, растерзанная миной, и мы ей ничем не можем помочь. И зачем это нужно? Разве у нас мало мужчин? На передовой, в тылах, в стране вообще? На каждый десяток в цепи — добрая сотня в ближних тылах. И каких мужчин! Зачем же под смерть подставлять девчат?

— Документы забрали? — спрашивает вдруг Сахно и опускается на колени рядом.

Я не отвечаю. Кому что, а этому первое дело — документы. Для него главное — соблюсти формальность. Документы не должны попасть к врагу. Но что в тех документах? И кому они теперь нужны? Ее жизнь он не берег, а вот о бумажках гляди, как заботится.

Сахно тем временем засовывает руку под Катин полушубок и долго там шарит. Я на него не гляжу. Без раздражения я не могу видеть этого. Теперь она мертвая, и ей все равно. Но будь она жива, засветился бы у этого капитана фонарь под глазом.

Вынув из нагрудного кармана красноармейскую книжку, Сахно заглядывает в нее.

— О, Щербенко Екатерина Ивановна. Знакомая фамилия! — с ехидной ухмылкой сообщает он.

Я напрягаю память. Действительно, фамилия и мне кажется знакомой. Только где я ее слышал? Я вопросительно смотрю на Сахно. Тот, запихивая в карман документы, замечает мой взгляд.

— Не припоминаете? Пэпэжэ комбата Москалева из девяносто девятого, — говорит он и направляется в другой конец трубы. — Приказ по дивизии был.

Похоже, это его забавляет. Что она пэпэжэ и что был приказ насчет ее недозволенных отношений с комбатом Москалевым. Он доволен, что хоть после смерти нашел, чем упрекнуть ее.

— Ну и что? — едва сдерживая себя, спрашиваю я.

Сахно, оглянувшись, сверкает из-под бровей злым взглядом, и я срываюсь:

— Ну и что, если и пэпэжэ? Ну и что?

— Замолчите! Вы что?

Он замирает, вобрав голову в плечи, и внутри у меня все опадает. Я едва владею собой. Видно, он меня доведет до бешенства. Я не могу его терпеть. Странно, какие мы разные! Офицеры одной армии. Граждане одной страны. Черт его знает, отчего все это? Почему соседство вот этого немца мне легче сносить, чем его?

Немец встает и тоже идет туда, где Сахно. Я уже заметил, что с недавнего времени он вообще старается держаться поближе к капитану. Мной как будто стал пренебрегать. Жестикулируя костлявыми руками, он произносит какую-то длинную фразу.

Сахно устрашающе взмахивает пистолетом:

— А ну назад! Назад!

Немец отступает, но все еще что-то старается доказать капитану. Тот, разумеется, не понимает, но настораживается:

— Что он говорит?

— Он же вам говорит. Вы и должны понимать.

Капитан хмурится:

— Ну, знаешь!.. Я институтов не кончал. Этой гадости не учился.

Конечно, этой гадости он не учился. Чему он вообще учился? В школе я также не увлекался немецким языком, но горе и война научат всему. Несколько слов, произнесенных немцем, я все же понимаю. Про остальное догадываюсь. Немец доказывает, что надо куда-то убегать, ибо если начнется бомбежка (шлахтан-гриф), то солдаты (лес реннен децкунг) побегут сюда, в укрытие.

Это похоже на правду. Но пусть начнется штурмовка. Хуже, если штурмовики не налетят и колонна прорвется из Кировограда. А может, и хорошо? По крайней мере, для нас. Черт знает, что делается в моей голове. Я уже не могу разобраться, что хорошо, а что плохо.

Немец невесело возвращается от капитана и молча садится около Юрки.

— Вот налетят Илы и сделают из ваших мясокомбинат! — не скрывая своей злости, говорю я немцу.

Тот, неожиданно соглашаясь, кивает головой:

— Я, я.

Это меня злит еще больше. Скажи, какая покорность! Может, этот фриц сейчас скажет, что он коммунист? Что с колыбели был против Гитлера? Бывало же такое. Сорок четвертый — далеко уже не сорок первый.

— Мы же вас перещелкаем, как вшей! Понимаешь? К ногтю! — красноречиво показываю я пальцами. — Вокруг гебт ойх нихт гефанген? (Почему вы не сдаетесь в плен?)

Немец, кажется, понимает, но почему-то морщится и тихо про себя бормочет:

— Вир зинд айнфахе зольдатен!! Ден криг бефильт дер фюрер унд ди генерале. (Мы простые солдаты. Войну делают генералы и фюрер.)

Эта их песня мне уже знакома.

— Ах, фюрер? А сами? Сами вы что делаете? Пленных добивать вас тоже заставляет фюрер? Посылки с награбленным в Германию посылаете тоже по приказу фюрера? Вон целый эшелон в Знаменке остался. Фюрер разрешает, вы и рады. Вас это устраивает. Вы айнфахер менш, конечно.

Немец вздыхает. Чем-то он озабочен или, может, чувствует мое бешенство и побаивается. И он сидит так, надувшись, в русской помятой шинели, одетой поверх своего широкого в воротнике мундира. Его зимняя, с длинным козырьком шапка сбилась набок. Вздохнув, он соглашается:

— Я, я, их бин айн айнфахер менш!

— Что он говорит? — издали опять спрашивает Сахно.

— Говорит, что он маленький человек. Ни в чем не виноват.

— Задушить его надо, — просто решает капитан.

Я не возражаю. Черт с ним, пусть душит. Теперь мне его не жалко. У меня столько накипело в эти дни за Юрку, за себя, за всех ребят, которые уже никогда не встанут со снега. И особенно теперь вот за Катю. Только без немца мы, пожалуй, не управимся с Юркой. Сахно однорукий, я, считай, одноногий. А если придется удирать? Нет, видно, немца надо оставить. К тому же к своим он вроде не очень стремится.

Однако я молчу, начиная думать о другом. Хорошо, если мы просидим тут до ночи. Ночью мы, может, и вырвались бы, а днем-то уж вряд ли. Разве что откуда-нибудь появятся наши. Я прислушиваюсь: кажется, на дороге стало тише — колонна будто прошла. Теперь не двинулась бы пехота. С ней будет хуже.

Сахно тем временем разряжает пистолет. У него, вижу, какая-то неисправность с магазином. Зажав меж колен рукоятку, капитан одной рукой исправляет его. А я уныло сижу возле Кати. Она уже, видно, остыла, скорчившись на снегу. С другой стороны синеет восковое лицо моего Юрки. Тут очень холодно, в этой проклятой трубе. И все внимание сосредотачивается на звуках.

— Василевич! — тихо зовет Сахно и умолкает, то ли прислушиваясь, то ли что-то обдумывая. — Залазь-ка на насыпь и понаблюдай. А то накроют еще. Как цыплят.

Помедлив, я беру карабин и вылезаю из трубы. Солнечная яркость степи ослепляет. Освещенный солнцем, сияет широкий откос насыпи. Сбоку от него из-за дальнего пригорка проступают крыши строений. Там какое-то село. Вдруг у меня появляется

мысль... А что, если вдоль насыпи проскочить туда? Конечно, если там нет немцев. Только вот Юрка...

Прежде чем лезть на насыпь, я говорю в трубу:

— Немца пока не трогайте. Пригодится.

Сахно оглядывается, но не отвечает.

Глава тридцать четвертая

Присыпанный снегом откос шуршит под локтями прошлогодней, жесткой от мороза травой. Обжигает лицо северный ветер. Ноги скользят, и я, упираясь руками и коленями, лезу наверх. Позади минное поле с курганами и длинной цепочкой наших следов. Правда, я туда не смотрю — кажется, я чувствую его спиной. Нелепая попытка Сахно перехитрить смерть обошлась нам чрезмерно дорого и самым большим страхом продолжает жить в моей душе.

Достигнув бровки, я поочередно поглядываю в оба конца железной дороги. Кажется, на полотне — никого. Тогда, приподнявшись, выглядываю из-за широкого промазученного рельса.

О, шоссе просто гудит от движения — правда, теперь там вместо машин — обозы. Немецкие фуры, открытые и под брезентом, двуколки, кухни, какие-то повозки, доверху набитые имуществом и туго увязанные веревками. Ржут, бряцают удилами кони. Две черные легковые машины, настойчиво сигналя, медленно прокладывают себе путь по обочине.

Хорошо, что от железной дороги до шоссе не очень близко, а то бы они уже добрались до нас.

Немного присмотревшись, я прячу за рельс свою забинтованную голову. В душе коротенькое удовлетворение от того, что я их вижу, а они меня нет. Впрочем, эти обозники вовсе не смотрят по сторонам, наверно, им теперь не до окрестных пейзажей. Им бы как-нибудь вырваться из котла, если только еще остался проход.

Снова высовываюсь, удивленный какими-то криками, и сразу же замираю в любопытстве: на шоссе драка. Одна повозка разворачивается поперек движения. Какой-то немец в короткой шинели хватает за удила коней. Толстозадые неуклюжие битюги высоко вскидывают головы. Он бьет их снизу по мордам.

К нему тут же соскакивает с повозки ездовой, и вот на шоссе — крик, солдатская ругань. Тот, что в короткой шинели, бьет ездового по уху, ездовой хватает противника за грудь. Несколько повозок останавливается, несколько пробует объехать их. Кажется, вот-вот образуется пробка. Это здорово, думаю я, и поглядываю на небо: вот бы теперь самолеты! К сожалению, самолетов нет, только сзади, за курганами, невысоко кружит рама. Но и так неплохо: не каждый день приходится видеть, как дерутся между собой немцы.

Правда, они не успевают надавать друг другу, как между повозок появляется всадник. Плотно сидя в новеньком желтом седле, он без лишних слов размахивается из-за плеча кнутом и чинит скорую расправу над обоими. Это незамедлительно действует. Тот, в короткой шинели, куда-то исчезает, а ездовой, ругаясь, начинает сворачивать с обочины повозку.

И тут, глянув в сторону, я вздрагиваю — от будки по линии идут немцы. Они уже близко и, видно, заметили меня. Крутнувшись на мерзлой земле, я быстро соскальзываю по откосу вниз, до самой трубы. Над трубой, разворотив каблуком снег, на секунду задерживаюсь. Немцы идут по другой стороне линии. Отсюда мне видны только винтовочные стволы на их плечах да каска переднего. В сознании мучительный вопрос: заметили или нет? Если заметили, тогда все кончено: надо стрелять. Придется драться и погибнуть. Возможности спастись у нас почти нет. Но я жажду надежды. А может?.. А может, не увидели?

И вдруг до слуха, будто откуда-то издалека, доносятся из трубы голоса. Сначала я не понимаю их смысла — я только дрожу от напряжения, до судороги сжимая в руке карабин. Затем слышу слова, которые повергают меня в замешательство:

— Ленька! Лень!..

Меня зовет Юрка. Что с ним? Но ведь там Сахно. И действительно, я слышу, как капитан раздраженно шикает:

— Что ты заблажил? Он ушел.

«Я тут, Юр!.. Я не ушел. Почему он говорит: ушел?» — мысленно кричу я, грудью вминая снег возле трубы. Головы немцев скрываются. Остается только одна — последнего. Это на той стороне. Еще немножко, и они все пройдут. Еще секунда...

Но из-за насыпи снова прорывается крик:

— Василевич!

И тут же его заглушает более громкий — Сахно:

— Кончай к чертовой матери! Поимей мужество!..

Они обезумели! Что они делают? Я вскакиваю со снега, и тут нелепо и неожиданно в трубе бахает выстрел.

У меня темнеет в глазах. Кажется, в какую-то бездну проваливается сердце. Что он наделал?! В кого это он? В немца? В Юрку? А вдруг это пленный? Охваченный предчувствием непоправимой беды, я скатываюсь под насыпь. Вскакиваю на одну ногу. В другой острая боль, от которой перехватывает дыхание.

В трубе возле Юрки стоит Сахно.

— Что вы натворили? Немцы!!

Сахно с маленьким пистолетом прытко отскакивает в конец трубы. Серым привидением шарахается куда-то Энгель. Зацепившись за Катину ногу, я нечаянно падаю чуть не на Юрку. У самого

моего лица — его голова. Из разбитого виска торчит маленькая острая косточка, и красная струйка из-под нее быстро заливает ухо. На снегу возле плеча расплывается розовое пятно крови.

Кажется, я схожу с ума. Перестав что-либо понимать, вскакиваю на колени. «Кто? — кричу я. — Кто его?» Но я не слышу собственного голоса. И мне никто не отвечает. Что же это делается? Кто это? Немец?

Я не обращаю внимания на тех, что уже, видно, над нами, и хватаюсь за карабин. Впопыхах не сразу нахожу рукоятку. В том конце, пригнувшись, замер с пистолетом Сахно. Ждет.

— Кто? — кричу я во все горло.

Но из моей груди вырывается лишь чужой сдавленный хрип.

Сахно оглядывается и неистово машет рукой. Я едва различаю его шепот:

— Замолчи! Не видишь, что ль?

Пожалуй, действительно я чего-то не вижу. Впервые я бросаю на друга несколько осмысленный взгляд. Юрка мертв. Перекошенное смертью лицо. Один глаз с силой приплюснут. Второй бессмысленно смотрит мимо меня куда-то в бетонный потолок. Из обоих висков льется на затылок кровь. И тут я окончательно понимаю, что произошло. Он застрелился.

— Юрка!!

Это последний мой крик. В нем — вся беспредельность отчаянья. Мой гнев и ужас. В следующую секунду, словно удар грома с неба, в трубе раздается выстрел. Снаружи бешено бьет автоматная очередь. Я вскидываю карабин. Сахно в том конце падает на снег. Там, где он стоял, о бетонную стену лязгает что-то круглое и отскакивает к стенке напротив. Граната! Я падаю головой к Юрке. Громовой взрыв сотрясает насыпь.

Оглушенный, я на несколько долгих секунд лишаюсь всех чувств. Все в трубе поглощает горячий удушающий смерч. Легкие захлебываются от снега, пыли и резкого смрада серы. Жгучая боль клещами сжимает колено. Она все увеличивается, растекается по ноге. И охватывает ее всю, от бедра до мизинца. Бедная, несчастная моя нога! Кажется, ее доконали. От боли я не могу шевельнуться и мычу, сжав зубы.

Снежный вихрь тем временем утихает. Я приподнимаю голову. Во рту снег и песок. В ушах и в рукавах тоже. Я щупаю вокруг руками. На пальцах теплая липкая мокрядь. Это от Юрки. Видно, его растерзало гранатой. Рядом чья-то нога в валенке… Где мой карабин? Становится немного светлее, я различаю низ и верх. Напротив исцарапанный и закопченный бок трубы. И светлый круг недалекого отверстия. И вдруг в этом светлом пятне появляется

неподвижная тень. Отставленный в сторону локоть. Тонкий, как щупальца осьминога, автоматный ствол. Немец!

Что-то во мне подламывается, и я вытягиваюсь на снегу. Весь ужас положения уже не воспринимается. Явь затуманивается в сознании, и я плохо понимаю, что происходит. Мое тело — ком ваты, пронизанный болью. Голова также набита ватой. Что-то тошнотворное и соленое подступает к горлу. Инстинктивно я сплевываю на снег. Кровь.

Тем временем тень у входа в трубу широко и неслышно шагает ближе. Я лежу ничком и ошеломленно гляжу на нее. Я вижу только силуэт. Знакомый и безликий, как, бывало, зеленая мишень на стрельбище. Ступив шага четыре, он останавливается перед Катей. Он — воплощение испуга и отваги одновременно, этот призрак. Словно сомнамбула в нереальной среде. Просыпается он, когда сзади появляются еще двое. Тогда он скидывает с себя скованность и совсем по-земному кричит:

— Отто! Зи маль! Айне руссише Валькюре! (Отто! Глянь сюда! Русская Валькирия!)

И со злой решимостью поддевает ногой Катино тело. Оно податливо переворачивается на бок, спиной к свету. Рассыпаются по снегу ее волосы. Одна рука неестественно заламывается за спину. Вдвоем они наклоняются над телом девушки. Первого, однако, тянет дальше, и он, присмотревшись, переступает через единственную Катину ногу. И тут вдруг встречает мой взгляд.

— Хенде хох! Ауфштэен! (Руки вверх! Встать!)

Он испуганно отскакивает назад. Однако, тут же осмелев, решительно шагает вперед и тычет мне в лицо автоматом. Удивительно, но я ничуть не боюсь. Постепенно ко мне возвращается чувство реального. И я сквозь боль отмечаю: ага, испугался! Если бы знал, не пугался бы. Я уже не могу его убить. Не могу ударить. Я не могу ничего. Жить не могу тоже. Хочешь — стреляй, черт с тобой! Во мне все сгорело от боли, и нету больше сил переносить все это. Да и ни к чему. Пусть убивает скорее!

Однако он не убивает.

— Рус! Ауфштэен! Бистро!

Возле меня уже трое. Один коротко и больно бьет стволом карабина в плечо. Напрягшись, я немного привстаю на руках. Дальше не позволяет боль. Да и незачем стараться. Все равно убьют. Я же знаю. Так пусть убивают сразу. И они тремя парами глаз с холодной враждебностью смотрят на меня. Потом один из них замечает поблизости Юрку. Смазанными чем-то чужим и вонючим сапогами он переступает через меня и наклоняется к покойнику. Я вижу, как он шарит в Юркиных карманах, что-то достает и швыряет наземь. Потом подбирает из-под ног отброшенный

взрывом карабин. Черный мой карабин опять возвращается к своим хозяевам — немцам.

Третий раз они уже не командуют. Они хватают меня за руки и рывком, как мертвеца, выволакивают из трубы. Я понимаю, что все уже кончено. От боли, от солнечного света, а больше от невыразимой обиды я прищуриваюсь. Какой жестокий, нелепый конец! И именно тогда, когда меньше всего его ждал. Оказывается, вот где он был — последний мой Сталинград. Выигранный фронтом, страной и навсегда и непоправимо проигранный мною.

Вскоре, однако, меня больно бросают на твердые под снегом комья земли. Чья-то рука расстегивает и снимает с шинели трофейный офицерский ремень из желтой кожи. Обшаривает мои брючные карманы. Я слабо приоткрываю глаза и промеж чьих-то расставленных ног невдалеке вижу Сахно. Короткое удивление оттого, что и он в плену, на минуту позволяет забыть о боли. Капитан стоит в гимнастерке и тоже уже без ремня. С орденом Отечественной войны на гимнастерке. Подвязку у него, видно, сорвали, и забинтованную в локте руку он притискивает к животу. Его нахмуренный взгляд растерянно бегает по немцам. Вид какой-то оглушенный. Но как же это он не застрелился? Он же должен был застрелиться. Ведь не мог же он поднять руки и сдаться в плен.

Я чего-то не в состоянии понять. Очень болит нога. От боли и слабости то и дело мутится сознание. К горлу подкатывает комок и тошнит. Немцы молчат. Молчат те двое, что победили меня в этой войне и выволокли из трубы. Теперь я хорошо вижу их перед собой. Один весь какой-то рыжий — рыжая щетина на щеках, рыжие брови, рыжие, будто даже с золотистым отливом, ресницы. Через плечо у него на неподпоясанную шинель надета чем-то набитая сумка с привязанным к ней котелком. Второй значительно моложе, почти мой ровесник, с прыщеватым лицом и в очках, прикрепленных черными тесемками к ушам. Чуть дальше от них стоит еще один — широкоплечий, в длинной шинели и каске. Флегматичное лицо его едва заметно брезгливо кривится, черная кобура парабеллума на животе расстегнута. Мне кажется, что он тут главный, возможно, офицер. За его спиной выжидающе застыли еще несколько солдат. Никто из них не обращает на меня никакого внимания.

Истерзанный болью, я не сразу догадываюсь, почему они все молчат. Однако какая-то тень, что шевелится рядом на снегу, заставляет меня поднять голову. И тогда несколько в стороне от них я вижу нашего Энгеля, о котором почти уже забыл. Неловкими движениями озябших рук он пытается расстегнуть на себе шинель. Но его пальцы не могут совладать с непривычными для них крючками русской шинели. Лицо у него какое-то растерянное и виноватое. И мне вдруг кажется, что они собираются его

расстрелять. Офицер из-под сурово сведенных бровей терпеливо следит за ним. Потом, сделав три шага вперед и коротко размахнувшись, бьет его по обеим щекам. Энгель выдерживает пощечину, не шевельнувшись, как заслуженное. Наконец, с силой дернув полу, выдирает крючок и торопливо сбрасывает с себя шинель. Прыщеватый в очках, поддев ее концом карабина, швыряет подальше в снег. Тонкие губы его кривятся в брезгливой гримасе, будто он прикоснулся к чему-то нечистому.

Кажется, то, что занимало их, кончилось. На минуту я расслабляюсь от непосильного для меня напряжения и перестаю их видеть. Слышу только, как офицер, отчетливо произнося каждое слово, ругается и что-то приказывает. Солдаты, бряцая пряжками, поднимают с земли зеленые ящики на лямках (наверно, инструменты или приборы). Поскрипывая морозным снегом, ко мне кто-то подходит. Немалым усилием раскрываю глаза. Это Энгель. Теперь он снова в своем мундирчике с отвисшими пустыми карманами. В его виноватых глазах терпеливая покорность и опасение. Один из солдат толкает в спину Сахно. Капитан, видно, не сразу понимает, чего от него хотят. Тогда рыжий бьет его сапогом в зад, и Сахно оказывается рядом с Энгелем. Вдвоем они берут меня под мышки. В моих глазах вдруг темнеет, и я едва удерживаюсь, чтобы не потерять сознание.

Глава тридцать пятая

Около часа я хожу вокруг привокзальной площади и не могу успокоиться.

Над городом — глубокая ночь. Площадь непривычно пуста и огромна. Ровно и дремотно горят вверху матовые шары фонарей. Скамейки на бульваре пустуют. На троллейбусной остановке никого. Пусто и на стоянке такси. Подсознательно я испытываю такое чувство, будто в мире что-то случилось и люди исчезли. Кажется, я знаю что, только не могу вспомнить. Вообще, от пережитого сегодня и от переутомления я стал словно контуженый. Ноет в ремнях протеза остаток моей натруженной голени. Я хожу от фонаря к фонарю. Под каждым на краю тротуара останавливаюсь и с освещенного пятна всматриваюсь в сумерки меж деревьев. Кажется, там кто-то шевелится, двигается, стоит. Я знаю: это лишь кажется — никого там нет. Как нет никого на тротуаре, за витринами закрытых магазинов, в киоске «Союзпечати», на углу и на троллейбусной остановке. Люди отсутствуют, и оставленные ими на ночь вещи продолжают свой привычный дневной порядок.

Особенный интерес вызывают ночью книжные витрины. Целые роты самых различных изданий. Когда-то я очень любил рассматривать их именно ночью. Ночью они выглядят совсем иначе,

чем днем. Книги в них в это время как умные люди из жизни. Каждая в себе. Из-за всех стекол киоска они смотрят на меня со скрытым глубокомыслием мудрецов. В каждой — сплав эмоций, свидетельство эпох, концентрация разума. И, наверное, ни в одной — того, что так болит во мне. Они глухи к моим болям, так как каждая полна своих. В них — то, что переболело и ушло вместе с уходом многих поколений. Но в книгах оно не умирает, там оно будет жить долго. И вот через толщи веков, головы исчезнувших поколений человеческий опыт перекидывает свой магистральный мост в будущее. Прежде всего он свидетельствует о непрекращающейся схватке добра со злом. И в этом смысле его урок бесценен.

Правда, зло тоже не дремлет. За многие столетия жестокой борьбы оно неплохо набило свою черную руку на подлых делах и не так уж редко добивается успеха. Медленно отступая и обороняясь, оно еще больно жалит. Порой в самое сердце.

— Который час — не скажете?

Невольно я вздрагиваю, не сразу сообразив, что это — сторожиха. Одетая в грубый брезентовый плащ тетка подозрительно смотрит на меня. Чего-то ждет. Ах, времени! Я поглядываю на руку — половина четвертого.

Тетка не уходит, а прислоняется к железному пруту возле стекла и зевает. Я медленно бреду дальше. В груди, постепенно успокаиваясь, сильнее обычного бьется сердце.

Надо успокоиться. Пора успокоиться. Ничего, по существу, не случилось. Гнался за одним негодяем, напал на другого. Ну и что! Разве их всего двое на свете? Сколько их встречалось раньше и наверняка еще встретится в будущем. Протокол? Пустяки, что мне протокол! Попугают — не больше.

Как бы там ни было, я ни о чем не жалею и ни в чем не раскаиваюсь. Правда, я не победил. Он ушел несломленный и даже необезоруженный. Упрямой уверенности в своей правоте ему хватит, пожалуй, на всю жизнь. Он не из тех, у кого кровоточат раны совести. Если когда-то и была у него эта совесть, то с годами от нее ничего не осталось. Все его жизненные способности развивались лишь в направлении приспособляемости. Волевое начало подавило все остальные. Жизненным принципом стала сила. Тот прав, у кого больше прав. У кого сила, тому не нужна правда. Этот конек всегда неплохо вывозил его в жизни и сдал разве что в середине пятидесятых. Но и теперь такие не теряют подленькой жалкой надежды на возврат к старому. Ишь ты, разошелся в гневе. Уже с порога кричал милиционерам: «Распустили народ! Демократию развели! Опытных работников шельмуете! Ждите, припечет — позовете! Снова нас позовете! Да поздно будет!»

Вообще, это смешно. Он еще на что-то надеется. Но вместе с тем это заставляет задуматься. Ведь пока они будут лелеять подлую надежду всплыть наверх, в других будет жить страх. Будет таиться, скрываться, чтобы когда-нибудь взять верх. Слишком глубоко и прочно вбита в сознание многих позорная рабская мораль: как бы чего не вышло. И если случится, что где-нибудь слезами обольется правда, разве не подумает кто-то: а не лучше ли пересидеть, промолчать, переждать за углом, отвернуться? А они будут ловить удобный для себя момент. Опыт у них богатый.

Я забредаю в самый темный угол на площади. В густой тени под деревьями на скамейке притаилась пара. Замолчала, насторожилась и ждет. Нет, я туда не пойду. Им нужно уединение, мне тоже. Тут царство покоя и тишины. Тут ночь. А напротив, по другую сторону площади, всеми окнами светится огромное здание вокзала. Пожалуй, там никогда не бывает ночи. Там вечно, доколе жить городу, будет биться его бессонный железнодорожный пульс. Миллионы людей. Столетия. Эпохи. Вулканы людских эмоций — под его стенами.

Сильно и пряно пахнет молодая листва тополей. В переулке на недалекой стройке сверкают отсветы электросварки. Иссиня-холодные всплески света трепетно пульсируют в небе. С бульвара на площадь выскакивает машина «Скорой помощи» и, стремительно пересекши ее простор, исчезает за поворотом. Тихие, сдержанные отзвуки жизни наполняют ночь. Нужно только уметь слушать их.

Начинает накрапывать дождь. Со временем он густеет, асфальт пахнет сыростью и пылью, капли мерно барабанят по крыше киоска. Я не спеша иду по краю площади вдоль сквера.

Видно, надо возвращаться на вокзал. Рядом за железной изгородью сплошное царство ночи, в нем приглушенный шепот дождевых капель. Поблизости слышится еще шорох газетных страниц — там укрываются от дождя. Упрямая в своей тяге к одиночеству любовь. Зимой, весной, летом. В жару, ночью, в дождь — там пары. И это вечно.

Да, все на земле рождается земными условиями и к этим условиям приспосабливается. Время и материя, неутомимо отбирая лучшее, создают жизнеспособное. В природе этот отбор длится миллионы лет. Терпеливый, заботливый, в строгом соответствии с извечными законами бытия. Эти же приспособились за три десятилетия. Теперь все валят на культ. Это верно, культ их породил. Он умело использовал их динамизм для своих весьма неблаговидных дел. Но и они не бессребреники. Где это было возможно, они тоже старались отхватить от общего пирога куски покрупнее и послаще. Культ с его системой подавления стал их стихией. Он развил их хватательные способности. Другие же за ненадобностью

атрофировались. И теперь, когда обнаружилась их общественная неполноценность, они удивились: за что? Ведь они так старались!

На вокзале объявляют посадку. В вестибюле и на ступеньках начинается беспорядочная толчея, усиливается гомон. Спешат женщины с сумками. Бредут заспанные дети. Свесив с плеч связанные чемоданы, проталкиваются к выходу дядьки. Лет пяти девочка тащит вслед за матерью всякой всячиной набитую авоську. Мать с узлами в обеих руках сердито покрикивает на нее. Бравый молодой лейтенант бережно ведет под руку согбенную старушку в плюшевом жакете. В людском потоке медленно пробирается к выходу подполковник в сером плаще. На его плече огромный оранжевый обруч — модное занятие для стареющей где-нибудь в лесном гарнизоне супруги. Обходя встречных, я взбираюсь на второй этаж — там теперь свободные скамейки. Неплохо бы подремать. Мой поезд еще не скоро.

Свободных мест тут, однако, немного. У окна в самом углу половина незанятой скамейки, и я с наслаждением вытягиваю ноги. Спину подпирает подлокотник. Не очень удобно, но утомленное тело враз расслабляется. Рядом клюет носом какой-то парнишка в черном пиджачке и клетчатой рубашке. Кепка его уже на паркете, а голова все ниже и ниже клонится к коленям, и, когда, кажется, прикасается к ним, парень просыпается. Испуганно бросает по сторонам два-три взгляда и снова начинает дремать.

Неизвестно, выжил ли в этой войне Сахно. Хотя такие люди живучи. И если случилось, что он остался в живых, я уверен: он опять тот же. Всю жизнь он совершенствовался в одном ремесле — принуждении, и на другое попросту неспособен. Я знаю, встреча с ним мне тоже не дала бы радости. Он из породы Горбатюков, десять лет для перевоспитания которых — слишком недостаточный срок.

Этот человек всегда был себе на уме. Теперь я понимаю: он вовсе не был кремневым, каким старался казаться, потому что всегда приспосабливался. Главным для него было удержаться на середине течения. Что он ни делал, он прежде всего думал о себе — о своей карьере и своей выгоде. Остальное его мало заботило. Я и начальство были для него теми двумя полюсами, между которыми размещалось все мироздание.

Однако я все же устал. Глаза сами собой закрываются, приглушенный гомон как бы усиливается и сосредотачивается в мозгу. Сон не приходит, а тело погружается в немощное оцепенение. Малейшее движение исключается. Только мысли, образы, обрывки неясных фраз роятся в сознании.

А напротив за большим окном шумит напористый майский дождь. Будто очарованная его неумолчным шумом, у запотевшего стекла стоит женщина. Видать по всему — из деревни. Блестящие

резиновые сапоги, простенькая измятая юбка, темный поношенный жакет. На голове аккуратно повязан темный с красными цветами платок. Невеселое, сосредоточенное на чем-то своем лицо с сеткой морщин на лбу выглядит немолодым и усталым. Мне думается, что она одних со мной лет или немного моложе и, должно быть, одинокая. Я не знаю почему, но что-то неуловимое выдает в ней многолетнюю горечь неудавшейся жизни. Впрочем, откуда взяться удачам? Где те ее ровесники и ребята постарше, с кем промелькнула ее короткая молодость? Теперь бы им тоже было по сорок, если бы проклятая война не отмерила многим по двадцать. Вечно молодые и неженатые, молчаливо спят они в тысячах братских могил на широких просторах от Волги до Эльбы. И неизбывная тоска тлеет в изнуренных неженскими заботами, до времени постаревших глазах их бывших подруг.

Так, может, мается где-то и Юркина Лида. Помню, с каким нетерпением в училище он выхватывал из рук дневального ее письма, раскрашенные цветными карандашами. Сколько в них было ласки и преданности! Это была яркая и сильная любовь, которой я завидовал и о которой мечтал всю молодость. Где она теперь, его Лидка?

Женщина у окна поправляет на голове платок, запахивает жакетку. Возле ее ног небольшой коричневый чемоданчик. Откуда и куда она едет? Какие судьбы правят ее не очень радостной жизнью? Что вынуждает ее обособиться от людей в этом зале и влечет к тоскливому одиночеству в бессонной ночи?

Нет, я не хочу видеть Юркину Лиду такой вот сработавшейся на мужской работе, преждевременно постаревшей, с безразличием в уставших глазах. Я не могу это себе представить. Отказываюсь поверить. И не в состоянии избавиться от навязчивых мыслей о именно такой судьбе.

Эх, Юрка, Юрка! Ты — самая большая моя боль в жизни. Ты — незаживающая моя рана. Другие уже все зарубцевались, а ты кровоточишь и болишь, видно, потому, что ты — рана в сердце. Совесть моя подрублена твоей смертью, от которой я не могу оправиться долгие годы.

Да, я виноват тоже. Виноват перед тобой и перед твоей матерью, о которой ты столько беспокоился при жизни. Я не забыл ее адрес, но что я мог написать ей? Каюсь, я долго колебался и года через два после войны послал ей открытку с сообщением, что ты без вести пропал под Кировоградом. Это была маленькая хитрость, которая помогла мне решить, как поступить лучше. Я знал твою мать по письмам к тебе, каждое из которых было на четырех листах и под номером. Я не забыл, как заботилась она о тебе, твоей судьбе. Но я не помню письма, где бы она просила тебя, как другие, во что

бы то ни стало сберечь на войне жизнь. Она призывала тебя, когда придет самый трудный твой час, не забыть, что ты комсомолец, и поступить по велению долга. На другое она не могла согласиться.

Вскоре я получил от нее ответ. Небольшой листок, несколько скупых слов материнского утешения… Она писала, что ты геройски погиб на фронте в единоборстве с фашистскими танками. Будто два из них ты подорвал гранатами, а под третий бросился сам и погиб.

Мог ли я после этого сообщить ей всю правду о твоей гибели?

Что ж, я виноват перед тобой и каюсь. Но мы умнеем с годами, а воевать нам пришлось почти пацанами. Теперь бы я поступил иначе. Я бы постарался не отдалиться от тебя, как это случилось на том кировоградском переезде. Теперь я понимаю, что по отношению к тебе, раненому, совершил почти что предательство, поддавшись мужественному обаянию Кати и потянувшись за ней, такой независимой и решительной. Наверно, нельзя было оставлять тебя одного и в трубе. Будь я с тобой, я бы раньше понял твое отчаянье и, возможно, оно не оборвалось бы чудовищным выстрелом, на который тебя толкнул Сахно.

Правда, так я рассуждаю теперь. Я жив, и мне обидно, что путаются под ногами Горбатюки и покоятся в земле Стрелковы. Тогда же все было иначе. Тогда я люто тебе завидовал. Если бы ты видел, что было дальше со мной, ты бы простил мне и мою не слишком удавшуюся жизнь, и свою преждевременную смерть.

Да, тогда мне досталось…

Глава тридцать шестая

Ощущения мои то проясняются, то глохнут в тошнотворных провалах сознания. В голове все плывет и кружится. Однако я понимаю, что меня волокут по откосу в гору. Потом моя здоровая нога больно ударяется о рельс. Я касаюсь ею земли и начинаю прыгать по заснеженным шпалам. Каждый прыжок отзывается нестерпимой до отупения болью. Другая, мне уже неподвластная, нога судорожно поджимается и лихорадочно, мелко дрожит.

Мое тело в липком холодном поту. Порой я раскрываю глаза и вижу, как внизу плывут-качаются присыпанные снегом шпалы и два черных рельса с обеих сторон. Рядом мелькают сапоги. С одной стороны кирзовые, потертые на щиколотках — Сахно, с другой — тупоносые кожаные — Энгеля. Возле них черный приклад карабина, и я догадываюсь: им вооружился мой штрафной конвоир. Значит, его не расстреляют. Это почему-то отзывается во мне удовлетворением, появляется даже надежда: а вдруг он поможет? Если только мне еще можно чем-либо помочь.

Вскоре неодолимая слабость липким туманом заволакивает глаза, и я перестаю видеть. Смутно чувствую, что меня ведут в плен.

Ведут два человека, которые менее всего подходят для этого. Действительно, одного сутки назад я сам должен был сдать в плен, а второй… Не хочется даже и думать, кто этот второй.

И вот теперь они — мои конвоиры.

Но зачем я, такой искалеченный, понадобился немцам? Разве чтобы допросить, прежде чем расстрелять? Тогда почему я иду? Пусть убивают сразу. Правда, я всегда хотел жить. И теперь тоже. Если бы только не боль. Даже наперекор боли. Только чем для меня обернется какой-нибудь лишний час жизни? Не худшим ли, чем сама смерть?..

Голова моя раскалывается от путаных мыслей и неодолимых в моем состоянии вопросов. Чего-то очень важного я никак не могу понять. Я только чувствую, что произошло непоправимое. Временами я забываю, где я и куда иду. Невольно кажется, что рядом Катя. Даже слышится где-то поблизости ее голос. Я не могу себе представить, что ее нет и никогда уже не будет… И что навсегда уже ушел из жизни мой Юрка. Я все еще не могу представить себе весь ужас моего положения. Кажется: не сон ли это? Бывало же сколько раз во сне, что попадал в руки немцев, которые даже пытались меня убить. Но затем наступало пробуждение, и все становилось на свои места. Может, и теперь будет так? Вот только невыносимая, нечеловеческая боль! Такая не может присниться.

Надо собраться, сосредоточиться и что-то понять, в чем-то разобраться. Ведь я неплохо разбирался в каверзах, которые иногда устраивала мне жизнь. Дома, в школе, в училище. Правда, тут — война. Огромная, яростная, небывалая на земле война. В ней сам дьявол с Богом самым хитроумным способом все перепутали. Ни одна закономерность тут не является правилом. Самая нелепая случайность порой становится властительницей твоей судьбы. Разберись, что тут надежно и постоянно. И неизменно.

Видно, я все же мог бы что-то понять, если бы не такое страдание. Боль мне не дает ни о чем думать. Она отбирает силы, тисками сжимает сердце. Столько лет тренированное на кроссах и на утренних зарядках сердце. Кажется, никуда я не дойду. Я просто умру на руках конвоиров. На этой железной дороге. В нескольких километрах от Кировограда.

Да, я хочу умереть. Я не хочу идти в плен. Я не буду давать им никаких показаний. Я не хочу и не могу больше страдать. Страдания становятся сверх моих сил. Я даже не знаю, где и что у меня болит. Боль самовластно хозяйничает во всем теле, неизвестно чего добиваясь. И я завидую Юрке. Ему уже не больно. Он переступил свой последний рубеж и теперь неподвластен немцам. Силы над ним у них уже нет. И смерть начинает казаться мне желанным избавлением. Только где оно, это избавление?

Я раскрываю глаза и дико оглядываюсь. Вокруг простирается степная гладь, прорезанная железной дорогой с рядами телеграфных столбов по сторонам. Мерно и настойчиво гудят провода. Впереди по шпалам шагает немец. Коробка закинутого за спину противогаза лязгает по затвору его карабина. Я поднимаю голову и вижу сведенные челюсти Сахно. Он все еще не стреляется и не убегает. Неужели и он пойдет в плен?

— Убей меня!

Сахно, кажется, даже вздрагивает. Каким-то незнакомым взглядом уставляется в меня. Видно, в эту минуту я ужасен, и в глубине его зрачков мелькает испуг.

— Убей меня! Будь человеком!

Я и сам понимаю нелепость моего требования. Но это кричит моя боль. И мое истерзанное тело. Они самые властные теперь во мне, и я им подчиняюсь. Единственная моя нога подкашивается, и я окончательно повисаю на чужих руках.

Сахно сильно дергает за плечо и, склонившись, дышит предостерегающим шепотом:

— Если что — меня ты не знаешь. Понял?

Ага, теперь он меня уговаривает. Похоже, он уже переиначивается. Остальных уничтожил, а сам медлит. Может, думает выжить?

Сглотнув тугой ком обиды, я дергаюсь в их цепких руках. Энгель что-то недовольно ворчит и поудобнее подхватывает меня за руку. Сахно же одной рукой не удерживает, я падаю на шпалы и лежу, корчась от боли. Сзади раздается суровый гортанный крик. Сахно, пугливо заглядывая мне в глаза, дергает за рукав:

— Ты что? Вставай!

— Не встану! Убивайте! Не встану!

В этом теперь мой выход. Из жизни — в небытие. Другого нет. Пусть стреляют.

Но они не стреляют.

Энгель несколько раз незлобиво дергает за руку, старается подхватить за другую Сахно. Но я настойчиво им не поддаюсь. Тогда напротив появляется тот, в каске. Его взгляд круто упирается в меня где-то между бровей. Сильный удар сапогом в живот прерывает мое дыхание.

— Ауфштэен! (Встать!)

Нет, уж черта вам, а не ауфштэен. Задыхаясь, я хватаю ртом воздух и, к сожалению, ничего не могу им сказать. Мир снова проваливается в тягучую сумеречную бездну. Частицей сознания я отмечаю, как они хватают меня за руки, за ногу, за рваные полы шинели, и земля подо мной исчезает.

Прихожу в себя также от удара. Кажется, чем-то жгуче-холодным тупо бьют по лицу, и я чувствую себя на скрипучей морозной тверди. Поведя руками, я понимаю, что они бросили меня ничком в снег. Неторопливо и вяло, едва преодолевая слабость, в которой растворяется боль, поворачиваю голову. Подо мной наезженная зимняя дорога, ноздреватое желтое пятно лошадиной мочи, натрушенные клочья сена и рядом ноги. Много ног в сапогах, ботинках, коротких кожаных и матерчатых крагах. Двое в валенках. Ближе других узнаю выскольженные в снегу «кирзачи» Сахно. На их кожаных головках пятна крови. Кажется, это моя кровь. Однако немецкая речь заставляет меня взглянуть дальше, и мой взгляд упирается в узенькую, грязную снизу подножку «опеля». Один ее край украшен блеклой полоской никеля, конец пригнут случайным ударом. На середине подножки шаркает подошвой хорошо начищенный хромовый сапог.

С усилием я перевожу взгляд выше, догадываясь уже, что это — начальство. И действительно, в машине какой-то важного вида офицер. Пожилой, худощавый и даже в сидячем положении очень прямой. На голове высокая фуражка. Выбритый подбородок лежит на меховом воротнике кожаного реглана. Глаз не видно, вместо них блестят стекла пенсне. Впервые вижу такого важного немца, но теперь он мне безразличен. Мне плевать на его высокий чин. Я ему сразу же это и скажу. Рисковать мне уже нечем.

Но почему они все молчат? Молчит чин. Молчит, «поедая» его взглядом, знакомый офицер в каске. Вывернув от себя локти, он навытяжку стоит перед машиной. И я думаю: может, они решают нашу судьбу?

Напряжение мое кончается. Я без остатка выдыхаю грудью и закрываю глаза. Снова все подо мной плывет и кружится. Последним усилием воли удерживая себя в сознании, думаю: почему я не скончался дорогой? Зачем я живу? Я знаю, они будут допрашивать. Им нужно что-то узнать, и потому они ведут нас обоих. Второй — для контроля. Для того они приволокли нас в село. Это — улица. В морозном воздухе пахнет мешаниной дымов — бензинового и от соломы. Слышится далекая стрельба, гомон и топот ног. Рядом идут и бегут солдаты. И вдруг в этой сумятице звуков я начинаю различать настырный воздушный гул. Так вот почему они замолчали: в небе летят наши. Это штурмовики, наши родные Илы. Они идут сюда! Они устроят им кровавое воскресенье.

Напрягшись от боли, я переворачиваюсь на спину. В глаза ударяет пронзительная яркость неба. До боли в глазах я всматриваюсь в белесую дымку. И напрасно. Там пусто. Только внизу тычки неподвижных голов — в пилотках, в шапках, в касках. Они также уставились в небо. Самолетов нет. Есть только гул. Гудит

где-то поблизости. И этот гул на минуту возвращает мне силы. Я рад, что еще живу. Я еще поборюсь с ними. Я им ничего не скажу. Не на того напали! Я плюну в глаза этому оберсту, или как там его величать. Пусть стреляют!

Однако гул скоро глохнет. Видно, самолеты проходят мимо, куда-то в другую сторону. Короткая радость моя сменяется немым внутренним стоном. Я едва замечаю, как их лица уже не задираются в небо. Они поворачиваются к легковушке. Немец в машине сбрасывает с себя неподвижность, щелкает портсигаром, деловито прикуривает. Худые щеки его то проваливаются, то снова полнятся, и подбородок опускается на мех воротника. Он что-то приказывает.

— Яволь! Яволь! — щелкает каблуками офицер и коротко, скороговоркой докладывает. Кажется, это о нас («Вас махен цвай рус офицерен?»).

Вот когда все решится. Взглядом я впиваюсь в бритое холодное лицо. Сейчас он определит нам кару, прикажет, чего от нас добиться и как расстрелять. Или, может, даже повесить. Но он почему-то не спешит. Тонкими губами стискивает сигарету и небрежно машет рукой в серой перчатке.

Я не понимаю. Что это значит? Расстрел? Или, может, вести дальше по улице? Видно, чего-то не понимает и офицер в каске. Во всяком случае, я не слышу его «яволь». Я только вижу, как, сыпанув снегом, подхватывается в колее колесо. На ходу бряцает дверца.

Офицер круто оборачивается к солдатам и уже другим тоном — зло и решительно — что-то приказывает. Все слушают. Потом разом берут оружие и имущество, что лежит на обочине. Снова звякают пряжки и застежки их желто-зеленых ящиков. Резко скрипит снег. Кто-то сильной рукой хватает меня за шиворот и ничком, как собаку, волочит поперек улицы. По снегу, через колеи, разгребая моим телом мерзлые конские катыши. Крючок шинели впивается мне в горло, я задыхаюсь. Я не знаю, куда это? Но я не хочу тут умереть. Я хочу еще побороться с ними. Они меня обрекли, но за мной еще последнее слово. Боже, дай мне еще час жизни! И силы! Я никогда не верил в Бога, однако теперь Он мне нужен. Хоть настоящий, хоть выдуманный. И я умоляю Его помочь мне.

Рядом скрипят на снегу окостеневшие от мороза сапоги, движется мимо плетень, калитка, брошенная пустая канистра и прислоненная к завалине автопокрышка. Возле нее охапка соломы, на которую они меня и бросают. Ударившись головой о тугой резиновый бок покрышки, я не сразу открываю глаза. Лежу как пласт, от боли закусив губу, и дрожу. Рядом, слышу, опускается на завалинку и также дрожит от стужи Сахно.

Глава тридцать седьмая

Проходит, видно, немало времени, пока я, притерпевшись к боли, раскрываю глаза.

Во дворе шум.

Хата, возле которой мы оказались, пустует. В выбитых окнах торчат осколки стекла. Дверь — настежь. Немцы все во дворе.

В полах шинелей они приносят откуда-то сухой паек и принимаются за обед. На тех же составленных ящиках делят галеты и отдельно консервы. Оставив нас без всякого внимания, они толпятся на середине двора и дружно разбирают свои порции. Энгель там тоже. Как равный с равными. И, кажется, никто ему ничего не говорит, ничем не упрекает. Будто и не было у него ни плена, ни контакта с русскими. Будто он такой же верный служака фюрера, как и все прочие тут. Он забирает с ящика свои галеты, и вдвоем с рыжим, что выволок меня из трубы, они одной ложкой поочередно начинают выскребывать консервную банку. Сахно, скорчившись на завалине, зорко следит за ними исподлобья и ежеминутно глотает слюну. И дрожит. А я уже не дрожу. Я медленно и неотвратимо замерзаю. Ног своих я уже не чувствую. Чужие для меня и руки, на которых давно нет рукавиц. И еще нестерпимо хочется пить. От потери крови внутри у меня все сохнет и жжет. «Ну где же, где их начальство? Неужели никому здесь мы не нужны?» — уныло думаю я и жду, когда кто-нибудь наконец подойдет.

И он подходит. Молодой, вполне симпатичный с виду солдат с насмешливым взглядом голубых глаз. Шагнув от ящиков, дожевывая галету, он распахивает полы шинели. Делая свое дело в двух метрах от завалины, немец невзначай встречает мой взгляд. Я жду злого слова, ругательства, может, и выстрела, а он вдруг озорно вихляет задом. Рыжая струя перечеркивает рядом снег, мелкой дробью пробегает по моей спине — раз и второй. Немчик довольно ржет, застегивается и отворачивается, поправляя на спине автомат.

Первый раз я не могу сдержать стона. От мук другого рода, чем те, что донимали меня прежде. Это ни с чем не сравнимые муки. Их нельзя понять, не стерпев хоть однажды. В отчаянии передо мной всплывают из памяти все мои фронтовые неудачи.

Как я стрелял из «дегтяря», впопыхах не поставив на планке прицел, и десяток немцев успели скрыться в траншеях. И как мы под Знаменкой промедлили с атакой и дали их машинам выскочить из села. И тот вечер, когда мой взвод захватил шестерых пленных. У ребят были мокрые валенки, но я не разрешил им разуть немцев, обутых в исправные кожаные сапоги. Если бы тогда знать, что ждало меня в будущем!

Но, видно, все мои муки напрасны. Ни одного из них я уже не убью и ничего им не сделаю. На меня им наплевать. Они уходят. Дожевывая хрустящие галеты, они поудобнее прилаживают на

спинах сумки, противогазы, закидывают на плечи оружие и один за другим выходят на улицу. На нас даже ни один не глянет. Во дворе остаются знакомые ящики и возле них трое: наш Энгель, молодой очкарик и еще один, новый. Он с въедливыми темными глазами и ефрейторским шевроном на рукаве. Судя по всему, этот здесь старший.

Я уже не знаю, что и думать. Обидно погибнуть, как гибнет подстреленная собака. До ночи, пожалуй, мне не дожить. А она совсем близко. Солнца в небе уже не видно, в прозрачные синие сумерки медленно погружается земля. Под крышами густеет мрак. Все настойчивее властвует под шинелью мороз. Кажется, ночь обещает быть звездной и лунной, как и вчера. Только мне ее уже не увидеть.

Немцы, усевшись на ящиках, курят. И молчат. Вижу — чутко вслушиваются в звуки, которые долетают сюда с окраины села. Однако те, кого ждут, наверно, задерживаются. На улице становится пусто. Немцы уже выехали отсюда. Чего же тогда ждут эти трое?

И тут у меня появляется нелепая мысль: а может, они ждут наших? Чтоб сдаться! И спасти нас!.. Тут же я, однако, понимаю: глупая надежда. Не для того они оставлены. Да и Энгель, подлюга, даже не подойдет ни разу. Ни разу не взглянет на нас, точно боится. Но ведь совсем недавно еще не боялся. А я так хочу попросить у него воды… Кажется, только бы напиться, а там можно и умереть. Зато Сахно как-то неестественно оживляется. Будто наконец преодолевает в себе замешательство, которое владело им с начала пленения. Он позволяет себе встать с завалины и начинает часто приседать — греться. И на него не кричат. Только очкарик что-то ворчит, но ефрейтор помалкивает, и тот тоже смолкает, Сахно, усевшись, громко стучит сапогами. Мерзлая земля тупо дрожит под ним и болью отдается во всем моем теле.

Окоченевший и обессиленный, я не сразу замечаю, как с этой дрожью сливается дальний знакомый треск. Я только вижу, как все трое немцев враз поворачивают головы. Очередь повторяется раз, второй, третий. Немцы вскакивают. Двое коротко поглядывают на ефрейтора, и снова все втроем слушают.

Неужели наши? Мне даже не верится. Неужели возможно спасение? Сахно снова замирает, сведя на переносье широкие брови. Мне кажется — это «максим». Нет, пожалуй, скорее похоже на танковый. Только какого танка?

Очереди, однако, умолкают. Ефрейтор тихо ругается и вынимает из кармана круглую, точно гусиное яйцо, с ободком поперек гранату. Попробовав чеку, планкой цепляет гранату за ремень.

— Их коме бальд! (Я сейчас вернусь!)

Он куда-то торопливо уходит со двора. Энгель и очкарик снова садятся на ящики. Энгель, понурив голову, начинает ковырять прикладом в снегу. Очкарик то всматривается в огороды с вишенником, то оглядывается на улицу. Видно, он побаивается. Сахно снова осторожно начинает разминку. Я уже не могу терпеть. Жажда, кажется, добьет меня раньше, чем это сделают раны и мороз.

— Энгель, — говорю я и не узнаю своего ослабевшего голоса. — Энгель! Вассер! Тринкен вассер!

Энгель чуть ли не в испуге вскидывает голову.

— Вассер! Ферштейн? Вассер!

— Швейг! Вассер нике! (Тихо! Нет воды!) — говорит очкарик.

Энгель, вижу, в задумчивой нерешительности смотрит на меня. На фоне вечернего неба выражение его лица от завалины почти не просматривается.

— Вон же колодец! Дай воды, если ты человек! — показываю я на улицу. Там под заснеженной крышей вытянул шею колодезный журавль.

Энгель встает и нерешительно топчется возле ящиков. Оглядывается. Прислушивается. На одном ящике сумка, и возле нее плоский котелок — видно, ефрейтора. Энгель отстегивает котелок и, еще немного прислушавшись, идет к воротам. Карабин он держит под мышкой. Очкастый, сидя на ящике, поворачивается к нам всем телом и с лязгом взводит затвор автомата.

— Швейг!

Сахно садится. Тихо про себя ругается. Немец на это не обращает внимания. Он слушает. Я вслушиваюсь также.

Кругом все тихо. Но издали все же доносятся звуки. Их не сразу и поймешь. Не то крики, не то топот множества ног. Кони или люди? Но выстрелов нет. Гремит где-то артиллерия, только это в другой стороне и далеко. А переполох — за селом. Не больше чем в километре отсюда.

Проливая из котелка воду, во двор входит Энгель. Значит, все-таки еще человек, думаю я. Мое представление о немцах несколько поколеблено. Я уже склонен думать, что среди них бывают разные. И так себе. И ничего. И сволочи. Впрочем, как и у нас. И, пожалуй, как всюду. Люди есть люди. В общей своей массе — не плохие и не хорошие, разные. Он протягивает мне котелок. Я приподнимаюсь. Одной рукой беру его снизу. В голове шаткая карусель.

И тут за спиной — тяжелый топот бегущего человека. Что-то случилось. Но я не обращаю внимания. Я пью. Хоть бы взрыв — прежде чем умереть, я напьюсь. Но раздается немецкая ругань. Бешеный удар сапога выбивает у меня котелок. Звякая, тот катится

по двору. Второй удар — в ухо — получает Энгель. Во дворе беснуется ефрейтор. Захлебываясь, он выкрикивает ругательства.

Гневная обида затмевает мое сознание. Я хочу пить. Но, кажется, уже не напьешься. Энгель виновато моргает подслеповатыми глазами. Ефрейтор что-то кричит, размахивая перед ним кулаком. Очкарик берется за ящик. Сердце мое рвется из груди — я чувствую, сейчас произойдет что-то решающее.

Вскоре они все хватают ящики. Ефрейтор, ругаясь, бежит к хлеву за своим котелком. Очкарик один ящик взваливает на спину, второй — продолговатый и чуть поменьше — берет за лямку. Самый большой взваливает на плечи Энгель. Торопливо цепляет на себя почти кубической формы зеленый ящик ефрейтор. Но на снегу остаются еще два. Ефрейтор, запыхавшись, оглядывается на нас. И тогда — о чудо! — с завалинки вскакивает Сахно. Я даже не понимаю куда. Видно, не понимают этого и немцы. А он без единого слова хватает ящик, второй и оба вскидывает ремнями на свое правое, здоровое плечо. Ефрейтор удивленно раскрывает рот, а потом с силой хлопает его по спине:

— Гут, капитан!

И хохочет.

А я перевожу взгляд вверх. Я не удивляюсь и не возмущаюсь. Чувства мои уже мало на что и реагируют. Я уже все пережил. Я только гляжу в небо.

Там прорезалась и блестит маленькая одинокая звездочка. Она, пожалуй, как раз над Кировоградом, до которого я не дошел. Как не дошли многие. Интересно, сколько тысяч живет в этом городе? Получится ли хотя бы по одному на убитого? Было бы здорово на минутку взглянуть на его улицы. Наверно, когда-нибудь там будут цвести цветы, зеленеть тополя. И на бульварах будут гулять девушки. Ребята будут поступать в вузы и увлекаться футбольными матчами. Звездочка в небе вздрагивает и раскалывается на две и три. Туманом заволакивает взгляд. Это мороз. Он, кажется, меня добивает. Видно, скоро меня не станет. А Сахно будет жить. Будет. Он уже преодолел свой шок. И я думаю: недаром говорят, что война любит смекалку. Кто раньше смекнет, тот и победит. Он смекнул вовремя. Там он был образцовый особист. Тут будет образцовый пленный.

Все остальное доходит до меня будто с другого света. Немцы торопливо закуривают и выходят за ворота. Я все это слышу. Но я вижу только ту малюсенькую звездочку в далекой зеленоватой голубизне. Она мелькает, прыгает, рассыпается на две, четыре и колючими осколками сверкает в высоте. Веки мои смерзаются, и я закрываю глаза.

Кажется, немцы меня оставляют.

Однако в воротах они вдруг задерживаются. Слышится голос ефрейтора. Сначала тихий, потом приказной, властный. И сразу же резкий скрип сапог.

Я открываю глаза.

Сгорбившись под ящиком на спине, надо мной стоит Энгель. Он нерешительно, словно боясь, заглядывает мне в лицо. Взгляд у него испуганно-настороженный. И я вдруг догадываюсь, зачем он вернулся. Я знаю! Иного я и не ждал.

Но почему Энгель?

На руках я откидываюсь к завалине. Упершись каблуком в землю, поворачиваюсь к нему лицом:

— Ты?

Энгель отступает на шаг и дрожащими пальцами берется за рукоятку затвора. Он с усилием загоняет в патронник патрон и бормочет:

— Эс тут мир зер ляйд… (Я очень сожалею…)

Я понимаю. Он просит извинения. Это чудовищно. И невообразимо. Это ужасно. Видали ли вы этаких убийц? Читали ли о них в книгах?

— Эс тут мир зер ляйд. Абэр их хабе айнен бефёль! (Но я имею приказ!)

Да, конечно, он имеет приказ! Это уже знакомо. Это безусловно.

Ну что ж! Надо кончать. Мне нечего плакать. Тщетно также просить. Руками я распинаю на груди шинель. На, стреляй, гадина! Целься в самое сердце. Чтоб долго не мучиться! Мне уже невмоготу эти муки.

— Беайльт ойх!.. (Торопись!) — кричит с улицы ефрейтор.

Оказывается, они пошли. Ему теперь их догонять. Они спешат. Может, через час тут будут наши? Эта мысль переворачивает во мне все. До слез становится обидно.

— И ты меня убьешь? — кричу я в растерянные подслеповатые глаза Энгеля. — Ты в меня выстрелишь?

В моей душе вдруг вспыхивает слабенький отблеск надежды.

Я же его не убил. Я его защищал. Неужели он не вспомнит этого?

На одном колене я подаюсь от завалины к Энгелю. Он на шаг отступает. Похоже, он боится меня и почему-то оглядывается. Глаза его округляются. Рукой он снова дергает рукоятку затвора.

Из карабина туго выщелкивает патрон и падает в снег.

— Их хабе айнен бефёль! — дрожащим голосом, словно оправдываясь, говорит он и быстро отступает еще на два шага.

Выстрел, как гром, пахнув в лицо красным пламенем, валит меня на снег.

Какое-то время затем я еще чувствую звучные удары под собой — дуг-дуг-дуг... Я не знаю, что это — его шаги или замирающий стук моего сердца. Постепенно они затихают...

Глава тридцать восьмая

— Гражданин! Гражданин! А ну встаньте!

— Что разлеглись? Не дома!

— Вставайте! Сейчас же встаньте!

Между скамеек ходит дежурная с красной повязкой на рукаве, и с ней милиционер. Они будят пассажиров, так как спать в зале не разрешается. Женщины, мужчины и парни, кряхтя и сопя, поднимаются. На их сонных лицах крайняя степень неудовлетворенности.

После бессонной ночи тупо болит голова. Надо бы таблетку пирамеина, но аптечный ларек, конечно, еще закрыт. В огромных вокзальных окнах — прозрачная синева рассветного неба. Начинается погожее утро.

Парня на скамейке возле меня уже нет, наверно, отправился своей дорогой. На его месте сидит знакомая женщина в цветастом платке. Подперев рукой щеку, она сосредоточенно смотрит в пол. Видно, также не вздремнула за ночь. Из другого ряда скамеек к нам забредает ранний на подъем малыш с побрякушкой в руках. Широко расставив искривленные ножки, доверчиво всматривается в меня, затем смотрит на женщину. Выражение лица у той не меняется. Малыш, неловко повернувшись, торопливо убегает за скамейку. Нас он побаивается.

Мне больше тут не сидится, и я иду к двери.

На площади еще по-ночному прохладно и пусто. Фонари уже не горят. В чистом просторном небе над городом почти уже светло. Вот-вот должно взойти солнце. Напористый майский дождь быстро пронесся по улицам, крышам и бульварам, оставив после себя ароматную свежесть утра, мокрую листву и зеркальные лужи-озерца на асфальте. Лужи быстро округляются — сохнут.

Резкий скипидарный запах тополей наполняет сквер. Весенней сыростью и прелью пахнет набрякшая влагой земля. С ночи листвы на деревьях будто прибавилось, и она густо зеленеет, отрясая на землю холодные крупные капли. На пустой крайней скамейке — просиженная мокрая газета. Я опускаюсь рядом.

Энгель все же оказался нерадивым солдатом фюрера. В своем усердии выполнить приказ он поспешил. То ли из-за нежелания отстать от своих. То ли из-за боязни наших, которые где-то обходили село. Или, может, питая какое-то подспудное сочувствие ко мне. Не очень целясь, он выстрелил всего один раз. А надо было бы два. Один выстрел меня не убил. Только на многие годы наделал заботы

докторам. И если я сейчас жив, то земной поклон их золотым рукам и их многотрудным заботам. Но наипервейший поклон тетке Тарпине. Это она, пожилая сельская бобылка, не дала мне изойти кровью и замерзнуть. Ее руки задержали во мне крохотные остатки жизни, хоть это было не просто. И теперь вместе с ненавистью к подлости в моей груди живет великая любовь и благодарность к милосердию чуткой женской души, так часто отводившей от нас погибель.

Широкие косые лучи невидимого за домами солнца зажигают в вышине небо, и оно горит, сияет, звенит первозданной утренней свежестью. Кошмарно долгая ночь позади, и я думаю: какой удивительной силой обладает утро! Восходит солнце, и все на душе просветляется. Куда только деваются ночные терзания; утром все видится намного проще и легче, чем представлялось ночью. Огромным зарядом бодрости утро преображает человека. Правда, в войну все было иначе. Утро и день редко приносили радость солдату.

Струи свежего воздуха легко и сладко вливаются в мою грудь. Мне хорошо. И даже неизвестно почему становится радостно. Может, оттого, что я вот, несмотря ни на что, — живой. Хоть и с протезом вместо левой ноги. С не так давно залеченным очагом в легких. Растеряв по больницам молодость, недоучившись, недолюбив. С двадцати лет инвалид. И все-таки жизнь — главное. Только в ней — счастье и беда, наказание и награда.

С привокзальной площади в сквер входит молодая пара с вещами. Впрочем, вещей немного: у высокого длиннорукого парня — чемодан с металлическими наугольниками и пальто. У нее — маленькой и остроносенькой, с виду совсем еще девчонки — громоздкая дорожная сумка. Из-под простенького поношенного плащика сильно выдается живот. Щеки и переносье густо усыпаны веснушками.

— Вот давай тут и присядем, — говорит она, ставя на скамейку напротив сумку. И вдруг спохватывается: — А где твоя куртка?

Он, угловатый и неуклюжий, недоуменно оглядывается.

— В зале оставил! — догадывается парень и опрометью бросается из сквера.

— Маша ты растеряша, — смеется она вдогонку. Потом садится рядом с вещами. Заметив мое к ней внимание, торопливо запахивает полы тесного на ней плащика. — Такой забывака — страсть!

— Ничего, привыкнет, — говорю я.

— Третий раз уже забывает. В деревне у моих оставил, когда отъезжали. Потом в автобусе забыл. Прямо беда. Как профессор какой, — добродушно усмехается она.

— Далеко едете?

Она враз становится серьезной и легонько вздыхает.

— Ой, на целину едем. В Кокчетав и дальше еще километров двести. Первый раз из дому — прямо страсть. Говорят, там ни деревца нет, а я так лес люблю. У нас такие леса… Вот поехала и все сомневаюсь: а вдруг плохо будет.

— А он как? Хороший?

— Кто? Сашка-то? — Она смущенно улыбается, и серые глаза ее наполняются теплым светом. — Он хороший, — говорит она нараспев. — Шебутной только. После армии на целину завербовался, комбайнером. Вырос в степи, так уж больно простор обожает.

— Тогда ничего. Привыкнете. К степи, разумеется.

— Правда? Ну что ж! Как-нибудь надо. Семья ведь теперь…

Она вздыхает и нетерпеливо поглядывает в сторону вокзала, откуда с курткой в руке уже бежит ее рассеянный избранник.

Минуту спустя они устраиваются на скамье завтракать. Она деловито достает из сумки еду. Чтобы не смущать их, я отворачиваюсь. Мимо по дорожке сквера, полязгивая каблуками кирзачей, проходит солдат. Очень спешит, наверно, опаздывает из увольнения. Щеки его раскраснелись, лоб мокрый. Тихо переговариваясь о чем-то, соседи мои начинают завтракать. Я слышу, он ее называет Катюшей, и мне очень невтерпеж обернуться. Но нет, я знаю, той Кати не будет. Это другой человек, иная судьба. Впрочем, что ж — жизнь продолжается.

Я гляжу в дальний конец сквера, где появляется еще одна пара. Тесно прильнув друг к другу, они медленно идут к последней в ряду скамейке. Он бережно укрывает ее своим пиджаком. У самого плечи облегает мокрая рубашка. Но что там рубашка, если темноволосая головка так преданно и счастливо льнет к плечу. Глядя на них, я слушаю быстро удаляющиеся солдатские шаги и думаю: этим ребятам принадлежит будущее, и в том их преимущество.

Пусть же они будут счастливее нас.

1965

Василь Быков (1924–2003)

Сотников

1

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели вперемежку с ольшаником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, — было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегала здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных

запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере.

По крайней мере, должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине послышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

— А! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. — Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что в общем беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко, — ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь

сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздирающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь-девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь — всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поесть бы только…

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада…

— Не диво, приснится, — глухо согласился Сотников. — Неделю на пареной ржи…

— Да уж и паренка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал, — сказал Рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью, будет и дом

с сараями и задранным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно чувствуя близость жилья, волк осторожно и неширoко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофляница, и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было, — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего

человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор.

— Подрубали называется! — бросил Рыбак, уныло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то, — сипло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и, когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармони. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными, — больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо были ранены, двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не

высунуться. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согреет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали, — оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно…

— На, на! А то, гляди, совсем окочуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся, не может быть…

2

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на

правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, которое сегодня вдобавок ко всему начало еще и лихорадить.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубок, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, и тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже, — подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего... И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче, — издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной лощине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но, еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, по отсюда ему плохо было видно, что именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес, а вокруг стыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, вгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колеям дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик, не разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться, — решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. — Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай, — односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверно, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии.

Двенадцать суток пробиралась из-под Слонима на восток небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считаных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леска. Сотников опять приотстал, его суконные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блестел с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его полнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. В тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого…

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны слагается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груду покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно палили вверх из винтовок, но пользы от такой их стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном в батарее тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что им и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались обнаглевшие «юнкерсы» и «хейнкели», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западнобелорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале: несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снарядных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак: ПНШ, закуривший из его пачки, намекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то

деревне, навстречу шли пехотинцы; невдалеке, видно было в ночи, зажженное авиацией, что-то горело ярким, на полнеба, пламенем — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте не много увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячей волной взрыва, он тут же вскочил: «Комсомолец» сильно осел на правую гусеницу. И тут началось…

Как раз светало, за вербами ярко синел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батарее развернуться вправо и влево, но не так просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрав вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало соляровым дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться, — они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покореженные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было уже заряжено), дрожащими руками кое-как довернул толстенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестии панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу, из-под незакрепленных сошников, брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он

еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат вперил гаубичный ствол в его серое лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто яичная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, второй или третий снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверно, уже не осталось, последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка; рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло, тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под лавой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но чувствовал, что оглох: взрывы вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив, за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел,

наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка.

Потрясенный неожиданностью разгрома Сотников минуту осоловело смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда...

3

Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, они проходили стороной по дороге, но в деревню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало заботило — важнее было определить, нет ли там немцев или полицаев, чтобы ненароком не угодить в западню.

Он недолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахнуло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо, — негромко сказал Рыбак. — Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе, — там начиналась улица. Но возле крайней всегда больший риск напороться на неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригумье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак

сделал по ней два шага, но тут же соступил в снег — на тропке пронзительно заскрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли так, по обе стороны стежки, к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук — во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека — завидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то возился с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, заслышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она замерла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался — он уже знал, что в этой деревне спокойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи боже, и напугалась же! Ой, господи…

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаев. Был один, так в местечко перебрался. А больше нет.

— Так… — Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла. — Деревня как называется?

— Лясины. Лясины деревня, — полная внимания и еще не прошедшего испуга, отвечала тетка.

Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо бы тут и отовариться: подход-выход хороший, на пути гумно, лесок — если что, все это прикроет их от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я, — будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу, — вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наверно, старалась угадать тайную цель их ночного визита.

Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто, — упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора. — Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться, иродам!

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит, не врет, можно верить. И он про себя недовольно чмыхнул, поняв, что и здесь, наверно, ничего не выйдет, — не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине.

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую настороженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорище. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удальства работе.

На четвертом ударе трещина криво обежала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сынок. Дай тебе Бог здоровьичка, — без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь…

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили: ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Петра Качан. Он теперь старостой тут, — простодушно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутошний.

Рыбак, помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак приметил в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки — и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота завертку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом в наброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер, — со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился

за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным пристуком закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и не догадывался, кто они, эти непрошеные ночные пришельцы.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг.

Старик вздохнул и, наверно поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну, — сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом.

В то время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежли за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пень — не принимает ли он их за полицаев? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки, — обрадовалась приглашению хозяина женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова. — Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой…

— Можно и присесть, — согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насунута на приморожённые уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Боится», — подумал Рыбак. Следуя своей

партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет, — с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж, голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего…

Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланой нерешительностью обратился он к Сотникову. — Подкрепимся, если пани старостиха угощает…

— Вот и хорошо. Я сейчас, — обрадовалась женщина. — Капусточка, наверно, теплая еще. И это… Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда, — решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотись на стол, неподвижно сидел в углу.

Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится, — вздохнул старик. — Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак. — Видно, с характером».

В березовой раме на стене среди полудюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно-спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш, — ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиции случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был…

— Ой, Божечка, как пошел в тридцать девятом, так больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили… — ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха.

— Так, так, — сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику: — Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь, — с жаром подхватила от печи хозяйка. — Опозорил и сына и всех чисто…

Это было несколько неожиданно, тем более что старостиха говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста вперил укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не его в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу. — Ваша вина.

— Да-а, — неопределенно произнес Рыбак, не поддержав малоприятный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме вразобострившегося чувства голода. Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам, — с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем, — сказал он Сотникову.

Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже

вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно мало понимая состояние гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо, — решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так извините…

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю, — сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу Библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, однако, почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать, — проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул Библию.

— Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг, — сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечавший обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке. — Ты враг. А с врагами у нас знаешь какой разговор?

— Смотря кому враг, — будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом Советской державы. Заводить долгий разговор с ним Рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой, — сказал хозяин.

— Значит, сам.

— Как сказать. Вроде так.

«Тогда все ясно, — подумал Рыбак, — не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого начала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей…

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и, несмотря на годы, большой и плечистый — встав, заслонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене. — Ну!

Видно, старостиха привыкла к послушанию — всхлипнула напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие. Вон, — он коротко кивнул на простенок, — ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин; действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким тоном не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиха. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что, — безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста.

Старостиха перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал: было весьма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча распахнул дверь. Направляясь за ним, Рыбак кивнул Сотникову:

— Ты подожди.

4

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, Божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, Господи!

— Назад! — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери.

Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они там…

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверно, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове.

Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выгоры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колупавшейся в грядках. До сих пор его глазам

видится ее подоткнутая темная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально вгляделась в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как попасть на тропинку и перейти кладки, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверно же, голодный», — торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сынок» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком» — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видать, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись…

Старостиха тем временем все не могла успокоиться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!

— Надо было раньше о том думать, — холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало просила! На какое же лихо ему было браться? Были которые помоложе. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не боятся?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут весь век свой живем, нашей вон родни пол села. Он же старается ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок, — не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют: то хлеб сдай, то одежку какую собери, то на дорогу приказывают выгонять снег чистить. А он же где возьмет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят. А как же? Чтоб их Бог ограбил! Приехали на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Говорят: сын в Красной армии, так чтоб вину сгладить перед Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их Германия!

«Проклинай, но не очень я поверю тебе», — сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда, однажды ему послышалось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверно, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины, испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно. И он обмер в растерянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на их рукавах белели повязки, а рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми, девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал той ласковой тетке, — он только оттолкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверно, в овражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полицаям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сынок», «деточка»...

Старостиха, не слыша ничего страшного со двора, немного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутошние мужики упросили. Он, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лясинах, еще никакого старосты нету. Ну, мужики и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так, — говорят, — тебе их норов знаком, потерпи каких пару месяцев, пока наши вернутся. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Будила этот тоже из Лясин, плохой — страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт бы по нем плакал... Так это Петра, дурака, и уговорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горюшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще наганом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай Бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи, и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то начинал бить так, что кололо в мозгу. Старостиху он слушал и не слушал, вникать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, мало трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные, причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не ударился о стену. Хозяйка, сама испугавшись, кое-как поддержала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной! Ах, Божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как хрипит все в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько заварю…

Она с искренней готовностью помочь юркнула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и впрямь его дело дрянь, если так забеспокоилась эта тетка.

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уже ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже примечаю. Если, может, некогда, то на малинки сухой, может, заваришь где-либо, попьешь. А это вот зельечко…

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не желал этой тетке хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. В это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал и с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднять на плечи.

— Так. Ты иди, — ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте, — и прикрой дверь. Нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакомому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу.

Сотников потащился следом.

5

Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по-ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине — откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты, хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверно, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником, но что поделаешь: разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой и тогда, наверно, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем нетяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Ахрему:

не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недолгому по войне примаку.

Ну что ж, если бы не война! Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зоею? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой, глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в избу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом… А потом вокруг все утихло, водворилась новая, немецкая, власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда.

Очень горько ему было в то время, и тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой, и, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы — кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, — начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жен. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо — так надо: дело военное». И он, и тетка Ганулья собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал

давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случалось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие.

В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, по потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удержать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе…

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным: наверно, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная

мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.

— Ну как? Ничего?

— Знаешь… Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется, — отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не приметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что это чуть слышный топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу — разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге: их оказалось двое — вторые почти впритык следовали за первыми. Но

седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось уже немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — там бы они, наверно, ушли. Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попались!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что Рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было то, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздались сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было оглянуться с овцой, — Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж... Как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине ощетинился голыми ветвями ольшаник, в рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало Рыбака: значит, оторвался, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху, с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека, и, хотя пока не бегут к нему, они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так случилось во время Финской, когда проклятые кукушки набивали по четыре-пять человек за минуту, и все тем же самым примитивным способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по

цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих понимал, что его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота.

Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вряд ли его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали, за кустарником, грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось», — подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

6

Сотников не имел намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся.

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверно заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет, — в правом бедре вдруг запекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.

Сзади опять послышались голоса — наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вываляны в снегу, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на

это внимание — двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, двое сзади, — неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений, — страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется. Но он был в сознании и имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильней стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдается, они там по всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда — на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверно, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше; от стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут — постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка поташнивало. Он испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, — не сдаться живым.

Сотников осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой.

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились…

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела, месяц вверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверно, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его падежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаю…

Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись — возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел: они возвращались к дороге.

Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что опасался напрасно: невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Однако новый поворот дела даже воодушевил его — с одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле — стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по полю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он натянул его, хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб.

И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос:

— Сотников, Сотников…

Это поразило его, и он подумал, что, наверно, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак! Сотников отчетливо расслышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: гибель откладывается.

Они поползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицай все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял

снег в рукавах и за воротником полушубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверно, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади никого не было, полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну, как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо, — едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то… обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может…

Слабо заворошившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах, то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще как-либо удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стылые ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом, иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии — не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем

на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, Рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма, — глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же, в конце концов, в плен — придется драться.

— И откуда их черт принес? — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. — Вот уж действительно: беда одна не ходит…

Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндевевшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит, — буркнул Сотников.

— Терпи, — грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отозвалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и Рыбак

всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь…

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, пробуй», — подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо тащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро настигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутиться.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз, оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь.

Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами: в одном месте что-то неясно зачернело, и, подойдя ближе, Рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся

следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник в который уж раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться...

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Он недолго постоял над Ситниковым, который немощно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только поддаться испугу, занервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц и поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле: глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно рощица,

очень уж куцая рощица — гривка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, нечеткие силуэты кустов. Но вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полоску дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как никогда кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

С помощью Рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложе винтовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью, к тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой — другого выхода не было.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор, дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они потащились в сторону рощи.

8

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилевшее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и закостенел; другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег.

Покамест они добрели до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в лощине тянулись заросли мелколесья, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни: ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.

— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так, посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось,

послано Богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки, и раскидистые суковатые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толщенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем исстрадалось, намерзлось, зашлось глубинной неутихающей болью.

Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем Сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости Рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел бы ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего, в гумне перепрячемся.

«Подождать — это хорошо, — подумал Сотников, — лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дождаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросился в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку.

Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверно, давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал одинокий камень, не было даже креста. Струхлевшая оградка доживала свой век — видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал: «Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это возможно? И зачем это надо?

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определятся счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?»

Сотников на всю жизнь запомнил, как летом в полевом шталаге немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унизил ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно ожидая решения свыше. Разумеется, полковника

затем расстреляли, но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле боя: ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих (они случайно оказались рядом, за стенкой барака).

Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел Рыбака. Вместо того чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверно, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого…

— Ну?

— Так это, понимаешь… Может, я тебя заведу, погреемся, а потом…

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет, — заметно обрадовался Рыбак. — А мне надо… Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим… А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно, — нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели, и все прочее.

Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладал с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше: по крайней мере на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук; угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свеженатоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы, — там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.

— Ну.

— А отец где?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят, — тише сказал Рыбак. — Ты чем покормить нас найдешь?

— А бульбочку мамка утром варила, — отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокоченными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверно, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.

— Ну, давай подрубаем, — подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшееся его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз.

— А хлеба что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уже девять.

— Много. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная

истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать твою как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Демчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян?

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно, потянулся за новой картофелиной, под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать? Пацанка еще.

— А вот и знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, ранили, да?

— Ранили или нет, о том ни гугу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегаю, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди…

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес — реденький соснячок при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют. Они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты,

наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю соснячка, затем прозвучала команда всем сесть — как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно — обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». — «Разве неясно что». Сотников осторожно повел в сторону взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке — опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир этот был сильный, приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителе; из-под мокроватой с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крякнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец, ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, тотчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторяя про себя: «Жив! Жив!»

К сожалению, соснячок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась, впереди разлеглось уставленное рядами крестцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше — по стерне через поле, туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую, с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, и Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе переплело — солома, туго пырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень — обычный, размером в кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело

прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец сгоряча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать коня, — и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы, а также ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда; и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве, мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

9

Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно, уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя — приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.

Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на проходе отодвигалась дерюжка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое

стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пузырьков от лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно, — думал он, — заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать».

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты — характером его Бог не обделил, энергии также хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень не сладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем, ему пока что везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверно, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От

детского крика встрепенулся за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, мамка, а у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека.

— Здравствуйте, хозяйка, — со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. — Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал Рыбак, — что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее — свалянные, нечесаные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. — Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы, — сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы только по зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков… Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибирать возле печи: горшки — на загнетку, ведро — к порогу, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала; продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей. — Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотлеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. — Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Демчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полицая, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.

— А где твой Демка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Демку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям. Рыбак все думал, не зная, как наконец подступиться к Демчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее.

— Тут, видишь ли, тетка, товарищ того…

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Демчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему, — сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Демчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо, — сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезшими клочьями серой ваты, измятую телогрейку. — На, все мягче будет.

«Так, — мысленно отметил Рыбак. — Это другое дело. Может, еще подобреет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным.

— Больной, — уже другим тоном, спокойнее сказала Демчиха. — Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет, — отмахнулся рукой Рыбак. — Ничего страшного.

— Ну конечно, вам все не страшно, — начала сердиться хозяйка. — И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиться, вспотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее, — кашляя, сказал Сотников.

Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко раскраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях.

— Что же еще может быть хуже? — допытывалась Демчиха, убирая со стола миски. — Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим, — шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунами. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички — рану обмыть. Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали, — как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват. — Говорят, одного полицая подстрелили.

— Полицая?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верно, — улыбнулся на конце скамейки Рыбак. — Они все знают.

Демчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугунке и направилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно, — согласился Рыбак и ступил к Сотникову. — Давай бурок снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец рану. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и с виду вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое, — озабоченно сказал Рыбак. — Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь, — начал раздражаться Сотников. — Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Нога Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягался и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Демчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стеснительно съежился.

— Не бойтесь! Нате вот, перевязывайте, чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон и, как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая, — сказала Демчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка. — Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот

женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужаленный он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица, — он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок.

Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла, кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стежке, как раз, наверно, по их недавним следам. Как только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Демчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Демчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Демчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу; Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стены.

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом, костра из пакли обсыпала лицо и кололась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же они старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Демчихой.

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицаи, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется направляясь к двери. Демчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости, — глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей, — был им ответ.

«Э, не надо так, — с сожалением пронеслось в голове у Рыбака. — Зачем задираться!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть!

— А у меня лавка, что ли?

— Тогда гони пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам наделаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос. — Партизан так, наверно, сметанкой кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения: а вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет, пока что стучали в сенях, наверно, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост-засада — будут караулить дорогу.

Они все еще шарили в сенях, как Сотников рядом неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверью, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Демчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевывал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неуемных потугах. Но, видимо, было поздно — их уже услышали.

— Кто там? — наконец прозвучало внизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет, — слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Демчиха.

Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стась! — властно скомандовал громкий свирепый бас.

Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — громким басом командовал внизу полицай.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Демчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей.

Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицай все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел снизу командирский бас. — Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! На автомат! Автоматом чесани!

«Это уже все, точка», — сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было кончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал будто неживой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже, даже перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уж не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу мать! — ласковой бранью приветствовал их полицай, взбираясь на чердак.

10

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев, не очень боялся, что могут убить, — его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака да и Демчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Демчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались, пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Демчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель, — так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу — в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, ал и вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Демчиха.

Старший полицай важно повернулся к другому, в кубанке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось, — выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины. — Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников. — За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стаею. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную Демчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол в винтовку.

— Будет знать за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал.

В сенях их обыскали: выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными супонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Демчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеней обжигал больную грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши — пилотку он потерял где-то, наверное на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь уж все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли, — может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплевывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Рыбак взглянул на него и снова опустил голову.

— А теперь вас помоют-побанят и того, мало-мало подвесят. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицай так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый!» Но смех этого малого как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицай разразился матом: — Такие-сякие немазаные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам размотаем кишки!

— Не знаем мы никакого Ходоронка, — уныло сказал Рыбак.

— Ах не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Поняли?

Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Рыбак негромко спросил:

— В армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сеней.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка-комиссара взял. Тому не понадобится, — сказал полицай и, продолжительно посмотрев на Рыбака, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову.

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками, и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое

крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицай. Возчик — староватый, напуганный дядька в рваном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он превозмогал немощь и боль.

Из избы почему-то не возвращался старший полицай, за ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Демчихи. Сотников с тревогой вслушивался — оставят ее или нет? Минуту, похоже было, там что-то искали: постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала Демчиха:

— Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердные!..

— Живо!

Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком; заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке, возле ограды, они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Демчиху. Бедная тетка! Бежала домой и не думала не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицай вызверялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Демчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гэлечка моя, как же ты будешь?!

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты погань несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запроданец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой.

Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Демчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная баба.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи! Истязатели!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.

Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой его угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы!

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабо? — Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался.

Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни, — сказал он с расчетом на Рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. — Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать, — закивал головой Стась и опустил винтовку. — Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на твоего Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным, лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой

думал, что едут они слишком уж быстро, ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись — больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню — лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что, если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу, наверно, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову. Можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками — всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас. Если бы не Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гастинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и Рыбак подумал: хана! Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и Рыбак с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и мелкий огонь по немцам, что те по одному начали

залегать в снегу. Наверно, он подстрелил нескольких фрицев. Они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало, Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее какая-то пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может, потому вместе попали на это задание.

Но теперь конец, это точно. Не важно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же…

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки, — сколько он незаметно ни выкручивал их из петли,

ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть?

А может, стоило попытать счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, Рыбак тем не менее все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.

11

В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака и за Демчиху. Особенно его беспокоила Демчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников.

Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак, потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, в морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака; бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли и Сотников и Рыбак.

Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле; селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться.

Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полицая в длинном караульном тулупе, с винтовкой под

мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверно, бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Полицай, наверно, ждал их и, когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный, очищенный от снега двор, со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка.

— Привезли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась. — Мы да кабы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор — отсюда уже не убежишь. Пока возчик и Рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда — сельского оплота немецкой власти. Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной.

— Давай их сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей, — поодаль отряхивались полицаи и обреченно стояла Демчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками, та сгорбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке. Изо рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней — как ни повернись, болью заходилась нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Демчиху и, как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы.

— Ты что? Ты что, чмур?! — взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога.

Адская боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно

поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай:

— Ах ты, выродок комиссарский! Ишь заступник нашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицая бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой захлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял от пола лицо. В помещении никого больше не было, это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда уже не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась неуютной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку.

«Ну вот, тут все и кончится! — подумал он. — Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большой ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то

вошел, перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстуке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш, — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона.

Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека.

В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысинами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому учит немецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами, а тот в деланом испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность.

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно недослышав, озабоченно нахмурил лоб.

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить, — сказал Сотников.

Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уже терпеть.

Полицай кивнул Гаманюку:

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет орудия пыток — должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытают, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес большую эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять.

— Ну, познакомимся, — довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. — Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим, — сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем, — согласился следователь, хотя ничего не записывал. — Из какого отряда?

Ого, так сразу и про отряд! Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.

— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно-уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью, однако, и выдававшие тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверно имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно наконец прорвется, хотя и не знал, как крепки нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет наконец с себя маску.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно пособником у вас эта женщина?

— Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было, — спокойно объяснил Сотников.

— Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к лесиновскому старосте вы также зашли случайно?

Вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверно, в тот самый вечер. «Пожалели, называется, не захотели связываться», — подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку,

крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно, — после паузы твердо сказал Сотников.

— Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, только жалел несчастную Демчиху, которую неизвестно как надо было выручить.

— Вы можете поступить с нами как вам заблагорассудится, — сказал Сотников. — Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет, — глядя в упор, объявил следователь. — Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно соврешь в мелочах — не поверит и в правду. А правду о Демчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь.

— А если я, например, все объясню, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь.

— Я не обязан вам ничего объяснять! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся», — уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверно, пропала Демчиха.

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы! Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ощетинился следователь. — А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы! Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников. — Недавно еще, наверно, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то

затаенное, особенно не напирал с допросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите? — сказал Сотников.

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуете?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем, — сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога, кажется, его выдержка кончилась. — Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету, фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко беспокоились.

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной,

возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались не равными, преимущество было на стороне противника: все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов вперил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно, казалось, опять уходит сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал: это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу к господину следователю!» — после чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий, буйволоподобный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз.

— А ну!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А ну, большевистская гнида!

12

«Достукался!» — почти зло подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Демчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки,

вытянули ремешок из брюк. Демчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила тьма, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загремел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Демчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади: оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту.

Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицаем и Демчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут, маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем лязгнул засов, Демчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери доносился их удаляющийся, деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве.

— Садись. Чего стоять? Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и…

«Так-так», — стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой? — несколько делано удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свету из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежли забрали, так надо было доложить. А я… Да теперь что!.. Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции уже все известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, а им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак нисколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли всего только овцу, и не у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и только удивлялся, как это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — затянуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та порешит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и сонно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его… Правда, он не хотел думать

об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробивались тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погрузившись в свои тоже, разумеется, невеселые мысли, — теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полицая ночью поранил, неизвестно, выживет ли, — после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его.

Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить?

Рыбак затаив дыхание слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает, — сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед Богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а, — вздохнул Рыбак. — Значит, кокнут. Это у них просто: пособничество партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься…

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму…

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги

отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!» — и в тот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут, — сказал Петр. — И на людей не смотрят — носятся, как холеры какие. Наверно, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют.

— Крысам теперь только и шнырять.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс. Ах ты Боже мой...

Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полицай хохотнул коротко и противно, а в Рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом: его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старосты осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полушубочек и скинешь, — с силой хлопнул его по плечу Стась. — А ничего полушубочек, ей-богу. И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда? — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге. — У тебя какой номер?

— Тридцать девятый, — солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг вызверился полицай. — Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрямиться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери:

— Можно?

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полицай-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек.

Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак, — подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно…

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверно, требовала такого же темпа в ответах, но Рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы, — сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Проверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колене полу полушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу», — с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте.

— Так, так, понятно, — соображая что-то, прикинул следователь. — Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд.

Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь.

Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не затем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять: верят ему или нет?

— Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжал допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся.

Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери…

Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору; кажись, от Сотникова они немного узнали, значит, можно насказать сказок — пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им.

— Так! — Следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я, — сказал Рыбак не слишком, однако, решительно.

Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: «Чтоб ты издох, сволочь!» Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Я недавно в этом отряде…

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов. — А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр.

— Ах, Петр.

Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник, но тотчас он сообразил: следователь хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля, — терпеливо поправил Рыбак. — Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда же?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтярня, Ульяновка. Ну и эта, как ее... Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Демчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавшие в поясе бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выгородить Демчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. До Демчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся. — Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически

ухмыльнулся. — Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланой преданностью взглянул в живые, с начальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии…

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это… Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой?

Стась встрепенулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Гы, значит, откладывается? — дернул его за рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски улыбчивое лицо полицая.

Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали…

Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь.

— Черти! Не слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытье и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг, Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода…

Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вожделенное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!»

Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести — десяти секунд, наверно, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бессмыслицей, за которой едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие и без того нестерпимые его страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо... — сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай! — злобно заметил Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек помирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно; Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Звери!

— Тихо, вы! — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, паузы, — наверно, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промычал что-то Сотников.

— Да-а, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет.

Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему

важно было выиграть время — все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло, — рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик.

Эти его слова неприятно задели Рыбака — какое ему дело? Но он спокойно ответил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмотрел в угол — становилось не по себе от непрошеных пророчеств этого человека: откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каблуки. Шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась.

— На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтрему был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицая круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного сыграть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно, трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на солому.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось, — выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как теперь самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, не очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю, — шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом. — Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и…

— Ничего я им не скажу, — перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не услышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят.

Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более ненадежном месте.

— Слушай! Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет, — наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

«Вот дурила», — подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай, — помолчав, горячо зашептал Рыбак. — Нам надо их повадить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию, — как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься, — язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело; Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задышал труднее — от волнения или от хвори; попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться...

— Для кого стараться? — срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: — Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.

«Наверно, не в карты», — про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой пусть даже отчаянной игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь, — сказал он. — Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

«Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудаком-человеком», — подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у

него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину. Пусть напорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в забытье, и Рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет — он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицаями обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Странным это было и противным — думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В его смерти он видел единственный для себя выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там: длинный и тонкий хвост настороженно пролег по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог, сидел и с неясным брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.

14

Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое место в углу.

Полицай не спешил закрыть двери, и Рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой

вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь наконец затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако, — на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало. Будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае, не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда, — согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разгладил усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд, ну и еще кое-что.

— Вот как! — неприятно удивился Рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. — Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело… Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников.

— Кто это?

— Да тот, лесиновский староста, — подавленно сказал Рыбак.

Разговор на этом прервался, Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять затопали шаги на ступеньках, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и

теперь, видно, не забирали никого — напротив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась и полицай, посвистывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу, — маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто — я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак. — Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Демчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр.

— Это Меера-сапожника дочка. Допрашивали тебя?

— Ага, — тихо подтвердила девочка.

— Меера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот... одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?.. — И Петр вновь тяжко вздохнул.

Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места — где-то поблизости сидели женщины, — почему же девочку подсадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.

— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... Это так. А ты не сказала?

Бася затаилась, будто обмерла, молчала.

— И не говори, — одобрил погодя староста. — Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченое, а про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что

всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор, рядом тихонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились — сомнений не было: это возвращали с допроса Демчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Демчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужчины, а, Божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. — До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая.

Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром грос аллее капут! Фарштэй?

«Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Демки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться к Демчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Демчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал — было за что. Но она мало-помалу успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а, — озадаченно вздохнул Петр. — А Демьян в войске…

— Ну. Демка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие…

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Демчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровался.

— Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против Бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно…

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный!

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-то? Наш! Филиппенок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что

выделывать стал — страх! В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал — Божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрищеных, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди, нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродкам этим.

— Я вот думаю все, — беспокойно заворошился староста, — ну пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. И стреляют! Сколько перебили уже…

— Как этот, как его… Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лесиновский староста.

Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Демчиха:

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут, — вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали… Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь… Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу назначат — совсем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а, — неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое, — буркнул Рыбак, закругляя неприятный для него разговор.

То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо: адски болела нога от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось как с Демчихой, которая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещее сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл лишать жизни эту несчастную Демчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

15

Как-то незаметно Рыбак, сдается, заснул, как сидел — сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытье на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хрипловатый старческий шепот — это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, говорит, прячься». Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый

куст. Может, знаете, большой такой куст в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку — как сидишь тихо, не шевелишься, нисколечко тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется — позовет, я услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, стало страшно. Все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводы, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу, тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась…

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать, — спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот… Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму и Бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на отшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая Богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полок босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на Господа Бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых, чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок — и на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни через пятнадцать лет, задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на Финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла… Прощаясь тогда, Рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое

пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок.

Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно, остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью на огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет…

— Пусть бы мышей ловил, — отозвалась из темноты Демчиха. — У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромадного, да на чердак не встащила — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так то, наверно, у нее котята были, — догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно… Ну, а потом как же ты?

— Ну так и сидела, — тихонько и доверчиво шептала Бася. — Тетка… Ну та, которая… еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай — свиньи там были. Ну и я возле них. Затиснусь ночью между свиньей и подсвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался…

— А, господи! Вот намучалась, бедная! — вздохнула Демчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела… Ну там в корыте выбирала что-то…

— Ой, до чего людей довели, Боже, Боже!.. А хозяева что, так и не заметили?

— Заметили, конечно. Заспала однажды — уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен, притаилась. Толстый такой клен там…

— Ой, наверно, что против аптеки? — догадалась Демчиха. — Так там же Игналя Супрон жил…

— А тебе что? — неласково перебил ее Петр. — Кто ни жил, не все ли равно? Зачем спрашивать.

Демчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! А что потом… Ни к чему теперь и таиться — все равно… Свет не без добрых людей: Басю ко мне переправили, в деревню. Рассудили верно — у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались: меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли…

Рыбак совсем не удивился и этому, подумал только: плохо прятал, значит. Спрятал бы хорошо — не нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними! Что они все ему? К тому же, наверно, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погодя нарушила Бася:

— Под полом мне было хорошо: тетка Арина мне сенничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула и сразу слышу — ругаются. Полицаи!.. Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнаглели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол, садись. И я тут… Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Демчиха.

— Так что ж… Что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля Рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось, вопреки желанию, — видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда, немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это считалось совсем уже мальчишечьим делом. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокую, с водой, рытвину в логу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком возу, как всегда, уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью, конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза.

Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз,

подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной, в другой раз он, наверно, ни за что бы не выдержал, но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага.

Потом его хвалили в деревне, да он и сам был доволен своим поступком — все-таки спас от беды себя, коня и девчонок — и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить.

И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв.

Только здесь не растеряться мало, и никакая смелость здесь не поможет, здесь нужно что-то другое, чего ему явно недоставало. Тут он связан по рукам и ногам и, видно, ничего уже сделать не сможет.

Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверно, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверно, уже поздно.

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему…

16

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота; столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было темно и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым, напряженным вздохам, скупым движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков: оставить его живым они не могли — могли разве что

замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо; пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью, и он почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте великой войны.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, — как позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашло смерть и от его руки.

И вот наступил конец.

Все сделалось четким и категоричным. И это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет.

На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни, — теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он — командир Красной армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу, он жертвовал собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодновато, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне — неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.

Приснился ему странный, путаный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом — действие почему-то происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец.

Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленные пылающие уголья, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете…»

Сотникову показалось, что это из Библии — толстая ее книга в черном тисненом переплете когда-то лежала на материнском комоде, мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшало-книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в Бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то

невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве…

Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того — кавалерийского поручика с двумя «Георгиями» на широкой груди — офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер — вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие, — ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя Гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.

Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери.

И тогда мальчишка решился взять пистолет сам.

Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов; мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо натянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его

уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими воронеными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал пистолет — подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было не просто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолел мариниста?

Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына.

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил, — упавшим голосом произнес сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога. — Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.

— Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?

— Да.

— Если сам, конечно, надумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул:

— Ну и за то спасибо.

Это было уже слишком — ложью покупать отцовское спасибо, в глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй, — сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то ослушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид Гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась...

17

В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги, глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери, временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание

сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмиревшей Демчихи напротив; в углу неподвижного, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо, строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу. Но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Демчиха из-под смятого платка также тревожно-понимающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загремела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног — и в дверь», — с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу

высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг спать! — во все горло заревел полицейский. — Отоспались. Выходи: ликвидация!

«Значит, не ошиблись, действительно конец, — пронеслось в сознании Рыбака. — Если бы кого одного, а то всех, значит…» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохав, начала подниматься Демчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище. — Ну ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметайсь! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться, — сострил Стась и тут же вызверился: — Гэть, года паршивая!

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием на изготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановилась Демчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шинели.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся.

Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но, в отличие от Сотникова, он произнес спокойно:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове, он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился — не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю, — проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног.

Но полицай сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и глянул через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему, — такого, наверно, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: — Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или нет?

Но до Портнова, наверное, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Демчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Демчихи.

Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено, будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной, полицейской форме: черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же

обшлагами на рукавах, при пистолетах; двое, наверно немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять…

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе.

Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицая, — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака. — Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите одного меня.

Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности:

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой:

— Ведите!

«Вот как, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверно, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?

Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепенулся, весь

подался вперед. Была не была — теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господин следователь! Господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил…

Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и необмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой готова была навсегда оборваться.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен, — со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак.

Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих, — теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Демчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые, а, Божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий

немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой.

— Ведите! — сказал он и повернулся в сторону Рыбака. — Вы подсобите тому, — вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась Демчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и Рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят…

18

Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом.

Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно. По крайней мере, не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.

Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Сотников понемногу приходил в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверно, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился: какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или, скорее всего, согнали население, чтобы устрашить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам, — теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания, в глазах темнело, дорога то и дело

ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главною целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились, впереди послышался разговор по-немецки — несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживающего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения — дальше дороги не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых, со знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздником ее убирали дерезой и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерневших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверно специально ради такого случая выписанных со склада, веревок.

А он думал, будет расстрел...

Двое — полицай и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую, колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унизительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности

другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей.

Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов, это их право, их звериный обычай, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверно, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закостеневшую, болезненную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать — двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколона, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он

полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Демчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край, к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Демчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю.

— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал Будила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Демчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему Рыбаку: «Держи!» — он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы.

Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался наверх.

Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой — в этом все дело.

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Демчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках — приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки, ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем…

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороженностью на бледном, болезненном личике следя за

происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток.

Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздались команды по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Демчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Демчиха, — дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверно, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему: чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся.

Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденновке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха, его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца. Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверно, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.

19

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Демчихой, болталась налегке пятая веревка — не дождется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Демчихи желтый фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!

Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настороженно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! — с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты околел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами:

— А ты думал!

— Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак. — О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при чем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув набок головы, с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы, но никто из полицаев даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных встал часовой — молодой длинношеий полицайчик в серой суконной поддевке, с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полицаи привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти уже не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка в буденновке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти.

— Смирно!

Полицаи в колонне встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло: он был среди победителей. На пол год а, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это нимало не трогало, наверно, сказывалась привычка, на бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь, — какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого, нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на

их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове, оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего.

— Мабуть, без привычки? Научишься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честолюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверно, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то, живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании, Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай громогласно доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами Рыбака. — Ты зайдешь ко мне.

— Есть! — сжавшись от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок:

— Яволь, а не есть! Привыкать надо.

«Пошел ты к черту! — выругался про себя Рыбак. — И вообще, пусть все летит к дьяволу. В тартарары! Навеки!»

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолкались, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

— Эй, ты куда?

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досок вверху чернели полосы толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный, — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть, как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверно, ничего уже не поделаешь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.

Александр Солженицын (1918–2008)

Адлиг Швенкиттен

Односуточная повесть

Памяти майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балуева

1

В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что наш передовой танковый корпус вырвался к балтийскому берегу! И значит: Восточная Пруссия отрезана от Германии!

Отрезана — пока только этим дальним тонким клином, за которым еще не потянулся шлейф войск всех родов. Но — и прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия! Окружена!

Это уже считайте, товарищи политработники, и окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина — рукой подать, если и не нам туда заворачивать.

Уже пять дней нашего движения по горящей Пруссии — не было недостатка в праздниках. Как одиннадцать дней назад мы прорвали от Наревского расширенного плацдарма[17][Наревский плацдарм — общее название Ружанского и Сероцкого плацдармов на правом (западном) берегу реки Нарев (Польша) в районе городов Пултуск, Сероцк и Ружан, захваченных войсками 1-го Белорусского фронта.] — то пяток дней по Польше еще бои были упорные, — а от прусской границы будто сдернули какой-то чудо-занавес: немецкие части отваливались по сторонам — а нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами; спанье на мягком, а то и под пуховиками; в погребах — продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей; еще ж и даровая выпивка, кто найдет.

И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и мыслях. Ну, после стольких-то лет военных жертв и лишений — когда-то же чуть-чуть и распуститься.

Это чувство заслуженной льготы охватывало всех, и до высоких командиров. А бойцов — того сильней. И — находили. И — пили.

И еще добавили по случаю окружения Пруссии.

А к утру 26-го семеро бригадских шоферов — кто с тягачей, кто с ЗИСов — скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчетов. И несколько — схватились за глаза.

Так начался в бригаде этот день. Слепнущих повезли в госпиталь. А капитан Топлев, с мальчишеским полноватым лицом, едва произведенный из старшего лейтенанта, — постучал в комнату, где спал командир второго дивизиона майор Боев, — доложить о событии.

Боев всегда спал крепко, но просыпался чутко. В такой постели дивной, да с пышным пуховиком, разрешил он себе снять на эту ночь, теперь натягивал, гимнастерку, а на ковре стоял в шерстяных носках. На гимнастерке его было орденов-орденов, удивишься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (еще и с Хасана было, еще и с Финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл). И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками: приятная эта тяжесть — одна и радость солдату.

Топлев, всего месяц как из начальника разведки дивизиона — начальник штаба, уставно, чинно откозырял, доложил. Личико его было тревожно, голос еще тепло-ребячеcкий. Из 2-го дивизиона тоже насмерть отравились: Подключников и Лепетушин.

Майор был роста среднего, а голова удлиненная, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень, и нос как чуть-чуть бы свернут к боковой глубокой морщине — как будто неуходящее постоянное напряжение.

С этим напряжением и выслушал. И сказал не сразу, горько:

— Э-э-эх, глупеньё…

Стоило уцелеть под столькими снарядами, бомбежками, на стольких переправах и плацдармах — чтоб из бутыли захлебнуться в Германии.

Хоронить — да где ж? Сами себе место и выбрали.

Пройдя Алленштейн, бригада на всяк случай развернулась на боевых позициях и здесь — хотя стрелять с них не предвиделось, просто для порядка.

— Не на немецком же кладбище. Около огневой и похороним.

Лепетушин. Он и был — такой. Говорлив и услужливо готовен, безответен. Но Подключников? — высокий, пригорбленный, серьезный мужик. А польстился.

2

Земля мерзлая и каменистая, глубоко не укопаешь.

Гробы сколотил быстро, ловко свой плотник мариец Сортов — из здешних заготовленных, отфугованных досок.

Знамя поставить? Никаких знамен никто никогда не видел, кроме парада бригады, когда ее награждали. Всегда хранилось знамя где-то в хозчасти, в 3-м эшелоне, чтоб им не рисковать.

Подключников был из 5-й батареи, Лепетушин из 6-й. А речь произносить вылез парторг Губайдулин — всего дивизиона посмешище. Сегодня с утра он уже был пьян и заплётно выговаривал заветные фразы — о священной Родине, о логове зверя, куда мы теперь вступили, и — отомстим за них.

Командир огневого взвода 6-й батареи, совсем еще юный, но крепкий телом лейтенант Гусев слушал со стыдом и раздражением. Этот парторг — по легкоте проходимости политических чинов? или, кажется, по непомерному расположению комиссара бригады? — на глазах у всех за полтора года возвысился от младшего сержанта до старшего лейтенанта и теперь всех поучал.

А Гусеву было всего 18 лет, но уже год лейтенантом на фронте, самый молодой офицер бригады. Он так рвался на фронт, что отец-генерал подсадил его, еще несовершеннолетнего, на краткосрочные курсы младших лейтенантов.

Кому как выпадает. А рядом стоял Ваня Останин, из дивизионного взвода управления. Большой умница и сам хорошо вел орудийную стрельбу за офицера. Но в сталинградские дни 42-го года — из их училища каждого третьего курсанта выдернули, недоученного, на фронт. Отбирал отдел кадров, на деле Останина стояла царапинка о принадлежности к семье упорного единоличника. И теперь этот 22-летний, по сути, офицер носил погоны старшего сержанта.

Кончил парторг — Гусева вынесло к могилам, на два шага вперед. Хотелось — не так, хотелось — эх! А речь — не высекалась. И только спросил сжатым горлом:

— Зачем же вы так, ребята? Зачем?

Закрыли крышки.

Застучали.

Опускали на веревках.

Забросали чужой землей.

Вспомнил Гусев, как под Речицей бомбанул их «юнкерс» на пути. И никого не ранил, и мало повредил, только в хозмашине осколком разнес трехлитровую бутыль с водкой. Уж как жалели ребята! — чуть не хуже ранения. Не балуют советских солдат выпивкой.

В холмики встучали надгробные столбики, пока некрашеные.

И кто за ними надсмотрит? В Польше немецкие военные надгробья с пятнадцатого года стояли. Ищуков, начальник связи, на

Нареве выворачивал их, валял, — мстил. И никто ему ничего не сказал: рядом смершевец стоял, Ларин.

Гусев проходил мимо затихшей солдатской кучки и слышал, как из его взвода, из того же 3-го расчета, что и Лепетушин был, подвижный маленький Юрш поделился жалобно:

— А — и как удержаться, ребята?

Как удержаться? в том и сладкая косточка: думаешь — пройдет.

Но — промахнуло серым крылом по лицам. Охмурились.

Командир расчета Николаев, тоже мариец, очень неодобрительно смотрел суженными глазами. Он водки вообще не принимал.

А жизнь, а дело — течет, требует. Капитан Топлев пошел в штаб бригады: узнать, как похоронки будем писать.

Начальник штаба, худой, долговязый подполковник Вересовой, ответил с ходу:

— Уже комиссар распорядился: «Пал смертью храбрых на защите Родины».

Сам-то он голову ломал: кого теперь рассаживать за рули, когда поедем.

3

Ошеломительно быстрый прорыв наших танков к Балтийскому морю менял всю картину Прусской операции — и тяжелая пушечная бригада никуда не могла поспеть и понадобиться сегодня-завтра.

А комбриг уже не первый день хромал: нарыв у колена. И уговорил его бригадный врач: не откладывать, поехать сегодня в госпиталь, соперироваться. Комбриг и уехал, оставив Вересового за себя.

Ни дальнего звука стрельбы ниоткуда. Ни авиации, нашей ли, немецкой. Как — кончилась война.

День был не холодный, сильно облачный. Малосветлый. Пока — сворачивались со своих условных огневых позиций, и все три дивизиона подтягивались к штабу бригады.

Тихо дотекало к сумеркам. Уже и внедрясь в Европу, счет мы вели по московскому времени. Оттого светало чуть не в девять утра, а темнело, вот, к шести.

И вдруг пришла из штаба артиллерии армии шифрованная радиограмма: всеми тремя дивизионами немедленно начать движение на север, к городу Либштадту, а по мере прибытия туда — всем занять огневые позиции в 7–8 километрах восточнее его, с основным дирекционным углом 15–00.

Все-таки сдернули! На ночь глядя. Да так всегда и бывает: когда меньше всего охота двигаться, а только бы — переночевать на уже занятом месте. Но поражало 15–00. Такого не было за всю войну: прямо на восток! Дожили. Привыкли от 40–00 до 50–00 — на запад, с вариациями.

Нет, еще раньше разила начальника штаба потребность немедленно заменить перетравившихся шоферов. Запасных — почти не было. С каких рулей снимать и что оставить без движения? Больше всех пострадал і-й дивизион, и подполковник Вересовой запросил штаб артиллерии оставить его на месте, за счет него докомплектовать тягу 2-го и 3-го.

Выхода и нет. Разрешили.

Переломиться к ночному движению — трудны только самые первые минуты. А вот уже двадцать четыре крупнокалиберные пушки-гаубицы подцепляли тракторами — все нагло с фарами. За ними строились подсобные машины. Все вокруг рычало.

Два комдива огневых в белых коротких полушубках и комдив инструментальной разведки в длинной шинели — пришли к начальнику штаба получать точные места развёртывания и задачу.

А задачу — начальник штаба мог только сам домыслить. Разведданных от штаба армии нет никаких — да они и знать не могут при таком быстром прорыве и пасмури минувшего дня. «Семь-восемь километров восточнее» — это очень не всё. Топографическая карта, километр в двух сантиметрах, вот передавала складки местности, да не все, конечно; шоссе и проселочные дороги, и какие обсажены, а какие нет; и извивы реки Пассарге, текущей с юга на север, и отдельные хутора, рассыпанные по местности, — да все ли хутора? а еще сколько там троп? А хутора — с жителями, без жителей?

Подполковник наудачу прикинул: 2-й дивизион вот тут, поюжней, 3-й — вот тут, посеверней.

Разметили примерными овалами.

Майор Боев стоял с распахнутой планшеткой и хмуро рассматривал карту. Сколько сотен раз за военную службу приходилось вот это ему — получать задачу. И нередко бывало, что расположение противника при этом не сообщалось, оставалось неизвестным: начнется боевая работа — тогда само собой и прощупается. А сейчас — еще издали, за 25 километров от того Либштадта, — как угадать, где пустота, а где оборванный немецкий фланг? А главное: где наша пехота? и той ли дивизии, какая сюда назначена? Ведь наверняка отстали, не за танками им угнаться, растянулись — и насколько? И где их искать?

Но привычно твердый голос Вересового не выдавал сомнений. Стрелковая дивизия — да, наверно, та самая, что и была.

Растянулась, конечно. Да немцы — в ошеломлении, наверно, стягиваться будут к Кёнигсбергу. Штаб бригады — будет в Либштадте или около. Где-нибудь там и штаб дивизии.

А в чем был смысл — занять огневые позиции до полуночи? В темноте топопривязки не сделаешь, только по местным ориентирам, приблизительно, — такая приблизительная будет и стрельба.

Да при орудиях — сильно неполный боекомплект.

Тылы отстали. Что делать, подвезут.

Боев посмотрел на Вересового исподлобья. С начальством и близким не договоришься. Как и тому — со своим. Начальство — всегда право.

По зимней дороге, и с малым гололедом, еще надо дотянуться невредимо до этого Либштадта, часа бы за три. За тучами — луна уже должна быть. Хоть не в полной тьме.

Слитно рычали тракторы. Вся колонна, светя десятками фар, вытягивалась из деревни на шоссе.

Выбирались едва не полчаса. Потом гул отдалился.

4

А какой подъем от Победы!

И от тишины, глухоты, — все это тоже знаки Победы.

И от этого — всюду брошенного, еще теплого немецкого богатства. Собирай, готовь посылки домой, солдат — пять килограмм, офицер — десять, генерал — пуд. Как отобрать лучшее, не ошибиться? А уж сам тут — ешь, пей, не хочу.

Каждый дом квартировки — как чудо. Каждая ночевка — как праздник.

Комиссар бригады, ну, замполит теперь, подполковник Выжлевский занял самый видный дом в деревне. В нижнем этаже — даже не комната, а большой зал, освещенный дюжиной электрических ламп с потолка, со стен. И шел же откуда-то ток, не прерывался, тоже чудо. Здешняя радиола (заберем ее) подавала, в среднем звуке, танцевальную музыку.

Когда Вересовой вошел доложиться, Выжлевский — крупноплечий, крупноголовый, с отставленными ушами — сидел, утонувши в мягком диване у овального столика, с лицом блаженным, розовым. (Этой голове не военная фуражка бы шла, а широкополая шляпа.)

На том же диване, близ него, сидел бригадный смершевец капитан Тарасов — всегда схватчивый, доглядчивый, легкоподвижный. Очень решительное лицо.

Сбоку распахнута была в обе половинки дверь в столовую — и там сервировался ужин, мелькнули две-три женские фигуры, одна в ярко-синем платье, наверно немка. А была и политотдельская,

переоделась из военного, ведь гардеробным добром изувешаны прусские шкафы. Тянуло запахом горячей пищи.

Ountry Вересовой с чем пришел? В отсутствие комбрига он был формально старший и мог бы сам принять любое дальше решение. Но, прослужив в армии уже полтора десятка лет, хорошо усвоил: не решать без политруков, всегда надо знать их волю и не ссориться. Так вот насчет перевозки штаба? — не сейчас бы и ехать?

Но явно: это было никак не возможно! Ждал ужин и другие приятности. Такой жертвы нельзя требовать от живых людей.

Комиссар слушал музыку, полузакрыв глаза. Доброжелательно ответил:

— Ну, Костя, куда сейчас ехать? Среди ночи — что там делать? где остановимся? Завтра встанем пораньше — и поедем.

И оперуполномоченный, всегда уверенный в каждом своем жесте, четко кивнул.

Вересовой не возразил, не поддакнул. Стоял палкой.

Тогда Выжлевский в удобрение:

— Да приходи к нам ужинать. Вот, минут через двадцать.

Вересовой стоял — думал. Оно и самому-то ехать не хотелось: эти прусские ночлеги сильно размягчают. И еще соображение: первый дивизион стоит разукомплектованный, не бросить же его.

Но и взгреть могут.

Тарасов нашелся, посоветовал:

— А вы — снимите связь и с армией, и с дивизионами. И вот, для всех мы будем — в пути, в переезде.

Ну, если смершевец советует — так не он же и стукнет?

А ехать на ночь — и правда выше сил.

5

Весь вечер сыпал снежок, притрушивая подледеневшее шоссе. Ехали медленно не только от наледи, но чтоб и лошади не сильно отстали.

В Либштадте простились, обнялись с комдивом 3-го, он северней забирал.

В пути глядя на карту при фонарике: выпадало Боеву переехать на восточный берег Пассарге, потом еще километра полтора по проселочной, и поставить огневые, наверно, за деревней Адлиг Швенкиттен, — так, чтобы вперед на восток оставалось до ближнего леса еще метров шестьсот прозора и не опасно стрелять под низким углом.

Мост через Пассарге оказался железобетонный, целехонький, и проверять проходимость не надо. Левый западный берег крутой, с него уклонный съезд на мост.

Тут — оставили маяка, для лошадиных саней. Никаких лошадей, ни телег моторизованным частям по штату не полагалось, и начальство мыслило, что таковых, разумеется, нет. Но еще от орловского наступления и потом когда шли — все батареи нахватали себе бродячих, трофейных, бесхозных, а то и хозных лошадей и потянули на них подсобный тележный обоз. Во главе такого обоза ставишь грамотного сержанта — и он всегда свои батареи нагонит, найдет. Трактора Аллис-Чалмерс — конечно, отличные, но с ними одними и пропадешь. Потом, и особенно ближе к Германии, нахватывали вместо наших средних лошадок — да крепких немецких битюгов, лошадиных богатырей. Зимой меняли телеги на сани. Вот сегодня бы без саней — от огневых до наблюдательных, по снежной целине, — сколько бы на себе ишачить?

Снегопад поредел, а выпало, смотри, чуть не в полголени. На орудийных чехлах наросли снежные шапочки.

Нигде — никого ни души. Мертво. И следов никаких.

В меру посвечивая фарами, поехали по обсаженной, как аллейка, дороге. И тут никого. Вот — и Адлиг. Чужеродные постройки. Все дома темны, ни огонька.

Послали поглядеть по домам. Дома деревни — пустые и все натопленные. Часов немного, как жители ушли.

Значит, и недалеко они. Ну, одни бы молодки убежали в лес, — нет, все сплошь.

По восточной окраине Адлига вполне уставлялись восемь пушек, однако все ж не двенадцать, да и бессмысленно бы так. Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою 6-ю батарею — метров восемьсот поюжней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен.

Но и до чего ж — никого. В Либштадте не поискали, а от самого Либштадта никого живого не видели. Где ж пехота? Вообще из братьев-славян — ни души.

И получалось непонятно: вот поставим здесь орудия — слишком далеко от немцев? Или, наоборот, зарвались? Может, они и в этом ближнем леске сидят. Пока — выдвинуть к тому леску охранение.

Делать нечего. Трактора рычали. Шестая утягивалась по боковой дороге в Кляйн. Четвёртая и пятая становились рядышком, одним фронтом. Собирались расчёты каждый к своему орудию, переводить из походного в боевое и снаряды выкладывать. (А уж приглядывали себе, конечно, окраинные домики на пересидку и пересып.)

Домик — как игрушка, разве это сельская изба? Обстановка городская, расставлено, развешано. Электричества нет, прервано, а нашли две керосиновые лампы, поставили на стол. И сидел Боев над

картой. Карта — всегда много говорит. Если в карту вглядываться, в самом и безнадежьи что-то можно увидеть, догадаться.

Боев никого не торопил, все равно саней подождем. В безвестье он, бывало, и попадал. Попадал — да на своей земле.

Радист уже связался со штабом бригады. Ответ: скоро выезжаем. (Еще не выехали!) А новостей, распоряжений? Пока никаких.

Вдруг — шаги в прихожей. Вошел, в офицерской ладной шинели, — командир звукобатареи, оперативно подчиненной Боеву. Давний приятель, еще из-под Орла, математик. И сразу же свою планшетку с картой к лампе развертывает. Думает он: вот прямая проселочная на северо-восток к Дитрихсдорфу, еще два километра с лишком, там и центральная будет, туда и тяните связь.

Смотрит Боев на карту. Топографическую читал он быстрей и точней, чем книгу. И:

— Да, будем где-то рядом. Я — правей. Нитку дам. А топографы?

— Одно отделенье со мной. Да какая ночью привязка? Наколют примерно. И к вам придут.

Такая и стрельба будет. Приблизительная.

Торопится, и поговорить некогда. Хлопнули дружеским пожатием:

— Пока?

Что-то не сказано осталось. И своих бы комбатов наставить, так и они заняты. И — лошадей пождать.

И прилег Боев на диванчик: в сапогах на кровать — неудобно. А без сапог — не солдат.

6

Для кого война началась в 41-м, а для Боева — еще с Хасана, в 38-м. Потом и на Финской. Так и потянулось сплошной войной вот уже седьмой год. Два раза перебывал на ранениях — так та ж война, а в родной край отпусков не бывает. В свою ишимскую степь с сотнями зеркальных озер и густостайной дичью, ни к сестре в Петропавловск вот уж одиннадцатый год путь так и не лег.

Да когда в армию попал — Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на воле? Южная Сибирь долго не поднималась от Гражданской войны, от подавленного ишимского восстания[17]. В Петропавловске там и здесь — заборы, палисадники еще разобраны, сожжены, а где целы — покривились. Стекла окон подзаткнуты тряпками, подзатянуты бумагой. Войлок дверной обивки где клоками висит, где торчит солома или мочало. С жильем — хуже

[17] Массовое антибольшевистское восстание крестьянства и казачества 1921 г. Главная причина восстания — продразверстка.

всего, жил у замужней сестры Прасковьи. Да и с обувью не лучше: уж подшиваешь, подшиваешь подошвы — а пальцы наружу лезут. А с едой еще хуже: этого хлеба карточного здоровому мужику — ничто... И везде в очереди становятся: где — с пяти утра, а где набегают внезапной гурьбой, не спрашивая: а что будут давать? Раз люди становятся — значит, что-то узнали. И — нищих же сколько на улицах.

А в армии — наворотят в обед борща мясного, хлеба вдосыть. Обмундирование где не новенькое, так целенькое. Бойцы армии — любимые сыны народа. Петлицы — малиновые пехотные, черные артиллерийские, голубые кавалерийские, и еще разные (красные — ГПУ). Четкий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок — и жизнь твоя осмыслена насквозь: жизнь — служба, и никто тут не лишний. Рвался в армию еще до призыва.

Так — ни к чему, кроме армейского, не приладился, и не женился, — а позвала труба и на эту войну.

В армии понял Павел, что он — отродный солдат, что родная часть ему — вот и дом. Что боевые порядки, стрельбы, свертывания, передвижки, смены карт, новые порядки — вот и жизнь. В 41-м теряли стволы и тягу — но дальше такого не случалось, только если разворотит орудие прямым попаданием или на мине трактор подорвется. Война — как просто работа, без выходных, без отпусков, глаза — в стереотрубу. Дивизион — семья, офицеры — братья, солдаты — сынки, и каждый свое сокровище. Привык к постоянной передряге быта, переменчивости счастья, уже никакой поворот событий не мог ни удивить, ни напугать. Нацело — забыл бояться. И если можно было напроситься на лишнюю задачу или задачу поопаснее — всегда шел. И под самой жестокой бомбежкой и под густым обстрелом Боев не к смерти готовился, а только — как операцию заданную осмыслить и исполнить получше.

Глаза открыл (и не спал). Топлев вошел. Лошади — притянули.

Боев сбросил ноги на пол.

Мальчик он еще, Топлев, хлипок для начальника штаба. Но и комбата ни одного отпустить не хотелось на штаб, взял с начальника разведки.

— Позови Боронца.

Крепок, смышлен старшина дивизиона Боронец, и глаза же какие приёмчивые. Уже сам догадался: из саней убирает лишнее — трофеи, барахло. Трое саней — под погрузку, на три наблюдательных — катушки с проводом, рации, стереотрубы, гранаты, чье и оружие, чьи и мешки, из взводов управления, и продукты.

— После Либштадта — кого видел по дороге? Пехоту?

Боронец только чмокнул, покачал большекруглой головой:

— Ник-к-кого.

Да где ж она? Совсем ее нет?

Вышел Боев наружу. Мутнела пасмурная ночь, прибеленная снегом. Висела отстоенная тишина. Полная. Сверху снежка больше не было.

Все трое комбатов — тут как тут. Ждут команды. Один всегда — при комдиве, это Мягков будет, как и часто. А Прощенков, Касьянов — по километру влево, вправо, на своих наблюдательных, и связь с комдивом только через огневые.

Ну, уже многое видали, сами знают сынки. Сейчас самое важное — правильно выбрать места наблюдательных. Еще раньше: на какую глубину можно и нужно внедриться. В такой темноте, тишине и без пехотной линии — как угадать? Мало продвинешься — будешь сидеть бесполезно, много продвинешься — и к немцам не чудо попасть.

— А все ж таки понимай, ребята: вот такая тишина и такая пустота — это может быть очень, очень серьезно.

Топлеву:

— Ищи, Женя, пехоту, нащупывай всеми гонцами. Найдешь — пусть командир полка меня ищет. Это уж… слишком такое… Из бригады — узнавай, узнавай обстановку. А я выберу НП — свяжусь с тобой.

И прыгнул в передние сани.

7

В отсутствие комбата старшим офицером шестой батареи был командир 1-го взвода старший лейтенант Кандалинцев. А по годам он был и старше всех бригадных командиров взводов: под 40 лет. И росту изрядного, хотя без статной выправки, плечи не вразверт, голова прежде времени седая, и распорядительность разумная — его и другие комвзвода «батей» называли.

А Олег Гусев, хотя и вырос среди уличных городских сорванцов, — от Кандалинцева еще много жизненного добирал, чего б ниоткуда не узнать.

Еще раньше, чем поставили все четыре пушки в боевое положение, Кандалинцев распорядился выставить на 50 метров вперед малым веером охранение. А замолкли оттянутые от огневых трактора — разрешил расчетам чередоваться у орудий. Гусеву же показал на каменный сарайчик, близко позади:

— Пойдем пока, костям на покой.

Чуть сдвинув батарею, можно было поставить ее и ближе к удобным домам, но отсюда стрелять будет лучше.

Да сменные в расчетах туда и побежали спать. Гусев тоже в два дома заходил и покрутил приемники, надеясь, что попадется на

своем питании, заговорит, — нет, молчали глухо. Приемники в домах — это была заграничная новость, к которой привыкали боязно: по всему Советскому Союзу они на всю войну отобраны, не сдашь — в тюрьму. А тут вот…

Очень уж хотелось Олегу узнать что-нибудь о нашем прорыве, какие б еще подробности. А батарейные рации ловили только одну нашу станцию на длинных — и никакой сводки о прорыве не было.

Кандалинцева призвали в 41-м из запаса, два года он тяжко провоевал на Ленинградском фронте, а после ранения прислали сюда, в бригаду, уже скоро тоже два года.

Когда можно хоть чуть отдохнуть — Кандалинцев никогда такого не пропускал.

Пошли в сарайчик, легли рядом на сено.

А тишина-а-а.

— А может, немцы в обмороке, Павел Петрович? Отрезаны, отброшены, к Кёнигсбергу жмутся? Может быть, вот так и война кончится?

Хотя Олег от войны совсем не устал, еще можно и можно. Отличиться.

— О-ох, — протянул Кандалинцев.

И лежал молча. Но еще не заснул же?

Молодым мечтается:

— Вот, говорят, после войны у нас всё к лучшему переменится. Свободная жизнь будет! Заживём! И говорят, колхозы распустят?

Ему-то самому — что колхозы, но такими надеждами полна была вся воюющая армия. Отчего бы правда не пожить хорошо, привольно?

А Кандалинцев-то все это знал-перезнал, он все партийные чистки на том прошел. И — несупротивным, усталым голосом: — Нет, Олег, ничего у нас не переменится. Смотри бы хуже не стало. Колхозов? — никогда не отменят, они очень государству полезны. Не теряй время, поспим сколько.

8

Да, война — повседневное тяжкое бремя со вспышками тех дней, когда и голову легко сложить или кровью изойти неподобранному. Однако и на ней не бывает такого угнетенного сердца, как тихому интеллигенту работать в разоряемой деревне девятьсот тридцатого — тридцать первого года. Когда бушует вокруг злобно рассчитанная чума, видишь глаза гибнущих, слышишь бабий вой и детский плач — а сам как будто от этой чумы остережен, но и помочь никому не смеешь.

Так досталось Павлу Петровичу сразу после института, молоденькому агроному, принявшему овощную селекционную

станцию в Воронежской области. Берег ростки оранжерейной рассады, когда рядом ростки человеческие и двух лет, и трех месяцев отправляли в лютый мороз санями — в дальний путь, умирать. Видишься и сам себе душителем. И втайне знаешь, ни с кем не делясь, как крестьяне против колхоза сами портят свой инвентарь. А то лучшие посевные семена перемалывают в муку на едево. А скот режут — так и не скрывают, и не остановить. Потом активисты сгребают последнее зерно из закромов, собирают «красный обоз», тянут в город: «деревня везет свои излишки», а там, в городе, впереди обоза пойдет духовой оркестр.

От тех месяцев-лет стал Павел Петрович все окружающее воспринимать как-то не вполноту, недостоверно, будто омертвели кончики всех нервов, будто попригасли и зрение его, и смех, и обоняние, и осязание — и уже навсегда, без возврата. Так и жил. В постоянном пригнете, что райком разгневается за что — и погонят со службы неблагонадежного беспартийца. (Хорошо, если не арестуют.) И гневались не раз, и теми же омертвелыми пальцами подал заявление в партию, и с теми же омертвелыми ушами сиживал на партийных собраниях. Да какая безалаберность не перелопачивала людям мозги и душу? — от одной отмены недели, понедельник-среда-пятница-воскресенье, навсегда, чтоб и счету такого не было, «непрерывка»-пятидневка, все работают-учатся в разные дни, и ни в какой день не собраться вместе с женой и с ребятишками. Так и погремела безразрывная гусеница жизни, как косые лопатки траков врезаются в землю.

И с этими навсегда притупленными чувствами Павел Петрович не вполноту ощутил и отправку на войну в августе сорок первого, младшим лейтенантом от прежних призывов. И с тем же неполночувствием, как чужой и самому себе, и своему телу, воевал вот уже четвертый год, и на поле лежал под Ленинградом, тяжело, пока в медсанбат да в госпиталь. И как до войны любой райкомовский хам мог давать Кандалинцеву указания по селекции, так и на войне уже никогда не удивлялся он никаким глупым распоряжениям.

Вот и война кончилась. Как будто пережил? Но и тут малочувствен оставался Павел Петрович: может, еще и убьют, время осталось. Кому-то жив последние месяцы умирать.

Неомертвелое — одно чувство сохранилось: молодая жена, Алла. Тосковал.

Ну, как Бог пошлет.

9

Сани шли без скрипа, по теплу. Чуть кони фыркнут.

Ночь становилась посветлей: за облаками — луна, а облака подрастянуло. Видны — где вроде лесочки, где поле чистое.

Прикрывая снопик ручного фонарика рукавом полушубка, Боев поглядывал на карту, — по изгибам их заметенной полевой дороги определяя, где расставаться с комбатами, и каждый на свой НП, по снежной целине.

Кажется, вот тут.

Касьянов и Прощенков соскочили с саней, подошли.

— Так не очень от меня удаляйтесь, не больше километра. Работать вряд ли придется, наверно с утра передвинут. Ну все же, на разный случай, покопайте.

И — разъехались. Лошади брали уверенно. Местность — маловолнистая, тут и высотку не сразу выберешь. Если до утра не свернут — надо будет подыскать получше.

И все так же — ни звука. Ни — передвинется какая чернота в поле.

Кого любишь, того и гонишь. Позвал сметливого Останина:

— Ванечка, возьми бойца, сходи вперед на километр — какой рельеф? И не найдешь ли кого? Да гранаты прихватите.

Останин с вятским причмоком:

— Щас в поле кого издали увидишь — не окликнешь. «Кто это?» — а тебя из автомата. Или, с нарошки: «Wer ist das?», а тебя — свои же, от пуза.

Ушли.

А тут — вытащили кирки и лопаты, помахивали. Верхний слой уковало, как и на могилах сегодня. Лошадей отвели за кустики. Радист, рация на санях, вызывает:

— Балхаш, Балхаш, говорит Омск. Дай Двенадцатого, Десятый спрашивает.

Двенадцатый — Топлев — отзывается.

— Из палочек нашли кого?

— Нету палочек, никого, — очень озабоченный голос.

Вот так так. Если и вкруг Адлига пехоты до сих пор нет — и у нас ее нет. Где ж она?

— А что Урал?

— Урал говорит: ищи□те, плохо и□щете.

— А кто именно?

— Ноль пятый.

Начальник разведки бригады. Ему б самому тут и искать, а не в штабе бригады сидеть, за тридцать верст. Да что ж они с места не сдвинулись? Когда ж — тут будут?

Копали трудно.

Ну, да окопчика три, не в полный профиль. Перекрывать все равно нечем.

Проворный Останин вернулся даже раньше, чем ждался.

— Товарищ майор. С полкилометра — запад в лощину. И она, кажись, обхватом справа от нас идет. А я налево сходил, наискосок. Вижу, фигуры копошатся. Еле опознались: заматерился один, катушка у него заела, — так и услышал: свои.

— Кто же?

— Правый звукопост. Тут до них одной катушки нам хватит, и будет прямая связь с центральной. Хорошо.

— Ну что ж, тогда тянем. Пусть твой напарник ведет.

Да — по кому пристреливаться? И с какой привязкой, все координаты на глазок.

— А больше никого? Пехоты нет?

— И следов по снегу нет.

— Да-а-а. Двенадцатый, Двенадцатый, ищи палочки! Разошли людей во все стороны!

10

Теперь стало повидней малость: и лесок, что от Адлига слева вперед. И справа прочернел лес пораскидистей — но это уже, очевидно, за большой тут лощиной.

А штаб бригады перестал отзываться по рации. Хорошо, наверно уже поехали. Но не предупредили.

Топлев очень нервничал. Он и часто нервничал. Он-то был старателен, чтобы все у него в порядке, никто б не мог упрекнуть. Он — малой вмятинки, малой прогрызинки в своей службе не допускал, еще прежде, чем начальство заметит и разнесет. Да часто не знаешь, что правильно делать.

И сейчас места не находил. То — цепочку охранения проверить. То — к пушкам 4-й и 5-й батареи. Из каждого расчета дежурят человека по два. А остальные — растянулись по домам. Ужинают? — есть чем в домах. Прибарахливаются? — тоже есть, а в батарейном прицепе все уложится. (Осталось в деревне несколько стариков-старух, ничего возразить не смеют.)

Это просто несчастье, что разрешили из Германии посылки слать. Теперь у каждого солдата набухает вещмешок. Да не знает, на чем остановиться: одного наберет, потом выбрасывает, лучшего нашел на свои пять килограмм. Топлеву было это все — хоть и понятно, но неприятно, потому что делу мешало.

То — уходил к дивизионной штабной машине, на окраину Кляйн Швенкиттена. Там рядом, в домике, и кровать с пуховой периной, растянись да поспи, ведь уже за полночь. Да разве тут уснешь?

За облаками все светлело. Мирно и тихо, как не на войне.

А вот: поползи сейчас что с востока — как быть? Наши снаряды по сорок килограмм весу, с подноской-перезарядкой, от выстрела до выстрела — никогда меньше минуты. И убраться не успеешь — 8 тонн пушка-гаубица. Хоть бы какие другие стволы промелькнули — дивизионная, противотанковая, — никого.

В машину, к рации опять. Доложил майору: связь с Уралом прекратилась. И палочек нет, ищем, разослал искать.

И тут же — один посланный сержант сработал. По дороге, по какой сюда приехали, — легкий шум. «Виллис». До последней минуты не различишь кто да что.

Из «виллиса» выскочил молодо. Майор Балуев.

Топлев доложил: огневые позиции тяжелого пушечного дивизиона.

У майора — и голос очень молодой, а твердый. И завеселился:

— Да что вы, что вы! Тяжелого? Вот бы никак не ждал!

Вошли в дом, к свету. Майор — худощавый, чисто выбрит. А видно, примучен.

— Даже слишком замечательно! Нам бы — чего полегче.

И оказался он — командир полка, того самого, из той дивизии, что искали. Тут Топлев обрадовался:

— Ну как славно! Теперь все будет в порядке!

Не совсем-то. Пока первый батальон сюда дошагает — еще полночи пройдет.

Присели к керосиновой лампе карту смотреть.

Топлев показал, где будут наши наблюдательные. Еще вон там, в Дитрихсдорфе, — звукобатарея. А больше — ни одной пока части не обнаружено.

Майор, шапка сбилась на льняных волосах, впивчивым взглядом вонзился в карту.

Да нисколько он не был весел.

Смотрел, смотрел карту. Не карандашом — пальцем провел предположительную линию — там где-то, впереди наблюдательных. Где пехоту ставить.

Раскрыл планшетку, написал распоряжение. Протянул старшему сержанту, какой с ним:

— Отдашь начальнику штаба. Забирай машину. Если где по дороге какое средство на колесах — старайся прихватить. Хотя б одну роту подвезти вперед.

А двух разведчиков при себе оставил.

— Пойду к вашему комдиву.

Топлев предупредительно повел майора в Адлиг. И к исходу пути:

— Вот прямо по этой санной колее.

Она хорошо видна была под ногами.

Все светлело. Луна пробивается.

11

После легочного ранения на Соже — майора Балуева послали на годичные курсы в Академию Фрунзе. Грозило так и войну пропустить — но вот успел и прибыл в штаб Второго Белорусского — как раз в январское наступление.

Оттуда — в штаб армии. Оттуда — в штаб корпуса. Оттуда — в штаб дивизии.

И нашел его только сегодня днем — нет, уже считай вчера это.

А у них как раз за день раньше — убило командира полка, и уже третьего с этой осени. Так вот — вместо него, приказ подпишем потом.

С командиром дивизии досталось поговорить пять минут. Но и того хватило для опытного офицера: топографической карты почти не читает, видно по двум оговоркам, и по движениям пальцев над картой. И — выше ли того понимает всю обстановку? Мутновато мямлит. Да кого, бывает, у нас в генералы не возвысят? А тут еще — и по обязательной квоте национальных кадров? равномерное представительство нацменьшинств.

После академической слаженности теоретической войны — вот так сразу плюхнуться, немного обалдеваешь. А отвык — бодрись.

Да кое-что из обстановки Балуев успел охватить еще в опер-отделе штабарма. За сорок четвертый год вояки наши сколько прокатились вперед, неудержимо! — как не обнаглеть. Наглостью отличной, красивой, победительной. С нею — и врезались в Пруссию. Уже отстали тылы, отстала пехота — но катит, катит Пятая танковая, катит — и аж до Балтики. Эффект — захватывающий, восхитительный!

Однако же — и размах такого швырка: на одну дивизию приходится вместо обычных трех-пяти километров фронта — да сразу сорок!

Вот и растяни свой полк. Вот и проси хоть пару пушек семидесяти шести.

Но это и есть — армия в движении: переменчивая конструкция, то ли через сутки окаменеет во мраморе, то ли через два часа начнет рассыпаться, как призрак. На то ты — и кадровый офицер, на то и академический курс прошел.

И в этой бурной неожиданности, колкости, остроте — сладость воина.

12

Все светлело — а к часу ночи разорвало. И луна — еще пред-полная, на всю ночь ее не станет. С нехваткой по левому обрезу, и

уже сдвинутая к западу, стала картинно проплывать за облаками, то ясней, то затуманенно.

Светлей-то светлей, но и в бинокль не многое можно рассмотреть на снежном поле впереди — только то, что оно, кажется, пусто — посверх лощины. Да ведь и перелесками там-сям перегорожено, могут накапливаться.

Луна имела над Павлом Боевым еще с юных лет особую власть, и навсегда. Уже подростка — она заставляла остановиться, или сесть, или прилечь — и смотреть, смотреть. Думать — о жизни, какая будет у него. И о девушке — какая будет?

Но хоть был он крепкий, сильный, первый гимнаст — а девушки к нему что-то плохо шли, не шли. Голову ломал: отчего неудачи? Ну некрасив, губы-нос не так разлинованы, — так мужчине разве нужна красота? красота — вся у женщин, даже чуть не у последней. Павел перед каждой женщиной замирал душой, преклонялся перед этой нежностью, хрупкостью, уж боялся не то что сломать ее, но даже дыханием обжечь. Оттого ли всего, не оттого — так и не женился до войны. (И лишь Таня, госпитальная, потом объяснила: дурачок, да мы хваткую власть над собой только и любим.)

Уже в спину светила. Оглядывался на нее. Опять застилалась.

И все так же — ни звука ниоткуда. Здорово ж немцев шарахнули.

Между тем телефонные линии протянули с огневых на все три наблюдательных. Через звукопост имели связь и со звуко-батареей в Дитрихсдорфе, а у нее ж левые посты еще севернее, и вот звонил их комбат: никого-никого, потянули предупредитель ставить за озером, вперед.

А озеро — уж чистый прогал, там-то немцев бы увидели, при луне. Значит, и еще два километра на восток никого.

Еще сказал: топографы, при луне, звукопосты уже привязывают, и в Адлиг тоже пошли, огневые привязать.

Ну, через час будет готовность к стрельбе! Да вряд ли тут останемся: перейдем.

А видно, оттепели не будет. Ночь тут стоять, взял из саней валенки, переобулся.

Но вот Топлев докладывал: со штабом бригады связи нет как нет. Странно. Сколько им тут ехать? Не перехватили ж их немцы по дороге?

Тут вспомнил: комбриг в госпиталь днем уехал. Значит, там Выжлевский заправляет?

И всяких-разных политруков сторонился, не любил Боев как больше людей пустых. Но Выжлевский был ему особенно неприятен, что-то в нем нечистое, — оттого и особенно пусто-звонское

комиссарство. Натихую поговаривали в бригаде, что за 41-й год что-то у Выжлевского не сходилось в биографии: был в окруженной Одессе, потом два-три месяца темный перерыв — потом как ни в чем не бывало, в чине, на Западном фронте. И как-то с этим всем был связан Губайдулин? отчего-то сразу из пополнения Выжлевский взял его в политотдельцы и быстро возвышал в чинах. (И Боеву в парторги навязал.)

От Топлева: связи с бригадой все нет. Но нашелся командир стрелкового полка, пошел по следу на НП.

Ну, наконец. Теперь хоть что-нибудь поймется.

13

— Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший!..

— Что? — сразу несонным голосом отозвался Кандалинцев.

— Тут немец прибрел! Перебежчик!

Это докладывал ефрейтор Нескин, вшагнувший в сарайчик. Немца задержало охранение — он прямо шел через поле.

Услышал и Гусев. Дивная новость! Оба взводных командира с сенной копны соскользнули вниз.

Пошли наружу, смотреть. Светила луна, и хорошо было видно немецкую обмундировку и что без оружия. Шапка утепленная.

Немец увидел офицеров — четко руку к виску.

— Herr Oberleutnant! Diese Nacht, in zwei Stunden wird man einen Angriff hier unternehmen![19][Господин офицер! В эту ночь, в два часа, на этом участке будет атака! — нем.]

А немецкий-то оба, эге, так себе. Да оно и слова по отдельности, может, знаешь, а все вместе не разберешь.

А взволнован очень.

Все равно с ним — в штаб дивизиона. Показали ему — идти. Вперед — Нескин, а сзади — маленький Юрш с карабином, везде поспел — и докладывает офицерам на ходу: уже, мол, калякал с ним, на тары-бары. Он — и к нашему ближе умеет, а все равно непонятно.

Что-то срочное хочет, а вот, поди.

До штабной машины тут, по Кляйну, недалеко. Пока шли — еще спрашивали. И немец силился, стал не по-немецки, а по какому-то узнаваемому. Узнаваемому, а все равно ни черта не поймешь.

И одно слово отдельно повторял:

— Ангриф! Ангриф!

А это мы, кажется, знаем: наступление? Нападение?

Да этого и надо было ждать.

В штабной машине не спал радист, разбудил планшетиста, а тот немецкому учен. Да тоже не очень. Выкатился быстро, стал с

немцем говорить — и переводит, но не с быстрым подхватом, не слово в слово.

— Это, вот что, немец — судетский. Он и по-чешски немного. Пришел нас предупредить: через час-два тут, на нашем участке, начнется общее, большое наступление немцев.

А — не дурит нас?

А зачем? ему же хуже.

Голос у немца — просительный, жалостный, даже умоляющий. А — уже сильно в возрасте он, постарше и Павла Петровича. И пожалел его Кандалинцев. Воевать надоело, горюну.

А кому за столько лет не надоест?

Бедняга ты, бедняга. И от нас — еще когда семью увидишь? Послал гонкого Юрша в Адлиг — искать капитана Топлева, доложить.

14

Допросив перебежчика через планшетиста и сам голос его наслушивая, дружелюбную готовность, поверил Топлев, что — не врет. А перейти? — и нетрудно. Через пустое поле, без единой боевой линии — отчего и не отшагать?

Ладно, перебежчика держать при штабной машине.

Но если он не врет и не ошибается — так наши пушки совсем беззащитны, пехоты же до сих пор нет!

А Топлев исполнителен — в стельку! в струнку! И всегда старался знать, вникать, успевать.

Но — что было надо сейчас? Что было можно делать сейчас?..

Скорей бы, скорей бы штаб бригады нашелся!

Понукал радиста: вызывай их, вызывай!

Но — нету связи как нет.

Ну, что с ними? Необъяснимо!

Схватил телефонную трубку, комдиву звонить — да что это? И тут связи нет. Обстрела не было — откуда порыв? Послал линейного, ругаясь, только не матом, никогда. Телефонист — ворона! Проверять каждую минуту!

А по рации — как сказать? Прямым текстом — невозможно, а кода на такой случай никак же не предусмотрено. Радисту:

— Вызывай Десятого!

Услышал голос Боева — густой, всегда уверенный, надежный, — малость приуспокоился. Сейчас рассудит. И, поглядывая неотрывно на светящийся красный глазок рации, стал Топлев, извертывая, объяснять:

— Вот тут пришел к нам дядя один... Совсем не наш... Ну, с той стороны... На вруна не похож, я проверил вдоль и поперек. Говорит: через час-два... а теперь уже меньше осталось... Мол,

пойдут! И — валом! Да, повалят… А Урал все молчит… Что прикажете?

Боев — не сразу. Да он не говорлив. Думает. Еще раз:

— И Урал — молчит?

Топлев, чуть не плача:

— Ну ни звука!

Еще там подумал.

— Давай вот что. Переведи все касьяновское хозяйство — за реку. Немедленно. И там занять позиции.

— А этим двум?

Даже слышно, как вздохнул Боев, при клапане:

— А этим двум? Пока стоять. И — будь, будь начеку. А что — с линией?

— Послал, не знаю.

— Всем — в боевой готовности, и смотреть, и слушать. Чуть что — докладывай.

Спустя сколько-то прибежал линейный. Клянется, божится:

— В лесочке — вот такой кусок провода вырезали, как ножом. И — следы сбоку.

Немцы?!

Уже тут?

15

Так, по санным колеям, и дошагал Балуев с двумя своими связными до темноватой группки людей на открытом снежном месте.

Назвал себя, и по должности.

Майор Боев — чуть пониже ростом, в коротком белом полушубчике.

Поручкались. Уж, кажется, у Балуева — крепкое пожатие, но у Боева — цепная хватка.

И с фронтовой простотой:

— Где ж твой полк?

Его полк! Он сам его еще толком не видел. В ответ:

— Да кто ж ваши пушки так выставил?

Боев клокотнул усмешкой:

— Попробуй не выстави. Приказ.

Рассказал обстановку, что знал.

Хоть и луна — еще фонариком по карте поводили.

— Петерсдорф? Да, мне в него и ткнули, для штаба. Тут бы — и вам близко нитку тянуть. А я б — на НП сюда пришел.

Хотя — что за НП? на ровном месте, без перекрытия.

— Но пока у меня часа два запасу — я должен сам поразведать: где ж немец? Где передовую ставить?

Вот это бы — если б знать!

Боева отозвали к рации. Он там присел на корточки.

А Балуев водил светлым пятном по карте. Если все это озеро — у нас, так что и ставиться тут? Надо вперед.

Боев вернулся и басом тихим, от солдат, передал Балуеву новость.

— И вполне может быть, — без колебания сразу признал Балуев и такую обстановку. — Именно в первые сутки он и пойдет, пока у нас не может быть обороны. Именно с отчаяния и попрет.

И тогда — хоть по здешнему рубежу передний край поставить.

И когда ж успеть сюда хоть роту подтянуть?

Но Боеву, с тяжелыми пушками, — несравнимо?

А — никакого волнения.

Балуев искренно:

— Год я на фронте не был — удивляюсь, какие ж мы на четвертом году войны. Как раньше — нас не пуганешь.

Да и сам Балуев в Пруссии всего четвертый день — а уже опять в полном фронтовом ощущении.

— Все ж я пойду вперед, поправей озера. Что узнаю — сообщу тебе. И — где выберу штаб, тогда и нитку твою туда.

Сошлись в голом поле на четверть часа. Сейчас расстаться — до пока провод, до первой связи. А то — и никогда не увидеться, это всегда так.

— А величать тебя — как?

— Павел Афанасьич.

— А меня — Владимир Кондратьич.

И — сдвинулись теплыми ладонями.

Зашагал Балуев со связными.

Луну — заволакивало.

16

Даже во Второй Ударной, весной 42-го, остался Володя Балуев жив и из окружения вышел. А вот на Сожевском плацдарме весь ноябрь 43-го сгнивали — так ранило за два часа до отхода немцев, когда они уже утягивались. Но ранило — возвратимо, два месяца госпиталя в Самаре. И тогда — на год в Академию.

В Академии теперь необстрелянных, необмолоченных мало, все уже знают, что на войне почем. А все-таки год учебы — другой мир: война, возвышенная до ясности, красоты, разума. А и трудно запретить себе поворот мысли: за год-то, может, война и кончится? может, хватит с меня?

Не кончилась. Но как уже близко! Через северную Польшу, через Пруссию догонял, догонял попутными машинами, от КПП набиты случайными военными. И поспевал, уже радуясь, войти

опять в привычное фронтовое. И в такой величественный момент — отхвата Восточной Пруссии! (И в такую глухую растяжку фронта...)

Шли в уброд по рыхлому снегу, по целине. Разведчики сзади молча.

Вел по компасу.

Если вот-вот начнется — то уже и Петерсдорф не годится, высунутый. Как успеть хоть не роту, хоть взвод рассыпать охранением пушек под Адлигом?

А дотащится ли сюда хоть одна рота? Может, так с устатка свалились, что и не встанут?

Только б эту одну ночь передержаться — уже завтра будет легче.

А вот что: по левую руку, к северо-востоку, километрах в четырех-пяти, бесшумно возникло, не заметил минуты, небольшое зарево, пожар. И — горело.

А стрельбы никакой не слышно.

Постоял, посмотрел в бинокль. Да, пожар. Ровный. Дом?

Пожара на войне по-пустому не бывает. Оно — само загорается почему-то при действиях.

Или это — уже у немцев? Или кто-то из наших туда заскочил, сплошал?

Пошагали дальше, на восток.

И еще вот: сон. Мама.

Володина мать умерла молодой, такой молодой! И Володе, вот, 28 — а уж много лет снится ему, ненаглядная. Несчастная была — а снится всегда веселой. Но никогда не близко: вот только что была здесь — вышла; вот сейчас придет; спит в соседней комнате; да вот проходит мимо, кивает, улыбается. И — никогда ближе.

Но от каких-то примеров, сравнений или чьих рассказов сложилось у Балуева: когда придет время умирать — мама подойдет вплотную и обнимет.

И минувшей ночью так и приснилась: мама дышала прямо в лицо да так крепко обняла — откуда у нее силы?

И так было тепло, радостно во сне. А проснулся — вспомнил примету...

17

Четыре пушки-гаубицы 6-й батареи вытянулись из Кляйн Швенкиттена, рычаньем своих тракторов нарушая все ту же полную тишину вокруг. И, без фар, потянулись назад по той же обсаженной дороге, по какой притянулись несколько часов тому. За снарядными прицепами шла и дивизионная кухня, и хозяйственная трехтонка, отправили и их. (И перебежчика-немца.)

Лейтенант Гусев сидел, как обычно, в кабине первого трактора 2-го взвода. Этот отход очень ему не нравился: какие б там ни тактические соображения, а считай, отступление. И теперь — в каком-то накате боя поучаствовать не придется.

Олег жил с постоянным сознанием, что он — не сам по себе, молодой лейтенант, но сын славного командарма. И каждым своим боевым днем и каждым своим боевым поступком он хотел оправдывать такое сыновство. Сокрушением было бы для него в чем-то опозорить отца. И награда ему была пока — Отечественная, 2-й степени, светленькая, так — за дело. (Отец следил, чтобы не было сыну перехвала по протекции.)

Езды тут было всего ничего, километра полтора, — и вот уже тот проеханный вечером железобетонный мост через Пассарге.

Одно за другим массивные орудия вытащились за своими тракторами на крутой подъемник после моста.

Там — вышла заминка, что-то впереди помешало. Потом опять зарычали во весь рык. И вытянули.

Олег спрыгнул, пошел вперед узнать.

Кандалинцев разговаривал с каким-то высоким полковником в папахе. Тот был чрезвычайно возбужден и, кажется, сам не различал, что держал и держал в руке для чего-то вытянутый парабеллум.

А вытянул его, видно, — исключить неподчинение. Требовал он, чтобы пушки сейчас же, вот тут, развернулись в боевой порядок, стволами на восток. Для прямой наводки.

Дальше, за полковником, журавлино вытянулся ствол самоходки СУ-76. Несколько бойцов — на броне, и рядом.

Кандалинцев спокойно объяснял, что 152-миллиметровые не для прямой наводки: быстрей минуты не перезарядишь, это не противотанковые.

— А — других нет! — кричал полковник. — И не разговаривать!

Да дело было не в парабеллуме. В боевой обстановке, при отсутствии своего высшего начальника, каждый обязан подчиняться любому старшему по званию на этом месте. От своего ж они с этим переездом оторвались.

Да, собственно, и разницы не было: метров двести дальше они и думали занять позицию. Только вот, размыслительно-хладнокровно докладывал Кандалинцев полковнику, — тут, у моста, узко, четыре пушки фронтом негде поставить.

Полковник, как ни был возбужден, отчасти внял старшему лейтенанту и велел поставить у моста лишь две пушки, по двум бокам дороги.

Нечего делать. Кандалинцев — не приказным тоном, тот ему слабо давался:

— Олег. Одно твое орудие — слева, одно мое — справа.

Стали разворачиваться, разбираться.

Гусев поставил на позицию 3-й расчет, сержанта Пети Николаева. Кандалинцев у себя назначил 1-й, старшего сержанта Кольцова — своих же лет, под сорок, донского казака.

Остальные пушки и грузовики протянули дальше метров на двести, где чернел господский двор Питтенен, с постройками.

А еще ж перебежчика досмотреть.

Кандалинцев странно положил ему руку на плечо. И сказал:

— Гут, гут, все будет гут. Иди с нашими, спи.

18

Перерезка провода не могла быть случайной, если выхватили два метра. Ясно, что им тут местность родная, они тут каждый ход знают, свои проводники, своя разведка — а лески и перелески там и сям. Мы — никак их не увидим, а они за нами следят.

Так Боев еще не попадал. Переправлялся он через реки под бомбежкой, сиживал в НП на смертных плацдармах под частыми клювами немецких снарядов и мин, и вылеживал огневые налеты в скорокопанной легкой щели, но всегда знал, что он — часть своей пушечной бригады и верный сосед пехоты, и раньше ли, позже — подтянется к нему дружеская рука или провод, или приказ начальства — да и свои ж соображения тоже доложить.

А вот — так?.. Ни звука, ни снаряда, ежеминутная смерть не подлетает, ничем не проявлена. Но пехоты — нет, и раньше утра не будет, хорошо, если утром. А свой штаб — как умер, уже полночи. Что это может быть? Рация испортилась? — ведь есть же у них запасные.

Облака опять плотно затянули, да луна там и сходит к закату. Мертвое снежное поле, очень смутная видимость. С одним комбатом под рукой, при двух по сторонам, глухо сидеть в мелких ямках — и чего ждать? Может — да, вот-вот немцы начнут наступать, хотя ни тракторных, ни грузовых моторов не слышно ни звука, значит, и артиллерия у них не подтягивается. А если обойдут пешком стороной — и прямо на наши пушки? Они беззащитны.

И — чего стоять? По ком стрелять? Зачем мы — тут?

Уже одну батарею Боев оттянул самовольно. Хотя в том можно оправдаться. (А вот что: Касьянову, раз у него к батарее линия теперь не достигает, — пусть-ка сматывается и идет к своим орудиям, на тот берег. Скомандовал.)

Но оттянуть и две другие батареи за Пассарге? Это — уже полностью самовольная смена позиции, отступление. А есть святой

принцип Красной армии: ни шагу назад! В нашей армии — самовольное отступление? Не только душа не лежит, но и быть такого не может! Это — измена Родине. За это судят — даже и на смерть, и на штрафную.

Вот — бессилие.

Ясный, полный смысл: конечно, надо отступать, оттянуть дивизион.

И еще ясней: это — совершенно запретно.

Хоть и погибай, только не от своих.

От Балуева, как ушел, — ничего. Но новости подтекали. От комбата слева: метрах в трехстах по проселочной проскакал одинокий конный, на восток. А больше не разобрать. И стрельнуть не спохватились.

Так, это у немцев — разведка, связь, из местных?

Через тот же левый НП и через свой звукопост вызвал Боева комбат звукобатареи. Слышимость через два-три соединения — так себе. Тот сообщает: сразу за озером — немцы, обстреляли предупредитель, убили бойца.

— Саша! А что еще видишь-слышишь?

— Слева — два зарева появились.

— А около тебя — наш кто есть?

— Никого. Мы тут дворец прекрасный заняли.

— Я имею сведения: могут вот-вот пойти. А ты коробочки раскинул. Подсобрал бы, пока стрельбы нет.

— Да как же можно?

— Да что ими слушать?

Топлев докладывает: теперь и ему слева зарево видно. А Урал — не отвечает. Спят, что ли? Но не могли же — все заснуть?

Топлев — молоденький, хиловат. А ведь могут с фланга пушки обойти. Внушил ему: поднять все расчеты, никому не спать, разобрать карабины, гранаты. Быть готовым оборонять огневые напрямую. Держи связь, сообщай.

Останин пришел:

— Товарищ майор! Хороший хутор нашел, пустой. Метров пятьсот отсюда. Перейдем?

Да уж есть ли смысл? Пока линии прокладывать — еще что случится.

19

И прошло еще с полчаса.

Зарева слева, по северной стороне, еще добавились. Близких — уже три, а какое-то большое — сильно подальше.

Но стрельбы — ни артиллерийской, ни миномётной. Ружейная может и не дойти.

А справа, откуда снял НП Касьянова, хоть никаких признаков не было, но рельеф, огибающая лощина — очень давали основание опасаться.

Тут и Останин вернулся из передней лощины, он по совести не может на месте усидеть. Говорит: на том склоне копошились фигурки, две-три. Почти наверняка можно б застрелить, да воздержался.

Пожалуй, и правильно.

С местными проводниками немцы тут и каждую тропу найдут. А за рельефом — и батальон проведут, и с санями.

Видимость все меньше. Кого пошлешь — до метров ста еще фигура чуть видна, больше по догадке — и все.

В темноте — пехотной массой, без звука? На современной войне так не наступают, невозможно. Такое молчаливое наступление организовать — еще трудней, чем шумное.

А — и все на войне возможно.

Если немцы сутки уже отрезаны — как же им, правда, не наступать!

Мысли — быстро крутятся. Штаб бригады? Как могли так бросить?

Отступать — нельзя. Но — и до утра можем не достоять.

Да бесполезно тут стоять. Надо пушки спасать.

Рискнуть еще одну батарею оттянуть? Уже не признают за маневр: самовольное отступление.

Ну, хоть тут пока: стереотрубу, рацию, какие катушки лишние — на сани. И сани развернуть, в сторону батарей. Мягкову:

— Вторые диски к автоматам взять. Гранаты, сколько есть, разобрать.

Да разговаривать бы еще потише, ведь разносится гомон по полю.

Конечно, может и танк быстро выкатить. Против танка — ничего нет. И щели мелкие.

Телефонист зовет Боева. По их траншейке — два шага в сторону.

Опять комбат звукачей. Очень тревожно: его левый звукопост захвачен немцами! Оттуда успели только: «Нас окружают. В маскхалатах». И — все.

— А у вас, Павел Афанасьич?

— Пока — не явно.

— У меня на центральной — пока никого. Но коробочки — сверну, не потерять бы. Так что — будьте настороже. И забирайте свою нитку.

Боев не сразу отдал трубку, как будто ждал еще что услышать.

Но — глушь.

Это — уже бой.

Мягкову:

— Давай-ка всех, кто есть, — рассыпь охранением, полукругом, метров за двести. Оставь одного на телефоне, одного в санях.

Мягков пошел распоряжаться тихо.

Рассыпать охранение — и риск: узнаешь — раньше, но отсюда стрелять нельзя, в своих попадешь.

А держаться кучкой — как баранов и возьмут.

Волнения — нет. Спокойный отчетливый рассудок.

Проносились через голову: Орловщина, на Десне, Стародуб, под Речицей. Везде — разный бой, и смерти разные. А вот чего никогда: никогда снарядов не тратил зря, без смысла.

Ликование бобруйского котла. Гон по Польше. Жестокий плацдарм под Пултуском.

А ведь — одолели.

...До утра додержаться...

На северо-востоке — километра за два — протрещали автоматные очереди. И стихли.

А — примерно там, куда Балуев пошел.

20

У Топлева на огневых — снаряды соштабелеваны близ орудий. Но стрелять, видно, не придется раньше завтрашнего света. А вот приказал комдив всем расчетам карабины приготовить — их же никогда и не таскают, как лишние, сложены в снарядных кузовах. Для тяжелых пушкарей — стрелковый бой не предполагается. Автоматы — у разведчиков, у взводов управления — они все на НП.

Не стало видно ни вперед, ни в бока, все полумуть какая-то.

Топлев и без того расхаживал в тревоге, в неясности, а после команды комдива разбирать карабины?..

Вот, стояли восемь пушек в ряд, как редко строятся, всегда батареи по отдельности, — и нервно ходил Топлев, маленький, вдоль этих громадин.

У каждой пушки — хорошо если полрасчета, остальные разошлись по ближним домам и спят: сухо, тепло. Да кто и подвыпил опять трофейного. И шофера где-то спят.

Настропалил всех четырех командиров взводов: разбирать оружие, готовиться к прямой обороне.

Одни подхватывались, другие нехотя.

Хоть бы был замполит при дивизионе, как часто околачивается, — его б хоть побоялись. Так и его комиссар бригады оставил по делам при себе до утра.

Но и нападать же не станут без артподготовки, хоть сколько-то снарядов, мин пошвыряют, предупредят.

А — тихо. И танкового гула не слышно.

Слушал, слушал. Не слышно.

Должно обойтись.

Пошел — в Кляйн, к штабной машине. Ведь там — все, всякие документы. Если что?.. — тогда что?

Велел шоферу быть при машине. А радисту — Урал дозываться.

Пошел опять в Адлиг, на огневые.

— Товарищ капитан! — глухим голосом зовет телефонист, где примостился в сенях. — Вас комдив.

Взял трубку.

Боев — грозным голосом:

— Топлев! Нас тут окружают! Готовь оборону!

И еще, знать, клапана на трубке не отпустил — услышался выстрел, выстрел!

И — все оборвалось. Больше нет связи.

И Топлев ощутил на себе странное: коленные чашечки стали дрожать, сами по себе, отдельно от колена, стали попрыгивать вверх-вниз, вверх-вниз.

Да на всю огневую теперь не закричать. Вдоль пушечного ряда оббегал командиров взводов: готовьтесь же к бою! на комдива уже напали!

Теперь-то — и все зашурудились.

А штабная машина? если что? Послал бойца: обливать бензином, из канистр.

Не уйдем — так сожжем машину.

21

Верность отцу — была ключ к душе Олега. Мальчику — кто святей и возвышенней отца? И какая обида была за него: как его в один из тридцатых (Олегу — лет 10, понимал) беспричинно ссунули из комбрига в полковники, из ромба в шпалы. И жили в двух комнатах коммунальной квартиры, а в третьей комнате — стукач. (Причина была, кто-то, по службе рядом, сел — но это мальчик лишь потом узнал.) А с подростом: так и следовать в армейской службе? В 16 лет (в самые сталинградские месяцы) — добился, напросился у отца: натянул на себя солдатскую шинель.

Верность отцу — чтобы тут, у двух своих пушек, не посрамиться, не укорили бы отца сыном, лучше — умереть. Олег даже рад был, как это все повернулось, что их поставили на мост охранять на невиданную для ста-пятидесяти-двух прямую наводку. И — скорей бы эти немецкие танки накатывали из полумглы!

Сегодня — небывалая для него ночь, и ждалось еще большее.

Хотя по комплекту полагается на каждое орудие 60 снарядов — но сейчас и с двух взводных орудий набрали — половину того. И в расчете — семь человек вместо восьми. (Вот он, Лепетушин...) Но не добавил лейтенант бойца из другого расчета, это неправильно, достанется еще и тем. Лучше подможет этому, своими руками.

Ни той самоходки, ни того грозного полковника уже и близко не было, а орудия 6-й батареи — стояли у моста, сторожили.

Впереди — пустое темное пространство, и кажется, нет же там никаких наших частей — а стали люди набегать.

Несколько топографов из разведдивизиона — один хромает, у одного плечо своротено. Послали их на топопривязку, когда луна светила, и застряли на тьму: ждали, может разойдется. Вперебив рассказывают: странное наступление, только молча подкрадываются — кто лопатой, кто даже ножом, изредка выстрел-два.

А какие-то топографы — еще и сзади остались.

Проехали сани звуковиков с разведоборудованием, успели утянуть. Только трофейные битюги и вызволили, а машина их — там застряла, вытаскивают.

Так это — еще сколько там звуковиков?

— Павел Петрович, как же стрелять будем, если свои валят?

— Придется подзадержаться.

Там, на восточном берегу, вглуби, — перестрелка то вспыхнет, то смолкнет.

Велел Кандалинцев двум свободным расчетам готовиться к стрелковому бою. И сейчас — послал в охранение, слева и справа.

Еще подымались наши с моста.

А вот — несли раненого, на плащ-палатке. Полковые разведчики.

Еле несут, устали. Кто бы их подвез?

Тут — поищем, снарядим.

Олег наклонился над раненым. Майор. Волоса как лен. Недвижен.

— Ваш?

— Полковой. Новый. Только прислали его вчера.

— Тяжело?

— В голову и в живот.

— А где же полк ваш весь?

— А... его знает.

Наши батарейцы подменили носчиков, до господского двора. Кандалинцев им:

— Пусть на наших санях довезут до Либштадта, и сразу назад. Городок Либштадт, на скрещении шести дорог, пушечный дивизион беззаботно проехал вчера вечером. А если немцев туда допустить — у них все дороги.

— Павел Петрович, а ведь наш перебежчик — не соврал.

— Велел я его покормить, — проворчал Кандалинцев.

— А что наш комбат? И по рации не отвечает?

А — что весь дивизион?

От дальних зарев тоже чуть присвечивает. И глаза пригляделись в мути. Вон чернеет еще группка наших. Сюда.

И вон.

И вон.

Да, тут не постреляешь.

И вдруг: справа, спереди — да где наши 4-я, 5-я батареи! — густая громкая пулеметная стрельба.

И — крупная вспышка! вспышка! — за ними взрыв! взрыв!

22

Из смутного ночного брезга, из полного беззвучья — грянуло на 5–10 батарею сразу от леса справа, но даже и не минометами — а из трех-четырех крупнокалиберных пулеметов — и почему-то только трассирующими пулями. Струями удлиненных красных палочек, навесом понеслась предупреждающая смерть — редкий случай увидеть ее чуть раньше, чем тебя настигнет.

И сразу затем от того же лесу раздалось — «hur-ra! hurra!» — густое, глоток не меньше двести.

И бежали на орудия — валом, чуть видимые при мелькающих красных струйках.

От пушек звукнуло несколько ружейных выстрелов — и больше не успели. Красные струи перенеслись на левую, 4-ю, батарею — а 5-ю уже забрасывали гранатами. Вспыхивало, вспыхивало огнями.

Атака застала Топлева на дальнем краю 4-й батареи — вот! Готовились — сам их готовил, — а и сами не верили. Да целую ночь уже на струне, ослабли, кто и заснул.

Да — и больше их втрое, чем нас!

Кричать? командовать? уже голос не дойдет, и не он разбудит.

Все это коротко — как удар ночным кинжалом.

Ни-че-го Топлев сделать уже не мог! Только — бежать? Бежать в Кляйн к штабной машине и поджечь.

И — побежал.

И слышал взрывы за собой, уже близко, — и прорезались меж взрывами крики — наши? ихние?

Еще отличить: из карабинов бьют, это наши.

У машины планшетист и радист только и ждали: плескали на будку машины бензином! подносили и тыкали горящей паклей.

Ах, взялось с четырех сторон! Ат-бегай!

Убегай!

Планшета нашего вам не видеть! И в документах не ковыряться.

Уже гранат на батарее не метали. Достреливал кто-то кого-то.

Бежали сюда, на пожар, пули просвистывали рядом, цель видна.

И Топлев — побежал со своими штабными солдатами.

Бежал — зная только направление верное, а весь смысл — потерял.

Кто-то еще сбоку бежал, с батарей, не видно.

В голове проносилось: детство, школа — да с какой плотностью, да все сразу.

Солдат приотстал, чтоб рядом с капитаном.

От задыха и не скажешь, понятно и так.

По дороге — на мост, как утянули, спасли 6-ю. Тут — километр.

Остановились, оглянулись. Высоко, над деревьями, краснело пламя от машины.

Говорил комдив: до Германии дотянуть ее.

А где пушки остались — только автоматные дострелы.

23

Кандалинцев и Гусев потом только вместе, помогая друг другу, — могли и не могли вспомнить, как же оно точно было? Что после чего? И чья именно пушка попала в первый танк? и в третий? и отчего горел бронетранспортер?

Аж часов до шести утра нельзя было стрелять: впереди, по тот берег, трещала автоматная перестрелка, и все время выходили наши люди из окружения. Как будто и частей наших там нет, а сколько их набралось в этой снежной мгле.

Но потом по левой дороге, от Дитрихсдорфа, стали помигивать подфарники танков и бронетранспортеров. Немцы пошли! Иногда коротко вспыхивали и фары, не удерживались не включать, — шла моторизованная колонна. И все явней нарастал ее гул, через последнюю автоматную стрельбу.

А вот оно — первое рыло и вылезло! Пора — и бить.

— Орудие к бою! — еле донеслось через шоссе справа от Кандалинцева.

— Прямой наводкой! — трубно заорал Олег и своему расчету. — Огонь!

Наводил Петя Николаев. Рыгнуло наше орудие. И кольцовское рыгнуло.

И Олег бросился помогать расчету со следующим снарядом, теперь все в быстроте!

А немец не ожидал тут огня.

Стал расползаться в стороны.

Но и мы — не мимо! Фонтаны искр от брони! — значит, угодили, осколочно-фугасным!

Остановился танк.

А позадей — загорелось что-то, наверно бронетранспортер.

А по дороге — колонна катила!

Но и мы свои снаряды — чуть не по два в минуту!

А наш снаряд — и «королевскому тигру» мордоворот.

И так получилось удачно — как раз перед мостом и на мосту — разворотили по танку и пробкой закрыли мост.

Удивляться, что сам мост уцелел.

Немецкие танки били сюда, но оттого, что берег наш много выше, а они снизу, — снаряды их рикошетили и улетали выше. Расчеты падали в лежку в кюветы и тут же вскакивали опять заряжать. Николаев и Кольцов не отходили от орудий — и целы остались.

...Когда не думаешь ни о себе, ни о чем, ни о ком, а только как бы вжарить! как бы вжарить.

А немцы вперемежку стреляли и неразрывными болванками, как у них повелось еще с осени: не хватает снарядов?

А от болванок — осколочных ранений нет, только во что прямо угодит.

Все ж — ранило мятучего Юрша и двух из расчета Кольцова.

И на орудии Николаева танковой болванкой перекосило колонку уравновеса.

Вот так — вспоминали потом, все вместе, но что именно за чем и от кого — уже никому не разобраться.

Потом — было разное. Подошел-таки, ниоткуда возьмись, наш стрелковый взвод — и залег по берегу.

Мост — на пристреле. Между подбитыми танками немцы поодиночке пытались сюда пробегать — тут их и укладывали.

А через лед, да по круче, в снегу утопая, — кручу берега тоже не взять.

Ну и нам по мотоколонне на тот берег — нечем бить, снаряды кончились.

А тут, по свободной дороге сзади, вдруг подкатил наш танк с угловатым носом, ИС, новинка, сильнейшая броня, из дивизионной по нему стрелять — что семечки бросать. Стал между пушками — и бабахнул предупредительно раза три по мотоколонне, два раза — по дороге на Адлиг.

И оттуда — не совались.

Моторы — оттянули немцы в лес.

А сзади еще два ИСа подошли.

Вот когда полегчало.

Еще потом — выше, ниже по реке — через лед, и на снежную кручу карабкаясь, — выходили из окружения.

Средь них — и свой комбат Касьянов, с подбитой рукой.

И — батарейцы с захваченных 4-й и 5-й, кто смог убежать, добежать. Не много их.

И капитан Топлев, целенький.

Но про комдива — только и мог сказать, что его — окружили.

Как бы не насмерть.

Не поверил Олег, глянувши на часы: куда три часа ушло? Как они сжались, проскочили? Будто канули в бою.

Уже и светало.

24

Кухня кормила, кто тут был из наших.

Капитан Топлев — стыдливо растерянный перед командирами взводов. Но что он мог — лучше? Не умолкал, все заново рассказывал Касьянову: как было, как неожиданно они подкрались — и нельзя было спасти пушки.

И капитан Касьянов, невиноватый, — как в чем виноват.

Спустя часок — от Либштадта, сзади, подкатило две легковых. На переднем, трофейном «опель-блице», — помначштаба бригады — майор, начальник разведки бригады — майор, еще из штаба помельче. Верить не могли: вот за эти несколько часов? со вчерашнего тихого вечера? и — такое произошло?

Бросились радировать в штаб бригады.

А из второй машины — замполит 2-го дивизиона Конопчук и парторг Губайдулин, отоспался, трезвый.

И — бригадный СМЕРШ майор Тарасов.

Столпились с офицерами: как и что? Негодовали, ругали Топлева, Касьянова: как можно было так прохлопать?!

Тарасов строго отчитывал:

— Понятия «неожиданность» не должно существовать. Мы должны быть всегда ко всему…

А задерганный Топлев, теряя рассудок:

— Да ведь и знали. Предупреждение было.

— Да? Какое?

Топлев рассказал про перебежчика.

Тарасов — смекнул молнией:

— И где он?

Повели его туда, к барскому двору.

А остальные приехавшие огляделись, поняли: эге, еще и сейчас тут горелым пахнет. Надо уезжать.

А в штабе бригады уже знали сверху о крупном ночном наступлении немцев, на севере, и пошире здешнего. Третий

дивизион в полном окружении. Приказ: уцелевшим немедленно отступать через Либштадт на Герцогенвальде.

Привели к Тарасову перебежчика.

Несмотря на ночную перепалку, он, может, и поспал? Пытался улыбаться. Миролюбиво. Тревожно. Ожидательно.

— Ком! — указал ему Тарасов резким движением руки.

И повел за сарай.

Шел сзади него и на ходу вынимал ТТ из кобуры.

А за сараем — сразу два выстрела.

Они — тихие были, после сегодняшней громовой ночи.

Эпилог

От вечера 25 января, когда первые советские танки вырвались к Балтийскому морю, к заливу Фриш-Хаф, и Восточная Пруссия оказалась отрезанной от Германии, — контрнаступление немцев на прорыв было приготовлено всего за сутки, уже к следующему вечеру. Их танковая дивизия, две пехотных и егерская бригада — начали наступление к западу, на Эльбинг. В ходе ночи с 26 на 27 января к тому добавились еще три пехотных дивизии, и танки «Великой Германии», захватывая теперь левым флангом Вормдитт и Либштадт.

При стокилометровой растянутости клина к морю наши стрелковые дивизии не успели создать даже пунктирной линии фронта, из трех дивизий одна оказалась окружена. Но Эльбинга, через нашу 5-ю гвардейскую танковую армию, немцы не достигли, — лишь на четыре дня захватили территорию от Мюльхаузена до Либштадта. С юга их остановила наша танковая бригада и подошедший от Алленштейна кавалерийский корпус — как раз по снегам сгодились, напослед, и конники.

2 февраля мы снова отбили и Либштадт, и восточнее, и разведка пушечной бригады вошла в Адлиг Швенкиттен. Пушки двух погибших батарей стояли в прежней позиции на краю деревни, но все казенные части, а где и стволы, были взорваны изнутри тротиловыми шашками. Этого уже не восстановить. Между пушками и дальше к Адлигу лежали неубранные трупы батарейцев, несколько десятков. Некоторых немцы добили ножами: патроны берегли.

Пошли искать и Боева, и его комбатов. Несколько солдат и комбат Мягков лежали близ Боева мертвыми. И сам он, застреленный в переносицу и в челюсть, — лежал на спине. Полушубок с него был снят, унесен, и валенки сняты, и шапки нет, и еще кто-то из немцев пожадился на его ордена, доложить успех: ножом так и вырезал из гимнастерки вкруговую всю группу орденов, на груди покойного запекся ножевой след.

Похоронили его — в Либштадте, на площади, где памятник Гинденбургу.

Еще на день раньше командование пушечной бригады подало в штаб артиллерии армии наградной список на орден Красного Знамени за операцию 27 января. Список возглавляли замполит Выжлевский, начальник штаба Вересовой, начальник разведки бригады, ниже того нашлись и Топлев, и Кандалинцев с Гусевым, и комбат-звуковик.

Начальник артиллерии армии, высокий, худощавый, жесткий генерал-лейтенант, прекрасно сознавал и свою опрометчивость, что разрешил так рано развертывание в оперативной пустоте ничем не защищенной тяжелой пушечной бригады. Но тут — его взорвало. Жирным косым крестом он зачеркнул всю бригадную верхушку во главе списка — и приписал матерную резолюцию.

Спустя многие дни, уже в марте, подали наградную и на майора Боева — Отечественной войны 1-й степени. Удовлетворили.

Только ордена этого, золотенького, никто никогда не видел — и сестра Прасковья не получила.

Да и много ли он добавлял к тем, что вырезали ножом?

Тоже и командир стрелковой дивизии в своих послевоенных мемуарах — однодневного комполка майора Балуева не упомянул.

Провалился, как не был.

1998

Виктор Астафьев
(1924–2001)

Мелодия Чайковского

Почти неделю тянули ветры над землей Центральной Украины, стелило полог мокрого снега. Промокло всё, промокли все. В окопах, на огневых позициях, даже в солдатских ячейках и ровиках чавкает под обувью, ботинки вязнут в грязи, сознание вязнет и тускнеет в пространстве, заполненном зябкой, беспросветной мглой.

Я сижу на телефоне, две трубки виснут у меня по ушам на петлях, сделанных из бинта. Подвески мокры, телефонные трубки липнут к рукам, то и дело прочищаю клапан рукавом мокрой шинели, в мембране отсыревает порошок, его заедает, он не входит в гнездышко телефонной пазухи.

У меня прохудились ботинки, подошва на одном вовсе отстала. Я подвязал ее телефонным проводом. Ноги стынут, а когда стынут ноги, стынет все, весь ты насквозь смят, раздавлен, повержен холодом.

Меня бьет кашель, течет из носа, рукавом грязной шинели я растер под носом верхнюю губу до ожога. Усов у меня еще нет, еще не растут, палит, будто перцем, подносье и нос. Меня знобит, чувствую температуру, матерюсь по телефону с дежурными на батареях.

Пришел командир дивизиона, послушал, поморщился, посмотрел на мои обутки, влипшие в грязь ячейки, что вкопана в бок траншеи.

— Чего ж обувь-то не починишь?

— Некогда. И дратва не держится. Сопрела основа, подметки кожимитовые растащились и растрепались.

— Ну надо ж как-то выходить из положения…

Он уже звонил в тыл, ругался, просил хотя бы несколько пар обуви. Отказали. Скоро переобмундирование, сказали, выдадут всем и все новое.

— Как-то надо выходить из положения… — повторяет дивизионный в пространство, как бы и не мне вовсе, но так, чтобы я слышал и разумел, что к чему.

«Выходить из положения» — значит снимать обувь с мертвых. Преодолевая страх и отвращение, я уже проделал это, снял поношенные кирзовые сапоги с какого-то бедолаги лейтенанта, полегшего со взводом на склоне ничем не приметного холма с выгоревшей сивой травой. И хотя портянки я намотал и засунул в

сапоги свои, моими ногами согретые, у меня сразу же начали стынуть ноги. Стыли они как-то отдаленно, словно бы отделены были от меня какой-то мною доселе не изведанной, но ясно ощутимой всем моим существом, молчаливой, хладной истомой. Мне показалось, помстилось, что это и есть земляной холод, его всепроникающее, неслышное, обволакивающее дыхание.

Я поскорее сменял те сапоги на ботинки. Они были уже крепко проношены, их полукирзовые-полупарусиновые «щеки» прорезало шнурками, пузырями раздувшиеся переда из свиной кожи не держали сырости, и вот словно бы пережженные, из пробки сделанные кожимитовые подметки изломались.

Иду на врага почти босиком по вязкой украинской грязи, и я не один, много нас таких идет, топает, тащится по позднеосенним хлябям вперед, на запад. В одном освобожденном нами селе вослед нам вздохнула женщина: «Боже! Боже, опять пленных ведут». Скоро переобмундирование. Зимнее. Ни в коем случае не надо брать полушубок и валенки. Полушубок за месяц-два так забьет вшами, что брось его на снег — и он зашевелится, поползет, в валенках протащись версту-две по пахоте — и вылезешь из них. Я видел дырки в размякшей пахоте, заполненные водой и темной жижей, это вновь прибывший пехотный полк вышагнул из валенок и рванул к шоссе босиком.

Трупы недавнего отступления разъездило, размяло и растащило по булыжнику, покрытому серой жижей в разноцветных разводах нефти и бензина, вылившегося из подбитых танков и машин.

Вот здесь-то пехота и переобулась. Обувь и портянки, как правило, остаются почти в сохранности, не то что головы, хрустнувшие, будто арбузы, — смяты, размичканы до фанерной плоскости. Портянки, как знамена иль флаги просивших милости и пощады бойцов, белеются по всей дороге, да еще зубы, человеческие зубы; не дались колесам машин, гусеницам танков, бело просвечивают там и сям из расколотых камней и в булыжных щелях.

Что же это такое? Неужели ко всему этому можно привыкнуть? Можно. Но нужно ли?

Ах, как зябнут ноги! Трясет, мелко трясет всего, и под шинелью, под гимнастеркой и бельем тело покрывается влагой. Поднимается температура, хоть бы заболеть и…

Резко зазуммерил телефон, я нажал прилипающий к пальцам клапан и сказал:

— Ну какого кому надо?

А в ответ бодрый, звонкий голос, словно у пионера, рапортующего об окончании патриотической работы:

— Привет, красноярский идиот!

Павлуша. Кокоулин Павлуша, родом из алтайского села Каменный иль Светлый Исток. Мы сошлись с ним в запасном полку, душевно сошлись: я звал его ласково «алтайский вы…лядок», а он меня еще ласковей — «красноярский идиот» — вот на таком уровне сердешной близости и даже любви изъяснялись мы.

На фронте Павлуша угодил в другой дивизион, но мы изредка виделись и при любой подходящей возможности пере-молвливались словом-другим по телефону. Еще ранней осенью Павлушу определили в ближний тыл переучиваться с телефониста на радиста. Вот и явился Павлуша на передовую бодрый, отдохнувший от окопной маеты.

— Ну как жизнь молодая протекает?

— Жизнь-то? Молодая-то? — Я втянул носом мокро и, чуть не заскулив по-собачьи, вылаял: — А дубнуло бы поскорее, вот бы хорошо было…

Павлуша смолк, не знает, чего сказать, чем меня приободрить, виноватым себя чувствует за то, что так благополучен, а мы вот подыхаем тут в грязи, во вшах, под гнилым, милости не знающим небом.

— Ну ты это, елки-моталки, чего городишь-то? — уже не очень бодро, но все еще с энтузиазмом говорит Павлуша.

Он, Павлуша, от природы румян, круглолиц и очень разговорчив. Умеет на гармошке и балалайке играть, музыку любит, а я конопат, скуласт, язвителен, играть ни на чем не умею. У Павлуши больше оснований жить и выжить на войне, чем у меня, Павлуша, может быть, более полезен и нужен обществу, я же осатанел, грудь вот кашлем рвет, ангина горло свела, даже слюну проглотить не дает.

Павлуша жил до самой до войны в красивом хлебном селе среди гор, покрытых по самым горбинам мохнатым кедрачом. Реки, где он рос, харюзные, тайменные, ореха, зверя, птицы в лесах тучи. Пусть и до зернышка выметет родная и любимая власть, все одно не пропадешь в алтайском селе, где по огородам арбузы растут, при впадении родной речки в Катунь острова пользительной ягодой облепихой заросли. Мое родное село тоже многого стоит, природа посуровей алтайской, землицы среди скал скудно освоено, но река, тайга под боком, да рано меня сорвало и вынесло из родного села, и понесло, и закружило в водовороте жизни.

Детство в нужде, страхе и ожидании обещанного счастья прошло, юность в борьбе за место на земле незаметно пролетела в общагах, бараках, каких-то зимовках, навозом, хомутами и гнилыми опилками пахнущих, теперь здесь вот в всеми дождями промываемых, всеми ветрами продуваемых окопах проходит

молодость. Даже одежонку просушить негде и нечем, одно желание подступает все плотнее — пропасть, сдохнуть поскорее.

— Да ты чё? — почти возмущенно кричит Павлуша. — Нам по девятнадцать лет, нам еще жить да жить, елки-моталки…

— Вот и живи, раз охота.

Павлуша обезоруженно и обескураженно умолк. Иногда ему удавалось справиться со мной, на путь истинный меня наставить, довоспитать, но сейчас он бессилен, совсем бессилен и далеко от меня, за этой непроглядной пеленой, полого и низко плывущей над землей.

— Слушай! — кричит Павлуша. — Вот слушай!

И я вдруг слышу музыку, с другого света, с другой планеты, с другого неба плывущую, прекрасную музыку, торжественную, разуму недоступную, поющую о другой какой-то жизни, мне неведомой, пробуждающейся под ясным небом, под светлыми звездами.

Павлуша включил рацию, нажал на клапан телефона, дает мне послушать то удаляющуюся, то наплывающую на меня музыку. Я хочу спросить, откуда, чья эта музыка, но лицо мое, грязное, шершавое от стыни, заливают такие потоки слез, что я не успеваю их, затекающие в рот, соленые и горькие, проглатывать, и они текут, рушатся на шинель, глухо застегнутую на моей груди. На время куда-то пропал кашель, лишь, как на немазаных шестернях, скрипит, рвется дыхание в груди.

«Кто украл мое детство? Кто съел мою юность? Кто гробит и гложет мою молодость?» — захлебываясь слезами, спрашиваю я, неведомо к кому обращаясь. Мне жалко себя, своей жизни, а это уже пробуждение. Где-то ж она есть? Где-то ж она вот звучит? Где-то ж она живет? И значит, вместе с нею живут прекрасные люди прекрасной жизнью.

А музыку Павлуша нашел, нащупал для меня в пространстве, и он не знал, какую, чью, и я тогда тоже не знал, откуда, чья она?

Чайковского Петра Ильича была та музыка, впоследствии узнал я, финал первого действия «Лебединого озера». Приобретя пластинку, я заезжу до дыр то место, где про воскресение, про другой, прекрасный мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей, над всеми нами, все вытерпевшими и перестрадавшими.

30 марта 2000

Больница
Об издательстве
Живи и верь

Для нас православное христианство — это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.

В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо — это изменение человеческой души. От зла — к добру! От бессмысленности — к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.

Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!